

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

---

"НАУКА"

МОСКВА - 1997

## СОДЕРЖАНИЕ

*Никите Ильичу Толстому  
посвящается*

В.М. Живов (Москва), А. Тимберлейк (Беркли). Расставаясь со структу- рализмом (тезисы для дискуссии).....	3
А. Мустайоки (Хельсинки). Возможна ли грамматика на семантической основе?..	15
М.В. Шульга (Москва). Славянский грамматический род: привативная оппозиция .....	26
Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев (Москва). Референция и смысл выражений <i>мясопуст</i> ( <i>мясопустная неделя</i> ) и <i>сыропуст</i> ( <i>сыропустная неделя</i> ).....	40
К.Б. Бабурина (Москва). Этнолингвистический аспект в исторической лексико- графии.....	48
И.Г. Добродомов (Москва). Еще раз: <i>Куряне сведоми къмети</i> "Слова о полку Игоре" .....	53
А.М. Молдован (Москва). Лексический аспект в истории церковнославянского языка .....	63
Р. Маревич (Белград). Методологические вопросы реконструкции древнесла- вянских топонимов (деривационно-семантический и деривационно-фонетический аспекты).....	76
К.А. Максимович (Москва). Глоссы и интерполяции в Ефремовской кормчей XII в. ....	89
В. Дитрих (Мюнстер). Очерк исторического развития новогреческого в сопо- ставлении с формированием романских языков из народной латыни .....	95
Л.Э. Калнынь (Москва). Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика .....	115
М.Ю. Черткова, В.А. Плунгян, А.А. Рябчиков, Д.О. Кузнецов' (Москва). Ответы на анкету аспектологического семинара филологического факуль- тета МГУ им. М.В. Ломоносова.....	125

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

А.Д. Швейцер (Москва). Американа. Англо-русский лингвострановедческий сло- варь.....	136
В.З. Демьянков (Москва). <i>М.М. Маковский</i> . Сравнительный словарь мифоло- гической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов .....	141
В.И. Подлеская (Москва). <i>Т. Givón</i> . Functionalism and grammar.....	144
В.И. Супрун (Волгоград). Русская ономастика и ономастика России: словарь.....	150

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	154
----------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,  
Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь),  
Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев,  
О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова*  
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2  
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-74-42

© 1997 г. В. ЖИВОВ, А. ТИМБЕРЛЕЙК

**РАССТАВАЯСЬ СО СТРУКТУРАЛИЗМОМ  
(ТЕЗИСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ)**

**1. Системность и развитие языка.** Обычное представление о языке как о единой системе, в которой все элементы соотносятся друг с другом, предполагает, что любое изменение – это изменение всей системы. Представление о синхронном функционировании языка непосредственно отражается, таким образом, на концепциях его развития. Такая концепция языка связывается обычно с именем Соссюра и его последователей, хотя в данном отношении различия между Соссюром и младограмматиками не слишком велики. В обоих случаях язык рассматривается как органическое единство, которое существует в коллективном сознании в виде абстрактной системы, относительно независимой от прагматики. Младограмматики смотрят на прагматику как на частную помеху в эволюции языка, и Соссюр лишь доводит эту линию до логического завершения, говоря о полной взаимозависимости всех элементов в языке, при котором каждый элемент определяется исключительно своими отношениями со всеми остальными. Подобная концепция приводит к противоречию, поскольку остается неясным, зачем одно равновесное состояние (эквilibrium) постоянно преобразуется в другое равновесное состояние. Либо мы исповедуем вполне скомпрометированную идею прогресса в языке, либо приписываем языку лишнюю видимого смысла глобальную телеологию, в соответствии с которой он все время стремится к некоему идеально упорядоченному состоянию, но никогда этого состояния не достигает, а, напротив, приближаясь к нему по одним параметрам, в то же самое время удаляется от него по другим.

**2. Язык и речь: абстрагирование системы.** Это противоречие возникает в результате неоправданного уровня абстракции в наших рассуждениях о языке и в конце концов отсылает нас к той дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*), которой мы обязаны тому же Соссюру. Соссюр утверждает данную дихотомию в своем стремлении избавиться от хаоса, который царствует в наблюдаемой речевой деятельности. *La langue* расправляется с *la parole*, торжествуя над вариативностью и нерегулярностью, характеризующими, с точки зрения Соссюра, речь в целом и индивидуальное речевое поведение в особенности. С этой целью язык и постулируется как абстрактная система, избавленная от неупорядоченности речи. Само по себе, однако, это не решает всех проблем, поскольку абстрактная система как таковая, избавляя от хаоса, приводит к метафизике. Язык (*langue*) оказывается метафизической сущностью и в силу этого возвращает филологию к тому самому состоянию, которое представлялось одиозным с первых шагов "научного" исторического языкознания, противопологавшего себя метафизике Лейбница, Вольфа и Аделунга. Тем самым бегство от хаоса вступает в противоречие с бегством от метафизики.

Решение этой проблемы Соссюр (и поколения после него) находит в указании на системность языка и на социальную природу этой системности. Речевая деятельность (*usage/parole*) трактуется как несовершенное (испорченное) отражение языка (*langue*), существующего в сознании идеального носителя, а этот идеальный носитель, в свою очередь, отождествляется с коллективным бессознательным. Эти два взаимосвязан-

ные приема позволяют Соссюру (так же как и Дюркгейму в социологии) избавиться от хаоса в языке и вместе с тем сохранить позитивистский дискурс, подменив метафизику социальной природой языка. Социальность, однако, сводится к произвольному характеру языкового знака, который понимается как социальная конвенция. Социальность приписана как внешний (рационализирующий) атрибут к (нео)платоническому эйдетическому (метафизическому, ноуменальному) пониманию языка и по существу представляет собой модернизирующую рационализацию метафизического представления о системности сознания. Языковая деятельность относится в этом случае к миру теней – отражений эйдетической реальности, ничего в этой реальности не меняющей.

Какими бы очевидно сомнительными ни были эти исходные установки, они были восприняты последующим языкознанием и сформировали господствовавшую в течение более полувека структуралистскую парадигму. Этот успех понятен. Такой подход позволял трактовать язык как часть "природы", превращая языкознание если не в *Naturwissenschaft* в прямом смысле этого термина, то в своего рода мост, соединяющий *Geistwissenschaften* с *Naturwissenschaften*. Это позволяло обособить (хотя бы и неправоммерно) системные аспекты языковой деятельности и изучать их как самостоятельное целое. Такое изучение было плодотворно, многообразно и перспективно, и существенная часть наших знаний о языковой деятельности была получена именно в результате структуралистских исследований. Недостаточность, ограниченность и догматичность структурализма уяснились в научном сознании лишь постепенно, и этот процесс никак нельзя считать завершившимся.

**3. Системность и прагматика.** При соссюровском (структуралистском) подходе социальное и культурное измерение языка в сущности игнорируется, причем игнорируется в двух аспектах. С одной стороны, конструируя язык как абстрактную систему, принадлежащую коллективному бессознательному всей совокупности носителей, данный подход отвлекается от дифференциации, обусловленной принадлежностью носителей к разным социальным группам, их множественной идентичностью, реализующейся, в частности, в смене языкового поведения в зависимости от социальной роли, их приверженностью к разным культурным традициям и т.д. С другой стороны, подобной же редукции подвергается интерактивная, диалогическая природа речевой деятельности, ее прагматический аспект, а вместе с этим и все те феномены, которые с этим связаны и которые предполагают в самой своей дефиниции различие говорящего и слушающего. Язык в соссюровской традиции статичен, и поэтому в рамках подобной концепции нет возможности описать те структурные характеристики языка, которые указывают на развертывание коммуникативной ситуации во времени. Поскольку сюда относятся местоимения, вид (как дискурсивная категория), время и т.д., т.е. все категории-шифтеры, язык при соссюровском понимании социальной природы оказывается призраком, лишенным не только плоти, но и скелета.

Приведем пример. В диалектологии хорошо известны относительно многочисленные случаи, когда жители одной деревни (или одного города) являются носителями разных говоров; часто это распределение имеет пространственные границы: на одном конце употребляют диалект А, на другом – диалект В. В большинстве случаев исследователь просто отмечает, что граница проходит внутри населенного пункта, а соответствующие говоры описывает как отдельные системы (и в соответствии с этой задачей исследователь строит свою работу с информантами). Между тем очевидно, что жители одной деревни находятся в постоянном общении, обуславливающем дифференциацию языкового поведения. Характер дифференциации может быть различен, но чаще всего диалектная разновидность, употребляемая во внешнем общении (между представителями двух групп) будет отличаться от разновидности, употребляемой в общении внутреннем, и обе эти разновидности могут не совпадать с той, которая реализуется в общении с внешним миром (с приезжими, "чужими").

Так, в Южном Уэльсе в отдельных ареалах (и отдельными носителями) употребляется [ε:] в соответствии с [a:] остальных уэльских диалектов. В небольшом селе Понт-рид-и-фен, растянувшимся на несколько километров, на уэльском продолжает говорить в основном лишь старшее поколение и только женщины старше пятидесяти употребляют [ε:] (см. социалингвистическое описание [Thomas 1989]).

Употребление этой фонемы зависит от того, на каком конце села живут носители и к какой из протестантских церквей они принадлежат – для указанной категории носителей религиозное собрание является центром социального общения. Женщины, принадлежащие к Конгрегационной церкви и живущие на западном конце села, редко употребляют [ɛ:], тогда как методисты и баптисты с восточного конца употребляют данную фонему относительно регулярно. При этом баптисты употребляют [ɛ:] как в неформальном стиле, так и в формальном (во время беседы с исследователем – единственным, к сожалению, зафиксированном образце формального стиля), методисты, однако же, столь же часто употребляют [ɛ:] в неформальной речи, но никогда не пользуются этой фонемой в формальном стиле, в частности, при общении с лицами, не принадлежащими к их социуму. Это объясняется тем, что методисты поддерживают более широкие контакты с внешним миром, тогда как баптисты более замкнуты. Каковы бы, однако, ни были конкретные объяснения, граница между диалектами оказывается прочерченной не в пространстве, а внутри языковой деятельности одного языкового социума. При этом фонологическая система оказывается зависимой от ситуации речи, определяемой социальным статусом участников, или, вернее, фонологическая система существует в двух разновидностях. Попытка исследователя избавиться от этой вариативности, реконструировав безвариантную систему, а отбрасываемый вариант интерпретировать как незначимое (в системном плане) отклонение, не может рассматриваться как адекватное описание реального узуса. Стремление исследователя к системности заставляет его в этом случае игнорировать социальные параметры языковой активности, т.е. ту самую социальную природу, которая рассматривается как основание этой системности.

**4. Активная роль носителя.** Если не исходить из предпосылки системности, то языковая деятельность оказывается более активна по отношению к "языку", носитель перестает быть просто медиумом, стоящим между языком и речью, и социальная природа языка приобретает конкретные очертания, будучи обусловлена активностью носителя как члена языкового социума. От носителя зависит, что именно реализуется в его речи, какие элементы языка он востребует из своего языкового опыта, имея дело с той или иной ситуацией. Наиболее очевидный случай этого вмешательства носителя – поведение билингвы. Он не только выбирает, какую из систем реализовать, но и комбинирует их в единую суперсистему (или лучше конгломерат), отождествляя подобные части, а неподобные подсоединяя (приспосабливая) к этому отождествленному ядру. Застывший продукт такого поведения – креолизованные языки.

Можно, однако, полагать, что это лишь крайние случаи, но что по существу всякое языковое поведение – это поведение билингвы, а всякий язык – конгломерат регистров. Принципиальной границы между билингвизмом и монолингвизмом нет, поскольку гетерогенность (соотнесенность с разными подсистемами) присутствует у любого индивида и в любом языковом коллективе. Проводимое обычно различие между билингвизмом и монолингвизмом опирается на представление о языках как законченных идеальных системах, о неадекватности которого сказано выше. Отсюда вытекает два вывода. Во-первых, речевое поведение не может быть описано как однонаправленный процесс порождения – от абстрактной системы к механическому результату действия правил. Описание речи (текста) требует установления тех факторов (социальных, культурных, прагматических), которые обуславливают смену регистров, т.е. выбор тех или иных правил, необходимых для осуществления определенного ситуационного задания. Во-вторых, сам язык (порождающий механизм) не может быть описан как единая система, и описание должно прежде всего фиксировать набор существующих в языковом опыте регистров и характер их сочетаемости. Стратегия языкового поведения носителя состоит в смене подсистем (регистров), сосуществующих в его сознании не только в случае билингвизма, но и в тех условиях, которые мы привыкли описывать как монолингвизм.

Пример зависимости узуса от ситуации речи можно найти в исследовании У. Лабова, посвященном социолингвистическому описанию звуковых изменений на острове Мартас Вайнйард (Массачусетс). Лабов показывает, что дифтонгам американского английского [ai] и [au] в говоре данного острова могут соответствовать [эi] и [эu], варьирующие с последними. Среди постоянного населения острова соотношение дифтонгов [эi] и [эu] в пропорции к [ai] и [au] стабильно возрастает от старших возрастных групп к младшим. У. Лабов делает отсюда справедливый вывод, что мы наблюдаем здесь фонетическое изменение в его протекании и что мотивировано это изменение социальными факторами – стремлением местных

жителей продемонстрировать, что именно они, а не приезжающие отдохнуть богатые горожане, составляют настоящее население острова и что им он и принадлежит. Лабов не сообщает фактов, которые указывали бы на зависимость данной вариации от ситуации речи (состава участников коммуникативного акта), однако среди его примеров есть рассказ местного рыбака о своей замечательной собаке, в котором подобная вариация представлена. Он рассказывает (и эта часть представляет собой, видимо, нейтральное общедоступное повествование), что бывало ронял нож ([naɪf]) или носовой платок и собака за четверть мили приносила их; затем он воспроизводит свое обращение к собаке (которая может рассматриваться как своеобразный "местный житель"): "Ну-ка принеси! Где я потерял этот нож ([naɪf])?" [Labov 1963: 290]. Таким образом, хотя бы в каких-то случаях вариация зависит от ситуации речи, от того, какой вариант языкового поведения выбирает говорящий.

Понятно, что подобные данные могут интерпретироваться по-разному, и мы можем продолжать говорить о системе, существующей в коллективном сознании (например, системе с дифтонгами [ai] и [au]), и об отдельных отклонениях от нее в языковой практике отдельных носителей или в отдельных речевых ситуациях (например, когда употребляются дифтонги [əi] и [əu]). Эти отклонения в таком случае понимаются как своего рода помехи, искажающие идеальное функционирование системы. Проблема, однако, в том, что исследователь в подобном случае конструирует систему по своему усмотрению, приписывая системность одной части материала и игнорируя другую его часть (порой не меньшую по объему). Независимость языка от языковой деятельности носителя возникает, тем самым, за счет активности исследователя.

**5. Регистры и стратегии языкового поведения.** Социальная природа языка относится прежде всего к стратегиям языкового поведения (или риторическим стратегиям), которые соотносят выбор регистра с ситуацией речи (устной или письменной), определяемой в терминах конвенциональных для данного языкового (культурного) коллектива. Набор ситуаций соотнесен с набором языковых регистров (соотнесение может быть неоднозначным), так что характер "полилингвизма" данного языкового коллектива оказывается важнейшей его культурологической характеристикой. Эта характеристика имеет непосредственное отношение и к социальному членению общества (его иерархической структуре), поскольку для разных социальных групп доступен разный набор регистров, равно как и разный набор ситуаций.

Так, рассматривая структуру регистров в английской и русской языковой ситуациях XVII в., можно отметить, что в Англии этого времени канцелярский (юридический) язык и язык быстро развивающейся журналистики представляют собой два разных регистра, отличающихся и своими синтаксическими характеристиками, и лексикой, и способами построения текста; в Московской Руси, между тем, как показывают прежде всего "Вести-куранты", такого противопоставления нет и начинающаяся журналистика использует канцелярский (приказной) язык, т.е. ситуации создания документа и фиксации текущей информации для публичного потребления в лингвистическом отношении не различаются. Культурологические выводы, которые можно сделать на этом основании, достаточно очевидны. Не менее значимы и выводы социальные: "Вести-куранты" адресованы той же социальной группе, что и деловая документация, и только эта группа обладает необходимыми лингвистическими навыками для освоения подобных текстов. Таким образом, в Москве XVII в. секулярная информация образует единое целое и подчинена социальной стратификации общества, тогда как в Англии эта информация дифференцирована и в существенных своих частях обращена к нескольким стратам читающего социума.

При подобном подходе выбор регистра или, точнее, множество операций, которые адресант производит с регистрами (выбор, смена, наложение одного на другой) выступает как наиболее существенная социальная характеристика речевой деятельности. И в этом случае мы оказываемся лицом к лицу со сферой, по большей части игнорируемой современным языкознанием. Экспериментальные социолингвистические исследования даже в лучших своих образцах (как, например, цитированная выше работа У. Лабова) соотносят черты языкового поведения со статистическими параметрами изучаемого социума (социальные классы, возрастные группы, этническая принадлежность, пол и т.д.). При такой методологии оказываются вне сферы внимания исследователя или в принципе отрицаются те ситуации, в которых носитель языка переключается с регистра на регистр или вообще стремится приспособить свои языковые навыки к конкретной и порой нестандартной коммуникативной ситуации. Идентичность, возможно, помимо намерений исследователя, статистически закрепляется за говорящим, и та обширная область поведения, в которой идентичность оказывается предметом неговоривания (когда, допустим, чиновник пытается говорить, как мужик, или мужик пытается говорить, как чиновник), выпадает из рассмотрения. Очевидно, например, что параметры речи определяются не столько возрастной группой говорящего,

сколько тем, являются ли участниками речевой ситуации сверстники или представители разных возрастных групп. Исследование, таким образом, уходя от метафизической "социальности" Соссюра, в самой своей методике возвращается к идеализованной социальной статике, к представлению о статическом единстве языкового поведения социального субъекта.

Характерно, что в своем социолингвистическом описании звуковых изменений на острове Мартас Вайнйард, Лабов указывает, что речь большинства носителей в исследуемом социуме не зависит, по крайней мере в фонетических характеристиках, от стилистических параметров ("The majority are essentially single-styled speakers" – [Labov 1963: 290]). Насколько это и в самом деле так, а насколько вывод обусловлен методикой исследования, остается неясным.

**6. Регистры и взаимозависимость элементов языка.** Наличие многих регистров как способа существования языка ставит вопрос о том, что такое грамматика (или языковая система). Регистр фрагментирует язык, например – тривиальным образом, – в регистрах письменной речи может отсутствовать фонетический уровень (для тех типов текстов, которые не предназначены для чтения), так что, переходя от представления о единой языковой системе к представлению о регистрах, мы с необходимостью отказываемся от тезиса о взаимозависимости всех элементов в языке. Точно так же в регистре, соотношенном с повседневным диалогом, и в регистре, соотношенном с ритуализованным нарративом, могут различаться и многие синтаксические структуры, и система времен, и реализация видовых оппозиций, тогда как на фонетическом уровне между ними может иметь место тождество. При этом в каждом из регистров (в частности, при разных "режимах интерпретации" – см. [Падучева 1996: 258–261]) ряд синтаксических структур и система времен будут связаны, а фонетические элементы существовать сами по себе, вне этих зависимостей. Можно сказать, таким образом, что у разных регистров разная грамматика, и о грамматике языка в целом мы говорим лишь условно, как о совокупности общих характеристик грамматик отдельных регистров. Во многих случаях описание грамматики языка как целостности удобно, и нет основания этот способ отвергать. Однако, делаясь принципиальной установкой, стремление утвердить единую грамматику (например, с помощью понятия "канонической речевой ситуации", как это делает Дж. Лайонз [Lyons 1978]) побуждает игнорировать относительную автономность регистров, возможность их разного устройства.

С такой установкой, в частности, связано и представление о письменном языке как своего рода паразитическом наросте на языке устном (реализующемся в "неканонической" речевой ситуации). Если все уровни языка соединены необходимой связью, "естественный" язык должен обладать фонетикой, а язык без фонетики (или с "вторичной" фонетикой, фонетикой чтения) существует лишь как вторичное образование; эта вторичность обнаруживается и в том, что существуют языки (целостные системы) без письменности, но не существует языков без фонетики. Между тем навыки письменного употребления и навыки устного употребления различаются и по характеру усвоения, и по своим системным качествам. Если навыки устного языка усваиваются в процессе устной коммуникации, то навыки письменного языка – в процессе чтения. В силу этого в основе письменных и устных разновидностей языка лежит принципиально разный лингвистический опыт, и это само по себе обуславливает их относительную независимость друг от друга. Опыт устного языка по большей части ситуативен и диалогичен, опыт письменного языка предполагает, как правило, завершенность сообщения и возможность повторного обращения к нему. В соответствии с этим различается и построение устных и письменных текстов (их риторические стратегии), что отражается и на синтаксисе, и на семантике, и на морфологии. Можно полагать, таким образом, что развитие письменности создает особый набор языковых регистров, практически не имеющих аналогий в бесписьменных языках (если не считать таких маргинальных сфер устного узуса, как ритуальный нарратив). Историческая вторичность письменных регистров никак не означает их производности и несамостоятельности в языковой деятельности социума, обладающего письменной культурой.

Более того, в языках с письменной традицией имеет место взаимодействие устного и письменного начал как равноправных составляющих языкового опыта, определяющих лингвистические параметры отдельных регистров. Так, у восточных славян начало письменной традиции связано с возникновением конфессиональной письменности, в основе которой лежат переводы с греческого и которая в силу этого обладает сложной риторической организацией, сформировавшейся в рамках многовековой византийской письменной традиции. Возникновение письменной традиции дает толчок для развития сначала бытовой, а затем и деловой письменности (о параметрах этого процесса см. [Franklin 1985]), представленных прежде всего в берестяных грамотах. Бытовая берестяная письменность комбинирует письменное и устное начала совершенно иным образом, чем письменность конфессиональная. Синтаксис берестяных грамот в существенной степени ситуативен, т.е. реализует устное начало, и этим, видимо, определяется многочисленность диалектных (разговорных) элементов в морфологии и фонетике. Однако неправомерно было бы рассматривать бытовые берестяные грамоты как непосредственную фиксацию устной речи. Они обладают риторической законченностью и, следовательно, достаточно жесткой текстовой организацией (см. [Зализняк 1987]), что реализуется в них письменное начало и, надо думать, обуславливает появление отдельных неразговорных элементов в синтаксисе, морфологии и фонетике. Данное взаимодействие и определяет специфику регистра бытовой письменности. Вообще говоря, различное сочетание письменного и разговорного начал может становиться предметом достаточно сознательной стратегии пишущего, ставящегося себе специфические риторические (эстетические) задания, как это можно видеть в Кентерберийских рассказах Чосера или в Житии Аввакума.

**7. Взаимозависимость элементов и абстрактность описания.** Представление о взаимозависимости элементов в системе языка влияет на характер их описания. Поскольку здравый смысл подсказывает, что никакой явной связи (типа изоморфизма, о котором писал Курилович [Kuryłowicz 1960]) между, например, набором гласных и набором падежей нет, описание стремится к более абстрактному уровню, на котором здравый смысл не действует, переходит, если угодно, от арифметики к алгебре (ср. устойчивую сосноровскую метафору шахмат). Связь постулируется на том уровне, который не поддается верификации (на уровне глубинной структуры или семантических и фонетических дифференциальных признаков), и это абстрактное построение приписывается языковой компетенции носителя языка. Такая абстрактная установка (в каких-то случаях, возможно, оправданная) уводит в сторону от идеи эмпирического (психологического) правдоподобия при описании функционирования языка. Отсюда и в истории языка место поиска конкретных мотиваций занимает идея бесконечной эволюции системы, изменчивость которой является ее имманентным свойством.

В старой грамматической традиции части речи определялись прежде всего через семантические параметры: существительное обозначает предмет, глагол – действие, прилагательное – качество. Позднейшее развитие лингвистики дискредитировало этот способ определения, либо выдвинув на первый план морфологические и синтаксические признаки, либо превратив семантическую дефиницию в более сложную, но вместе с тем и лишённую самоочевидности логическую конструкцию. Существительные, скажем, стали обозначать не только предметы, но и действия или качества, которые, будучи обозначены существительным (*бег, белизна* и т.п.), получили "предметность" – свойство, вряд ли принадлежащее языковой или когнитивной компетенции носителя, не поддающееся ясному определению и потому компрометирующее саму идею семантической дефиниции. Сколь бы ни обоснованно было синтаксическое и морфологическое определение частей речи, первоначальная примитивная семантическая конструкция соответствовала некоторой психологической и лингвистической реальности. И синтаксические роли, и (во флективных языках) морфологические свойства основных классов слов определяются для носителя посредством ядерных семантических соотношений: обычный (т.е. относящийся к ядру класса) глагол обозначает действие и выполняет роль предиката, актанты которого обычно обозначают предметы и представляют собой существительные. Эти базовые соотношения обуславливают, в частности, механизм заимствования (который позволяет наблюдать динамику языка): новые слова получают при усвоении характеристику одного из основных классов (частей речи), и определяющим в этом процессе является, видимо, именно семантика заимствованного элемента. Так, скажем, русское несклоняемое прилагательное *беж* (из фр. *beige*) воспринимается как прилагательное именно в силу того, что обозначает качество, и это восприятие отчетливо проявляется в появлении синонимического образования с эксплицитными параметрами прилагательного (*бежевый*).

**8. Гетерогенность языка и значение трафаретов.** Мы не знаем, в каком виде существуют языковые категории в сознании носителя языка, но этот вопрос не должен быть безразличен для лингвистики. Нет никаких оснований думать, что способ их существования совпадает со способом их представления в традиционных описательных грамматиках (включая генеративные). Такой способ существования слишком абстрактен; если бы он лежал в основе языковой деятельности, было бы непонятно, как осуществляется взаимодействие между "грамматикой" и узусом. Как для таксономической грамматики, так и для различных генеративных моделей текст представляется однородным. Все его элементы порождаются единым абстрактным механизмом и в этом смысле обладают одинаковым статусом. Между тем любое обращение к речевой деятельности как конкретному психическому процессу показывает, что это не так. Разные фрагменты текста порождаются с разной степенью автоматизма, так что на одном полюсе мы наблюдаем прямое воспроизведение речевых формул, повторяемых в своей целостности (и потому не требующих, например, морфологического синтеза), а на другом – активный поиск вербальных форм, которые нужны для осуществления данного коммуникативного задания. Очевидно, что в двух этих случаях механизмы, производящие текст, существенным образом различны, и реальное языковое поведение (а тем самым и язык) не может быть описано без учета этого различия. Между обозначенными выше полюсами располагаются различные уровни автоматизма, которые также требуют фиксации.

Автоматизм действует на разных уровнях. Речевые формулы представляют лишь крайний случай, когда автоматизм распространяется на все уровни – и синтаксис, и морфологию, и словарь и даже фонетику. В других случаях воспроизводимые элементы имеют более общий характер. Скажем, когда перед говорящим в ситуации бытового диалога стоит задача сообщить, что определенное лицо совершило определенное действие, говорящий не стоит перед выбором между активной и пассивной конструкцией, а воспроизводит то построение, которое стандартным образом употребляется в подобных ситуациях, т.е. активную конструкцию; синтаксическая синонимия существует здесь лишь для исследователя, апеллирующего к "языку в целом", а не для говорящего. Говорящий же пользуется схематическими образцами или трафаретами (templates). Схематический образец (трафарет) задается набором признаков (формальных и функциональных), которые однозначно определяют прототипические примеры (tokens), усвоенные носителем при овладении языком. Большинство коммуникативных ситуаций стандартно, так что существенная часть речевой деятельности производится с помощью трафаретов; соотношение "трафаретной" и "нетрафаретной" части зависит, надо думать, и от социальных параметров, и от типа коммуникации. Там, где трафареты не действуют напрямую, говорящий может пользоваться существующими, приспособляя их к той специфической ситуации, с которой он имеет дело. В этих нестандартных случаях возникает конкуренция различных трафаретов, изменение одного под влиянием другого и т.д. В ходе такого процесса появляется вариативность и формируются новые более частные трафареты, обслуживающие те ситуации, которые ранее были нестандартными. Узус предстает при этом как результат постоянного выбора и взаимного приспособления имеющегося у носителя набора схематических образцов и последовательности ситуаций, которые должны стать предметом сообщения.

Трафареты работают на разных языковых уровнях, в частности, в фонетике и фонологии столь же явственно, как в морфологии и синтаксисе. Примером функционирования трафаретов в процессе фонологических изменений может служить переход \*e > o в восточнославянском.

В период, когда происходило падение редуцированных, сочетания согласных и гласных подчинялись принципу слогового сингармонизма. Согласные были непалатализованными (возможно, были веларизованными) перед задними гласными (трафарет [C°V°]) и палатализованными перед передними гласными (трафарет [C°V']). Гласные, по крайней мере передняя средняя гласная /e/, варьировали в зависимости от качества согласного и гласного следующего слога: /e/ была продвинута вперед перед палатализованными согласными и передними гласными (трафарет [C°εεC°V]) или, возможно, [C°ε1C°V]), но обладала дифто-

нгическим произношением в ином окружении (трафарет  $[C^{\epsilon} \epsilon \epsilon C^{\circ} V^{\circ}]$ ); понятно, что имеется в виду не однозначная фонетическая форма, но некое среднее или нормативное из набора вариантных реализаций, различающихся степенью дифтонгизации и палатализации.

Представляет интерес последующая эволюция второго из этих трафаретов, трансформирующегося в ходе кристаллизации других трафаретов [Andersen 1978]. Кристаллизация происходит после того, как пали редуцированные, оппозиция твердых и мягких согласных сделалась различительной и в силу этого требующей более четкой фонетической манифестации, а  $[a] - [\bar{a}]$ ,  $[i] - [y]$ ,  $[u] - [\bar{u}]$  стали восприниматься как варианты одной фонемы. При этом создались условия для перераспределения иерархических отношений внутри трафаретов. Одна из возможностей подсказывалась эволюцией того трафарета, который действовал для сочетаний мягких согласных с последующей гласной нижнего подъема. Переход между двумя звуками стал восприниматься здесь как манифестация мягкости согласного, что могло приводить к смещению вершины слога (а возможно вместе с тем интенсивности и относительной длительности):  $[C^{\epsilon} \bar{a} \bar{a} C^{\circ} (V^{\circ})]$  превратилось в  $[C^{\bar{i}} \bar{a} C^{\circ} (V^{\circ})]$ . Если трафарет для  $/e/$  трансформировался по данному сценарию, то выглядело это следующим образом:  $[C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} V^{\circ}] > [C^{\bar{i}} \epsilon C^{\circ} V^{\circ}]$  (например,  $*led\bar{e}$  >  $[l^{\bar{i}} \epsilon C^{\circ}]$ ) или, в более привычном виде,  $[l^{\bar{i}} \epsilon^{\circ}]$ , что и составляет переход  $*e > o$ . Другой сценарий давало развитие трафарета с сильной палатализацией перед исходным  $*i$   $[C^{\bar{i}} \bar{i} C^{\circ} (V^{\circ})]$  (например,  $*pil\bar{e}$  >  $[p^{\bar{i}} \bar{i} l^{\bar{i}} \epsilon^{\circ}]$ ). Следование этому сценарию означало сохранение переходного сегмента к последующему твердому согласному именно как переходного (т.е.  $[\bar{a}]$ , а не  $[\bar{a}]$ ), что предполагало и сохранение передней гласной как вершины слога.

Основная часть будущих русских говоров пошла по первому пути, если иметь в виду ударный слог (относительно большая длительность которого создавала благоприятные условия для дифтонгизации); в безударных слогах в большей части говоров осуществлялся второй сценарий, т.е. переход  $*e > o$  отсутствовал. В украинском ареале, напротив, трафарет для  $*e$  эволюционировал по  $*i$  сценарию, т.е. переход  $*e > o$  не имел места (кроме позиции после шипящих, в которой переход осуществился, видимо, еще до падения редуцированных и объясняется иными факторами). Более того, мягкость перед  $*e$  была утрачена, что можно рассматривать как естественное развитие того же трафарета. В соответствии со вторым сценарием в трафарете  $[C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} V^{\circ}]$   $[\epsilon]$  сохранялось как вершина слога, а  $[\bar{a}]$  как переходный сегмент; можно предположить, что вершина смещалась при этом к началу слога, так что переход от  $[C^{\bar{i}}]$  к  $[\epsilon]$ , манифестировавший мягкость согласного, сокращался до столь незначительной величины, что переставал восприниматься как значимый:  $[C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} V^{\circ}] > [C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} (V^{\circ})] > [C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} (V^{\circ})]$ . Таким образом, хорошо известная история восточнославянского перехода  $*e > o$  может быть реинтерпретирована как последовательный ряд процессов, в результате которых амбивалентная последовательность  $[C^{\bar{i}} \epsilon \bar{a} C^{\circ} (V^{\circ})]$  была подведена под один из кристаллизовавшихся трафаретов ( $*C\bar{a}C^{\circ}$  или  $*C\bar{i}C^{\circ}$ ).

**9. Трафареты и ситуации.** В процессе взаимного приспособления образцов и ситуаций могут выбираться различные комбинации, поскольку ситуация во многих случаях не диктует однозначного выбора, но допускает использование нескольких трафаретов, каждый из которых с той или иной долей несовершенства выполняет коммуникативное задание. Ситуации и трафареты взаимодействуют как вызов и ответ на него (challenge and response). Отдельные комбинации могут быть окказиональными, связывающими знакомый носителю трафарет с не совсем подходящей к нему ситуацией. Закрепленный за данным трафаретом набор признаков при этом меняется. Именно такие окказиональные комбинации могут получать новую функциональную значимость и становиться в силу этого новыми трафаретами, характеризующимися новым набором признаков. Таким образом, изменения в языке могут пониматься как результаты взаимодействия новых коммуникативных заданий (новых ситуаций) и существующего набора трафаретов, так что обращение к истории языка позволяет увидеть механизмы языкового сознания в действии и отсюда реконструировать эти механизмы.

То, как работают трафареты, может быть проиллюстрировано на примере развития категории одушевленности в древнерусском, имеем в виду употребление родительного в функции винительного у существительных м. рода  $o$ -склонения. При глаголах любой семантики, управляющих винительным, с неодушевленными объектами употребляется трафарет, в котором винительный тождествен именительному  $\{V_{(вин.)}^{(любой)} N_{(вин.=им.)}^{(неодуш.)}\}$ . Новый вин. = род. сделался ко времени первых письменных памятников вполне регулярным при глаголах, обозначающих изменение состояния лица, фигурирующего в контексте индивидуальным образом:  $\{V_{(вин.)}^{(изменения)} N_{(вин.=род.)}^{(личный\&индивид.)}\}$ . Примеры из Лаврентьевской летописи:  $m\bar{u}z^{\bar{a}}$

твоего оувиномъ (s. a. 6453, l. 15); Володимеръ цѣловавъ врата своѣго и понде Перегаславу (s. a. 6611, l. 93"). Если не полагать, что "вариативность беспредложных ВП и РП в древнерусском языке не обуславливалась ни семантическими, ни грамматическими, ни какими бы то ни было другими факторами" [Крысько 1994: 166], представляется, что узус в целом не укладывается в эти два полярно противостоящие трафарета. Существуют дополнительные факторы – или трафареты – определяющие дистрибуцию вин. = им. и вин. = род. В частности, старая форма сохраняется, когда в высказывании сообщается, что наступила ситуация, касающаяся объекта, представляемого не индивидуально, а в качестве одного из членов множества. Во фразе и приа градъ · и посади мұжь сво" (s.a. 6390, l. 8) Олег создает ситуацию (нового правления), участником которой является лицо (мұжь), полностью определяемое отношением к Олегу и потому лишенное индивидуального существования. В этом случае дополнительный трафарет имеет вид:  $\{V_{(ситуационный)} N_{(личный \& один из множества)}\}_{(вин. = им.)}$ , где транзитивные ситуационные глаголы являются по преимуществу глаголами типа посадити и послаати. Можно предположить, что этот трафарет развивается как промежуточный между двумя основными в силу того, что следование второму из них, рассчитанному на личные индивидуальные существительные, придавало бы статус индивидуальности чисто функциональному обозначению.

Узус может маневрировать между устойчивыми моделями, и в этом случае действие стихийные стратегии экстраполяции. Выбирая грамматическую форму, носитель должен решить, какие аспекты ситуации подавать как сами собой разумеющиеся, а какие требуют особого выделения. Примером может служить рассказ о продлении договора между Новгородом и князем. Новгородцы были недовольны князьями из рода Святополка (не хочѣтѣ попка ни сна кго) и указывали, что сами въскормили есмъ съвѣ князь. Хотя въскормити не является обычным ситуационным глаголом, употребление вин. = им. показывает, что доминирует именно ситуационное прочтение: мы создали ситуацию, в которой имеется лицо, могущее функционировать как князь. Такое прочтение достаточно специфично, и поэтому неудивительно, что в других летописях (Ипатьевская, Радзивилловская) появляется иной вариант: оускормили есмъ съвѣ княза. (ср. подробнее [Тимберлейк 1996]). Трафареты, таким образом, не детерминируют узус однозначно, а создают набор интерпретативных вариантов, которые служат и пишущему, и читающему, и в силу своей динамичности создают основу для переосмысления вариантов, а отсюда и для языковых изменений.

**10. Трафареты и традиции (линии преемственности).** Как уже говорилось, языковой опыт носителя компартиментализован. Как отдельный носитель, так и различные социумы внутри языкового коллектива сталкиваются лишь с какой-то частью узуса данного языка. Если говорить об устном узусе, представляется очевидным, что, например, у крестьянина образуется иной языковой опыт, чем, скажем, у члена столичной бюрократии. Они пересекаются лишь частично, и из этого следует, что для разных социальных групп существуют разные наборы трафаретов. Точно так же обстоит дело и с письменным узусом. Разные группы носителей читают разные тексты, так что и здесь создаются разные линии преемственности, определяющие разные наборы трафаретов. Отсюда следует, что и изменение трафаретов (возникновение новых трафаретов) происходит прежде всего в рамках отдельных традиций (линий преемственности). В рамках этих традиций появляются новые ситуации и новые риторические стратегии, создающие стимул к изменению трафарета, и в этих же рамках происходит конвенциализация отдельных окказиональных трафаретов. Таким образом, рассуждая о том, когда происходит (или начинается) то или иное изменение, мы должны указать, о какой именно традиции (линии преемственности) мы говорим.

Именно в этих концептуальных рамках следует, видимо, рассматривать судьбу простых претеритов в восточнославянском. Обычно основной вопрос, который решают исследователи, состоит в том, когда простые претериты исчезли из языка. Имеется в виду, понятно, разговорный язык, т.е. как раз та языковая традиция, для которой прямые свидетельства отсутствуют. Такой подход имел бы смысл, если бы все, что происходит вне разговорного узуса, имело бы вторичный характер, т.е. воспроизводило бы, с той или иной оттяжкой во времени, процессы, имеющие место в разговорном языке. Это означало бы, что "органическая" преемственность присуща исключительно разговорному языку, а об автономной преемственности в других языковых традициях говорить неосмысленно. Выше уже обсуждалось, почему подобный подход не может считаться реалистичным. В такой ситуации осмысленно прежде всего исследовать динамику употребления простых претеритов и отношение этого употребления к речевой стратегии носителя в тех традициях, которые поддаются прямому наблюдению.

Так, Е. Кленин, исследуя употребление перфекта в Лаврентьевской летописи, пришла к выводу, что только в древнейшем слое летописи он обозначает исключительно результатив (безразлично в отношении к настоящему или прошлому), тогда как далее перфект встречается и в суммирующем значении, и вообще при обозначении действия, исключенного из нарративной цепи событий (вытесняя в этой функции имперфект) [Klenin 1993]. Такая динамика естественно описывается как последовательное переосмысление трафарета, при котором на каждом следующем этапе он осмысляется более широко: результатив как частный случай суммирования, суммирование как частный случай отступления от нарративной последовательности. Далее эта летописная традиция может развиваться в двух направлениях: по пути дальнейшего расширения функций перфекта, когда он начинает употребляться и для обозначения событий в нарративной последовательности (такое развитие представлено в последней части Лаврентьевской летописи и находит продолжение во многих других летописных памятниках) или по пути ограниченного употребления перфекта и расширения функций аориста, осмысляемого, видимо, как стилистический вариант перфекта и в силу этого распространяющего область своего функционирования на значения, не связанные с нарративной цепочкой. Ни один из этих процессов не сводится к отражению устного узуса или к постепенной реализации изменения, произошедшего в этом узусе (ср. [Живов 1995]).

Иную динамику демонстрирует традиция делового языка. В ранних текстах аорист появляется в формулах, а также окказионально вне формул. В дальнейшем употребление аориста ограничивается только формулами (типа *се купи, се заложи*), которые осмысляются, видимо, как характеристика типа документа. И в этом случае наблюдаемое развитие вряд ли связано с устным рекузом. Что именно происходило в устном узусе, прямой реконструкции не поддается. Если такая реконструкция вообще возможна, то необходимой предпосылкой для нее является реконструкция процессов, имевших место в различных письменных традициях, и прояснение общего вопроса о том, как различные регистры устного языка (устный диалог, устный нарратив) соотносятся с регистрами языка письменного. Типология такого рода соотношений требует привлечения разнообразного материала, отражающего как различные национальные культурные традиции, так и различные уровни языка.

**11. Взаимодействие традиций.** Другим типом изменения является влияние одной традиции (одной линии преемственности) на другую. Те трафареты, которые закрепились в одной из традиций, могут расширять сферу своего функционирования, переносясь в другие традиции и постепенно укореняясь в них. Отдельные инновации могут постепенно распространиться на все существующие в данном языковом коллективе традиции и в этом случае переходить из сферы вариаций внутри отдельной традиции или черт, противопоставляющих разные традиции (интерфункциональных вариаций), в сферу характеристик, определяющих язык в целом. Такого рода изменения происходят в силу причин, не имманентных для языковой деятельности как таковой. Например, заимствование трафарета из одной традиции в другую может быть обусловлено социальными характеристиками взаимодействующих традиций (традиция–донатор обладает большим престижем). Действующим фактором может быть и изменение дискурсивных характеристик или риторических стратегий в одной из традиций под влиянием другой, например, в истории русской книжности сказания о чудотворных иконах, примыкающие к агиографии, могут усваивать некоторые трафареты делового языка, поскольку признание иконы чудотворной сопровождалось официальным дознанием, отражавшемся в деловых документах, инкорпорируемых в переработанном виде в сказания.

Хорошим примером взаимодействия различных письменных традиций может служить Житие протопопы Аввакума. Обычно неоднородность в языке этого памятника описывается как столкновение русского (разговорного) и церковнославянского (книжного) языков [Виноградов 1938: 34–41], соотношенное с оппозицией религиозного и бытового начал и выполняющее отчетливо концептуализированное стилистическое задание. Представляется, что дело обстоит сложнее и не сводится к оппозиции двух языков, как бы ее себе ни представлять. Риторическая стратегия Аввакума, одновременно отождествляющая автора с Христом, подчеркивающая его (автора) земное уничтожение и отсылающая к образцам мученической святости, побуждает его скрещивать различные регистры (письменные традиции), соединяя элементы библейской канонической традиции и с традицией русской агиографии, использующей гибридный церковнославянский, и с традициями устной (фольклорной) культуры. Параллельным примером, показывающим, что речь идет именно о сознательном скрещении различных традиций, а не о переключениях с одного языка на другой, могут служить "Страды" Кондратия Селиванова, основателя скопческой ереси, реализующих аналогичную риторическую стратегию. Достаточно рассмотреть один лишь вводный пассаж этого сочинения: "Воз-

любленные вы мои детушки и други вы мои сердечные, прошу вас обратить внимание свое с усердием *во глаголы уст моих*, и что я вам при сем первом пункте хочу объявить, что истинный Отец ваш Искупитель сими цветами себя украсил до восприятия на себя огненной короны, и до налитой мне Отцом моим Небесным чаши высокопремудраго учения и сладчайшаго питья. До *восшествия на крестный престол* и до *восприятия на главу* огненной короны послал я на все четыре стороны детушкам своим сильной обороны, чтобы их вовсе не склевали вороны. И я сам себя не жалел, а детушек своих все лелеял, не словами и не языком, за них отвечал и *изнурением своей пречистой плоти* и разным похождением и действительным страданием" [Селиванов 1872: 142–143]. Селиванов уже в этих нескольких фразах успевает употребить элементы, сигнализирующие о диапазоне совмещаемых традиций. Отмеченные курсивом элементы могут рассматриваться как отсылка к церковнославянской евангельской традиции, внутренняя рифма отчетливо указывает на фольклорную традицию (равно как фразеологизмы типа "послал я на все четыре стороны"), а такие выражения, как "прошу вас обратить внимание" или "при сем первом пункте хочу объявить", явно восходят к языку официальных документов, который, видимо, воспринимается Селивановым как язык элитарной культуры, соответствующий его претензиям на роль мифологического царя Петра Федоровича. Можно заметить, что в подобном контексте появляются и новые варианты значения у лексем *похождение* или *действительный*, встречающиеся в сектантских сочинениях и впоследствии. Таким образом, при скрещении различных традиций элементы одной традиции переходят в другую и создают вариативность, которая служит основой для последующих языковых изменений.

**12. Вариативность, изменение языка и узус.** Теперь мы можем вновь обратиться к тому, как изменяется язык и какова цель этих изменений. Изменчивость не имманентна для языка, и никакая целенаправленная динамика языку не присуща. Вместе с тем для языкового узуса имманентна вариативность. Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т.е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т.д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией. Глобальные изменения возникают как итог многочисленных (и отнюдь не однонаправленных) частных изменений в использовании вариантов. Такого рода частные изменения прекращаются не тогда, когда достигают некоторой предустановленной цели, а когда один из вариантов окончательно выходит из употребления или закрепляется как примета какой-либо периферийной языковой традиции, противопоставляющей ее всему остальному языковому узусу. Таким образом, вариативность может рассматриваться как способ существования языка, а изменения – как конвенционализация использования тех или иных вариантов.

Итак, ставя вопрос об изменениях в языке или, точнее, об изменчивости языка, мы приходим к необходимости пересмотра основных представлений о природе и функционировании языка. Вместо дихотомии языка и речи, отделяющей узус от системы и утверждающей язык (т.е. систему) в качестве первичного объекта лингвистического описания, в рамках предлагаемого подхода основное место занимает узус. Узус усваивается носителем как целостное знание, которое включает в себя и знания собственно лингвистического характера, и определенную классификацию речевых ситуаций, соотносимую с подходящим для каждой из ситуаций набором средств выражения, и общие принципы употребления этих средств, позволяющие экстраполировать их на ситуации, не предусмотренные исходной (усвоенной) классификацией. Эти возможности экстраполяции не предопределяют результат (порожденную речевую последовательность) однозначным образом, но создают пространство вариативности, ту сферу инноваций, которая продуцирует языковые изменения.

Отсюда ясно, что узус неоднороден: одни элементы в нем стабильны, другие динамичны, а третьи располагаются между этими двумя полюсами. Общей (принципиальной, структурной) неоднородности узуса соответствует и его социальная неоднородность. У разных социальных групп узус различен, а в силу того, что носитель не прикован к какой-либо одной социальной группе, он в своей языковой деятельности может отождествлять себя с разными группами (множественная идентичность носителя). Таким образом, узус отдельного носителя соединяет в себе неоднородный набор усвоенных им узусов, набор регистров, между которыми он может выбирать. Эти регистры не отделены друг от друга непроницаемыми границами, так что сферой языковой динамики (возникновения вариативности) оказываются те ситуации, в которых участники коммуникации не могут однозначно определить подходящий регистр: говорящий порождает элементы промежуточного характера, приспособлявая усвоенные им социально-языковые навыки к новому коммуникативному заданию, а слушающий воспринимает порожденный текст на основе тех же усвоенных навыков и сталкивается с аналогичными трудностями в определении значимости промежуточных элементов. Именно эти ситуации наиболее интересны для анализа, поскольку в них раскрывается реальный механизм изменений. Здесь параметры языковой динамики оказываются непосредственно связанными с параметрами социальной инновативности, что и сообщает истории языка статус социокультурной дисциплины, соответствующий социальной природе языка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов В.В.* 1938 – Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 2-е. изд. М., 1938.
- Живов В.М.* 1995 – Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // *Rling*. 1995. № 1.
- Зализняк А.А.* 1987 – Текстовая структура древненовгородских писем на бересте // *Исследования по структуре текста*. М.
- Крысько В.Б.* 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Падучева Е.В.* 1996 – Семантические исследования. М., 1996.
- Селиванов К.* 1872 – Страданий света, истиннаго Государя Батюшки, странствований и трудов дражайшаго нашего Искупителя и Вселенскаго Учителя Оглашение // *Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских*. Кн. 3: Смесь. 1872.
- Тимберлейк А.* 1996 – Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа (По поводу книги Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка) // *ВЯ*. 1996. № 5.
- Andersen H.* 1978 – Perceptual and conceptual factors in abductive innovations // *Recent developments in historical phonology* / Ed. by J. Fisiak. The Hague, 1978.
- Franklin S.* 1985 – Literacy and documentation in early medieval Russia // *Speculum*. V. 40. 1985.
- Klenin E.* 1993 – The Perfect tense in the Laurentian manuscript of 1377 // *American contributions to the Eleventh International congress of slavists*. Bratislava, August–September 1993. Literature. Linguistics. Poetics / Ed. by R.A. Maguire and A. Timberlake. Columbus, 1993.
- Kuryłowicz J.* 1960 – La notion de l'isomorphisme // *Kuryłowicz J. Esquisses linguistiques*. Wrocław; Kraków, 1960.
- Labov W.* 1963 – The social motivation of sound change // *Word*. V. 19. 1963.
- Lyons J.* 1978 – Semantics. V. I–II. Cambridge, 1978.
- Thomas B.* 1989 – Differences of sex and sects: Linguistic variation and social network in a Welsh mining village // *Women in their speech communities* / Ed. by J. Coates and D. Cameron. London. 1989.

© 1997 г. А. МУСТАЙОКИ

## ВОЗМОЖНА ЛИ ГРАММАТИКА НА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ?

Рассматривая историю лингвистических учений, А.М. Ломов [Ломов 1994: 11–13] высказывает мысль, согласно которой в течение последних десятилетий номинативно-прагматическая парадигма постепенно вытесняла и вытесняет системно-структурную парадигму<sup>1</sup>; С. Дик [Dik 1978: 4–5] называет эти конкурирующие парадигмы лингвистики функциональной и формальной соответственно. Обычно лингвисты избегают в этой связи употребления куновского понятия "смена парадигм", предполагающего неизбежность и неотвратимость изменения, а говорят о сосуществовании двух исследовательских направлений или подходов в лингвистике, что менее драматично; например, У. Фоли и Р. ван Валин [Foley, Van Valin 1984: 3] пишут по этому поводу: "Current theorizing in linguistics may be divided into two broad schools of thought which we will label *formal* versus *functional* orientation". Употребляются и другие термины: Э. Итконен [Itkonen 1983] говорит об автономной и каузальной, а В.И. Постовалова [Постовалова 1988: 8–9] об имманентной и антропологической ориентациях. Хотя указанные дихотомии в целом неидентичны, они отражают – каждая по-своему – два представления о языке: о языке как системе, построении структур, и о языке как средстве общения, как орудии для выражения мыслей<sup>2</sup>. Когда рассматривается вопрос, возможна ли грамматика на семантической основе, ясно, что при этом базой служит последнее из отмеченных толкований языка.

Далее необходимо определить исследовательскую стратегию, а именно то, в каком направлении происходит описание языка: от значения/функции к форме или от формы к значению/функции. Принять такое решение вынуждает асимметричность языкового знака, т.е. факт, что между значением и формой нет взаимно-однозначного соответствия. Традиционное описание языка основывается на принципе 'от формы к значению/функции'. В этом легко убедиться, взяв наугад книгу по грамматике какого-либо языка. Там, по всей вероятности, мы найдем такие названия глав, как "Существительное", "Временные формы", "Сказуемое", "Придаточные предложения" и т.д. Многие исследователи обращали внимание на то, что такой подход отражает положение слушающего в коммуникации<sup>3</sup>.

Противоположный подход заключается в том, чтобы исследовать язык с точки зрения говорящего; тогда описание должно начинаться с понятий и представлений, которые говорящий хочет вложить в слова. Мысль о том, что описание в направлении

<sup>1</sup> Согласно А.М. Ломову [Ломов 1994: 13], "в основание новой парадигмы при ее возникновении легли три теории... – теория номинации, теория референции и теория речевых актов".

<sup>2</sup> Р. Ван Валин [Van Valin 1993: 1], характеризуя свою "ролевую и референциальную грамматику", помещает ее между двумя крайними позициями и называет ее "структурально-функциональной" теорией. Очевидно, положение где-то на континууме между экстремальными полюсами характерно для большинства лингвистических теорий.

<sup>3</sup> Эта мысль была выражена, в частности, Г. фон дер Габеленцем [Gabelentz 1891: 96], З.М. Мурыгиной [Мурыгина 1977] и А.В. Бондарко [Бондарко 1988: 5–7]. Согласно некоторым исследователям [Храковский 1985: 67; Ломов 1994: 21], описание в направлении от формы к значению предшествует исторически описанию в направлении от значения к форме.

‘от формы к значению’ должно быть дополнено описанием в направлении ‘от значения к форме’, отнюдь не нова [Бондарко 1978: 7–35]. Правда, различные исследователи использовали различные термины для выражения этой дихотомии. Г. фон дер Габелентц [Gabelentz 1891: 97] упоминал "аналитическую и синтетическую системы", Есперсен [Jespersen 1924: 33] употреблял термины "внешняя форма" и "внутреннее значение", тогда как Щерба [1974: 56, 333–338] ввел понятия "пассивной" и "активной" грамматики. Кроме того, необходимо добавить, что тяготение языковедов к поиску универсальных семантических категорий является модификацией того же самого принципа. Согласно Итконену [Itkonen 1991], эта идея изначально сопутствует исследованию языка<sup>4</sup>.

Выше я старался уточнить, что в этой связи имеется в виду под грамматикой и семантической основой: это – грамматика, составленная по принципу ‘от значения к форме’. Требуется еще краткого замечания термин "грамматика", значение которого не такое очевидное, как можно полагать. Слово "грамматика" используется по крайней мере в трех различных смыслах<sup>5</sup>. Оно относится прежде всего к структуре какого-либо конкретного языка; во-вторых, оно может обозначать теорию, которая используется как основа для описания структуры языка; и, в-третьих, грамматика может быть книгой, в которой описывается структура языка. Когда мы говорим, что кто-либо знает грамматику некоторого языка или владеет ею, подразумевается первое значение. Второе значение имеется в виду в выражениях типа "генеративная грамматика была создана Н. Хомским" или "грамматику падежей развил Ч. Филмор". А когда говорят, что кто-либо написал грамматику языка *x*, слово "грамматика" используется в его третьем значении<sup>6</sup>. При рассмотрении отношений между этими двумя последними значениями "грамматики" (теории, с одной стороны, и описания – с другой), один возможный подход – считать грамматическую теорию средством для достижения конечной цели, создания письменного описания структуры языка. Несмотря на явное соотношение этих двух значений слова "грамматика", в действительности между ними иногда нет никакой связи. Кажется, что среди языковедов более обычен такой подход, когда "грамматика" понимается только в одном из этих значений: *или* как теория, *или* как описание, но не понимается *и* как теория, *и* как описание. Теперь я перейду к рассмотрению требований, которые могут быть предъявлены к исследованиям, придерживающимся принципа ‘от значения к форме’. Многие из них взаимосвязаны; я попытаюсь условно суммировать их в виде десяти пунктов.

**1. Семантические категории, служащие основой для описания, должны быть однозначно определены.** Точность употребляемых понятий и терминов – очевидная цель любого научного исследования. Однако мне кажется, что ввиду расплывчатости самих этих категорий данное требование нельзя в полной мере выполнить.

**2. Модель должна отражать психологическую действительность.** Существует по крайней мере две интерпретации этого требования. Для Хомского и многих других это то же самое, что описать языковую компетенцию идеального носителя языка<sup>7</sup>. Для тех, интерес которых направлен на язык не как на потенциал, а как на конк-

<sup>4</sup> О том, что интерес к этому вопросу не иссяк, свидетельствует, например, мнение Р. Джекендоффа [Jackendoff 1990: 10]: "The driving issue in generative linguistics... is to determine the form of Universal Grammar, consonant both with the variety of human languages and also with their learnability".

<sup>5</sup> Соответствующие слова в других языках (например, англ. *grammar*, нем. *die Grammatik*, финск. *kielioppi*, букв. "учение о языке") имеют, как правило, эти же значения.

<sup>6</sup> Й. Аувера различает эти два толкования слова "грамматика" таким образом, что Грамматику как теорию он пишет с прописной буквы, а грамматику как описание конкретного языка со строчной [Auwera 1989: 22].

<sup>7</sup> Н. Хомский [Chomsky 1986] употребляет также понятия "external" и "internal language". Его интерес направлен, разумеется, к "внутреннему языку", отражающему способность человека знать язык (языки).

ретный речевой акт [Levelt 1989], психологическая реальность – это то же самое, что процесс порождения речи<sup>8</sup>.

**3. Модель должна быть универсальной.** Как говорилось выше, в течение веков и тысячелетий языковеды мечтают о создании универсальной для всего человечества основы исследования языка. С идеей описания языка на семантической основе, как правило, также связывается представление о том, что она более или менее является общей для различных языков.

**4. Категории, основанные на содержании, должны представлять собой семантические атомы, или примитивы, которые не могут быть разделены далее.** Как известно, систематически к созданию семантических примитивов, с помощью которых можно было бы описать все другие слова, стремится А. Вежбицка [Wierzbicka 1980: 28; 1991: 8]. К той же самой цели, но в несколько ином виде, приближаются многие другие лингвисты, в частности представители генеративной семантики, толкуя, например, значение глагола *дать* как каузацию владения.

**5. Семантическая основа описания должна быть соблюдена последовательно.** Поскольку языковые категории налицо в явном виде, а семантические категории, существуя в "сознании людей", не доступны прямому наблюдению, есть опасность прибегать к первым, думая, что они прямо соответствуют вторым. Другое возможное отклонение от этого требования наблюдается в некоторых теориях, в которых отстаивается позиция, согласно которой семантический компонент служит не основой описания, а интерпретационным элементом по отношению к синтаксическому компоненту.

**6. Переход от глубинной структуры (в данном случае она семантическая) к поверхностной структуре должен проходить по четким правилам.** Этот принцип, восходящий к генеративной грамматике, основывается на требовании придать описанию языка такую же строгость и точность, какая наблюдается в естественнонаучных исследованиях.

**7. Создаваемая модель должна быть применимой к разного рода машинным обработкам языка.** Это требование связано с предыдущим. Эффективность и достоверность порождающих правил могут (и должны?) быть проверены с помощью компьютера. Более общей целью описания языка может быть его применение к автоматическому анализу или порождению конкретного текста.

**8. Модель должна учитывать также явления, касающиеся прагматического использования языка.** "Прагматика" – понятие весьма диффузное. Одни ученые понимают под ним только актуальное членение, другие – субъективные оценки говорящего, третьи – речевые функции, четвертые – закономерности ежедневного общения.

**9. Описание должно быть полным, покрывающим язык в целом, а не только его отдельные фрагменты.** Это очевидное требование. Но его необходимо выделить, поскольку исследователи склонны тестировать применимость своих моделей только на весьма узком круге языковых явлений.

**10. Модель должна быть применимой к написанию грамматик (в третьем значении этого слова).** Если же слово "грамматика" – сознательно или интуитивно – понимается только в первом и втором его значении, это требование теряет свою релевантность.

В настоящее время существуют десятки лингвистических моделей, следующих в той или иной форме принципу 'от значения к форме'. Они включают многочисленные семантические вариации генеративной грамматики, падежных грамматик, функциональных грамматик и т.д. Легко согласиться с тем, что ни в одной из

---

<sup>8</sup> Р. Джекендофф [Jackendoff 1978: 201] связывает всю лингвистическую теорию с изучением психологической реальности следующим образом: "The goal of contemporary linguistic theory is a description of what it is that a human being knows when he knows how to speak a language". Кроме того, некоторые лингвисты подчеркивают психологическую реальность с точки зрения овладения языком.

них полностью не учтены все отмеченные выше требования. Действительно, одновременный учет всех их кажется невозможным. Лингвистам не остается другого выхода, как так или иначе мириться с этим очевидным фактом. Великое множество разных конкурирующих моделей возникает вследствие того, что представители различных школ и направлений оценивают удельный вес разных требований по-разному. Одни из них, как правило, считаются основными ("святыми"), другие же или просто забываются, или же игнорируются по какой-либо причине. Другой подход, распространенный среди исследователей, – это поставить определенные цели, но модифицировать их так, что они на практике оказываются лишь мнимыми.

Рассмотрим некоторые примеры. Мне кажется, что принципиальная демаркационная линия отграничивает тех лингвистов, для которых "грамматика" прежде всего (часто исключительно) теория, от тех, которые воспринимают термин "грамматика" в его третьем значении. В своем докладе на конференции "Лингвистика в конце двадцатого века: итоги и перспективы" (Москва, 1995) В.З. Демьянков привел таксономию 75-ти лингвистических теорий и направлений. Абсолютное большинство отмеченных в списке грамматических моделей не применены к описанию ни одного "целого" языка. Для сторонников этих лингвистических школ грамматика – это теория языка<sup>9</sup>. С другой стороны, в практических грамматиках [Метс 1985] трудно найти следы какой-либо теоретической концепции, иными словами, десятое требование центрально, а на остальные не обращается внимание.

Кроме описательных грамматик, лингвистические теории могут быть применены к разного рода автоматизированным обработкам языкового материала (седьмое требование). Существует явное "социальное требование" для призыва лингвистов к такой деятельности. Следовательно, не удивительно, что многие ученые фокусируют свое внимание прежде всего на создании моделей, подходящих для компьютерного анализа языкового материала. Эта конечная цель во многом отражается и на проведении исследования. Следует, однако, объективно рассмотреть результаты таких усилий. Оказывается, что весьма часто практические компьютерные применения разных моделей неудовлетворительны или полностью отсутствуют. Успешные конкретные решения компьютеризации обработки языкового материала нередко основываются не на новых современных грамматических моделях, пытающихся отражать психологическую реальность, а на совсем иных принципах, которые могут быть сравнительно традиционными [Karlsson 1995].

Приведем еще пример того, как весьма узко определяются отмеченные требования. Одной из целей "Функциональной грамматики" С. Дика [Dik 1978; 1989a; 1989b] является прагматическая адекватность. Однако оказывается, что на практике это не означает ничего иного, как учета актуального членения (тема/рема-структуры) предложения.

Теперь я представлю модель описания, основанную на определенной переоценке относительной важности упомянутых выше теоретических и практических требований, которые могут быть предъявлены к лингвистическим моделям, опирающимся на семантику. Я вернусь к этим требованиям в конце статьи, для того чтобы дать более детальное представление о том, в какой мере каждое из них выполняется; сейчас достаточно охарактеризовать главную особенность концепции. Она может быть кристаллизована с помощью отмеченных двух последних значений слова "грамматика": вместо учета только одного из них, в модели в равной мере уделяется внимание обоим значениям. Другими словами, цель модели заключается в том, чтобы создать метод описания, который даст возможность на основе достаточно четких теоретических предпосылок написать исчерпывающую и системно организованную грамматику, основанную на принципе 'от значения к форме'.

<sup>9</sup> Й. Аувера [Auwera 1989: 22] считает, что разница между грамматиками и Грамматикой градуальна. Однако, опыт показывает, что ученые-грамматисты чаще всего стремятся только к одной цели: или к созданию теории, или к написанию грамматики.

Эта модель, называемая "Функциональный синтаксис", развивается последние несколько лет в Хельсинкском университете под моим руководством. Она, конечно, не могла возникнуть на пустом месте, а испытывает влияние различных лингвистических традиций и школ, а также творчества отдельных исследователей. Идеи различных функциональных грамматик – особенно грамматик А.В. Бондарко [Бондарко 1983; 1987], С. Дика [Dik 1978; 1989b] и Г.А. Золотовой [Золотова 1973; 1982] – естественно, не могут не отражаться на ней. Важным источником являются также превосходные системные генеративные описания П. Адамца (1973, 1975, 1978) различных аспектов русского языка. Из западных подходов, которые оказали особенное влияние на данную теорию, пожалуй, самый значительный – падежная грамматика Ч. Филлмора. Некоторые точки соприкосновения модель имеет также с концепциями Р. Джекендоффа и "Ролевой и референциальной грамматикой" Фоли и Ван Валина<sup>10</sup>.

Название "функциональный синтаксис", по-видимому, нуждается в некотором объяснении. Я назвал свой подход "функциональным" с полным пониманием риска, связанного с использованием этого термина: подход 'от значения к форме' имеет также несколько других названий<sup>11</sup>, и, наоборот, не все модели, называемые "функциональными", в действительности основываются на этом принципе<sup>12</sup>. Кроме того, как уже говорилось в начале статьи, термин "функциональный" употребляется также в более широком значении. Слово "синтаксис" было предпочтено "грамматике" по двум причинам. Во-первых, термин "функциональная грамматика" уже "зарезервирован" для использования двумя различными школами функционализма (школами Дика и Бондарко). Во-вторых, хотя границы между разными уровнями грамматики в контексте моей теории частично теряют свою релевантность, синтаксис является тем не менее тем компонентом традиционной грамматики, который имеет больше всего общего с этой моделью. Говоря более конкретно, фонологические и морфологические явления описываться не будут. "Функциональный синтаксис русского языка", например, расскажет своему читателю, что конструкции, употребляемые для описания физических состояний, включают структуру 'существительное в винительном падеже + глагол в третьем лице единственного числа'; но информация о том, как образовать винительный падеж или третье лицо единственного числа, включаться не будет.

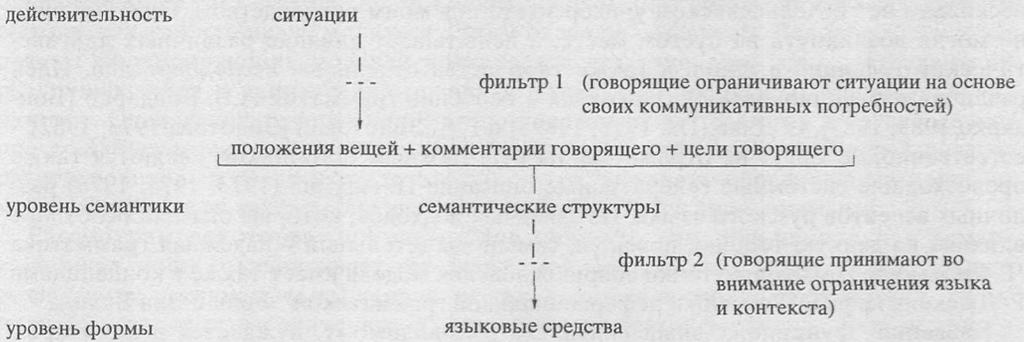
Представление модели, которое здесь может быть осуществлено только в самых общих чертах, целесообразно начать со схемы, отражающей соотношение действительности, сознания и языка, – с вопроса, который интересует ученых со времен Аристотеля [Itkonen 1991]. (См. схему 1 на с. 20)

Необходимо сразу подчеркнуть, что, несмотря на определенную аналогию схемы с процессом порождения речи, ее цель заключается не в том, чтобы описать конкретный речевой акт, а в том, чтобы определить исходную точку зрения описания языка по принципу от 'значения к форме'. Следовательно, задача функционального синтаксиса заключается в том, чтобы, во-первых, составить исчисление семантических структур, образующих основу описания, и, во-вторых, показать, какими языковыми средствами и при каких условиях они выражаются.

<sup>10</sup> Из-за ограниченного объема статьи нет возможности конкретно указать различие между "функциональным синтаксисом" и другими упомянутыми концепциями.

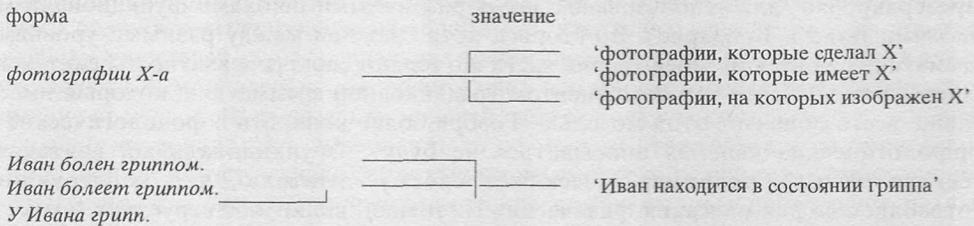
<sup>11</sup> Тот подход, который мы называем функциональным, называется также ономазиологическим в отличие от традиционного семасиологического подхода [Гак 1977: 17–18; Гак 1985: 12–15; Даниленко 1988: 108]. В.А. Белошапкова и И.Г. Милославский [Белошапкова, Милославский 1988: 7] употребляют при этом знакомый из лексикографии термин идеографической концепции функционально-коммуникативной грамматики. М.В. Всеволодова [Всеволодова 1988: 28] констатирует, что в основном данная грамматика исходит из семантики, но в ней должен быть использован и подход "от формы к значению".

<sup>12</sup> О многозначности термина "функциональный" свидетельствует то, что Ф. Данеш [Daneš 1987] дает ему пять различных значений только в рамках задач Пражской лингвистической школы.



Чтобы конкретизировать различие между уровнями семантики и формы, необходимо сначала напомнить об асимметричности языкового знака. Как показывают примеры на схеме 2, одна форма может иметь несколько значений, с одной стороны, а одному значению может соответствовать несколько форм – с другой.

Схема 2



Многозначным предложениям уделено много внимания в теории генеративной трансформационной грамматики. Тот факт, что некоторые выражения являются, со структурной точки зрения, двусмысленными, послужил одним из важнейших оснований допустить существование особой глубинной структуры. В описаниях же, построенных по принципу 'от значения', особый интерес вызывают случаи, когда одному значению соответствует более чем одно средство его выражения. Поскольку задачей грамматики является описание не отдельных синтаксических единиц, а их структурных типов, отношение между формой и значением следует рассматривать на уровне семантических и синтаксических структур. Так, например, все различные синтаксические средства, описанные в примерах (1–7), репрезентируют семантическую структуру (8), отражающую положение вещей, в котором Экспериенцер (E) находится в определенном физическом состоянии ( $St_{Ph}$ ).

- (1) *Иван болен.*
- (2) *Иван болеет гриппом/астмой.*
- (3) *У Ивана температура/грипп/рак/астма.*
- (4) *Иван страдает от астмы.*
- (5) *Ивана тошнит/лихорадит.*
- (6) *Ивану больно.*
- (7) *С Иваном обморок.*
- (8) [ $St_{Ph}$ ; E]

В отличие от традиционного синтаксиса, где указанные синтаксические модели описаны в разных его разделах, в книге, представляющей функциональный синтаксис

русского языка, эти примеры можно будет найти в одной главе, озаглавленной "Физическое состояние". Цель этой главы – описать те поверхностные структуры, которые могут быть использованы для выражения физических состояний. В дополнение к инвентарю релевантных структур описание должно также включать условия и ограничения, относящиеся к употреблению определенных структур. Такие ограничения могут быть стилистическими (конструкции типа (7) вряд ли могут быть употреблены в официальном документе), контекстуальными (конструкции типа (6) обычно не встречаются в ответах на вопрос "Как чувствует себя *x*?"), синтаксическими (предложения (9) и (10) противоречат правилам синтаксиса русского языка) и лексико-семантическими (в примерах (11) и (12) сочетаемость слов нетипична для русского языка).

- (9) \*Ивана больно.
- (10) \*Ивану насморк.
- (11) \*Иван болеет раком.
- (12) \*С Иваном рак.

Вернемся к схеме 1 и соотношению в ней действительности и семантического уровня. Ситуация является частью 'действительности', которая может в свою очередь относиться к любому из трех миров Поппера – миру физических явлений, миру субъективного сознания или миру объективного знания [Popper, Eccles 1984]. Ситуация включает различные элементы, среди которых некоторые будут трактоваться говорящим как иррелевантные. В "фильтре 1" говорящий ограничивает ситуацию на основе своих собственных коммуникативных потребностей. На основе примера (13) можно сделать вывод, что говорящий считал иррелевантным, в частности, то, каким образом "давание" книги осуществилось (из рук в руки, через кого-нибудь, "абстрактно" без конкретного акта и т.д.). Значит, хотя это обстоятельство, безусловно, было одним из элементов конкретной ситуации, оно осталось невыраженным.

- (13) Нина дала Ивану книгу.
- (14) Книга была дана Ивану Ниной.

В этой связи необходимо затронуть различие между лексикологией или лексической семантикой, с одной стороны, и синтаксисом – с другой. В цели традиционного синтаксиса входит, в частности, описание различий между предложениями (13) и (14), в то время как семантические различия между глаголами типа *доставить* и *купить* лежат за пределами сферы синтаксиса. Соответственно, цель функционального синтаксиса заключается в том, чтобы создать совокупность семантических структур и описать, какими синтаксическими средствами они выражаются, но особенности, относящиеся к области лексической семантики, остаются вне рассмотрения.

До сих пор мы имели дело с упрощенными примерами, состоящими только из ядерной структуры. Ядерные структуры могут, однако, быть расширены за счет таких явлений, как каузация и выражения темпоральной фазы. Важную роль играют также различные спецификаторы, такие, как Время, Аспектуальность, Определенность, Модальность, Количество, Место и т.д.

Вернемся еще раз к схеме 1. Там утверждается, что говорящий добавляет свои собственные комментарии к положению вещей и определяет цель, с которой он произносит свое высказывание. Эти вопросы описываются в функциональном синтаксисе с помощью того, что известно как 'комментаторы'. Это можно пояснить путем рассмотрения некоторых последующих примеров.

- (19) Нина, дай Ивану книгу!
- (20) Нина, очевидно, дала Ивану книгу.
- (21) {[Func = ПРОСИТЬ; S, R<sub>1</sub>] [AcPos; S<sub>1</sub>, R, O]}
- (22) {[Aut = ПРЕДПОЛАГАТЬ; S] [AcPos; S, R, O]}

Предложение (19) соответствует структуре (21), тогда как предложение (20) соответствует структуре (22). Каждое из этих предложений основывается на ядерной структуре с предикатом действия, приводящим к обладанию (поссессии) ( $Ac_{Pos}$ ), и трех актантах: Агенте-Субъекте (S), Реципиенте (R) и Объекте (O). К этой ядерной структуре добавляется комментатор, состоящий в этом случае из так называемых метаглаголов ПРОСИТЬ и ПРЕДПОЛАГАТЬ и связанных с ними актантов. ПРОСИТЬ — метаглагол, относящийся к речевым функциям, тогда как ПРЕДПОЛАГАТЬ связан с авторизацией. Все это представлено на метаязыке, который, как это ясно из примеров, тем не менее имеет сходство с естественным (здесь: русским) языком. Другая возможность заключалась бы в том, чтобы использовать искусственный метаязык. В течение веков философы и логики пытаются создать такой язык, но безуспешно. Было бы нецелесообразно сидеть и ждать решения этой проблемы — и более всего потому, что конечный результат, если бы он когда-либо был достигнут, вряд ли был бы достаточно доступным для использования вне круга узких специалистов. По этим причинам метаязык, используемый в функциональном синтаксисе, будет базироваться на естественном языке. Это позволит передавать разные "вспомогательные глубинные лексемы" в достаточно точной форме. Однако важно, чтобы читатель полностью понимал основной принцип функционального подхода, в соответствии с которым список поверхностных репрезентантов того или иного метаглагола может включать несколько различных глаголов, а также различные грамматические категории или слова, принадлежащие к другим частям речи.

Следует сказать еще несколько слов о самой сложной проблеме построения любой модели, придерживающейся принципа 'от значения к форме': откуда исследователь берет семантические структуры, служащие основой всего описания языка, — они же скрыты от прямого наблюдения в сознании человека? Простого и окончательного ответа на этот вопрос нет. Однако другие компоненты трихотомии, язык и действительность (правда, только реальный мир), доступны непосредственному наблюдению. Таким образом, нет другого выхода, как составить на их основе как можно более удовлетворительную картину о третьем звене трихотомии, уровне семантики. При этом исследователь-лингвист не может не опираться на свою интуицию или интуицию (других) носителей языка. На мой взгляд, это вообще неизбежно в лингвистике, если языковой знак понимается в полном его представлении, т.е. включающий как план выражения, так и план содержания.

После этого весьма краткого обзора можно представить эскиз оглавления "Функционального синтаксиса". Напомним об общем принципе: каждая глава должна ответить на вопрос, как содержание  $x$  выражается в рассматриваемом языке.

#### Ядерные положения вещей

Физические действия, Физические состояния, Эмоциональные состояния,  
Существование и изменения в нем, Характеризация, Идентификация и т.д.

#### Расширения ядра

Каузация, Темпоральная фаза

#### Комментарии говорящего

Речевые функции, Авторизация

#### Спецификаторы

Время, Аспектуальность, Модальность, Определенность, Количество, Место и т.д.

Первый набросок "Функционального синтаксиса", охватывающий его теорию в более или менее полном виде, был опубликован на финском языке в 1993 г. [Mustajoki 1993]; некоторые отдельные вопросы рассмотрены также в статьях [Мустайоки 1993а; 1993б]. Полностью переработанная версия книги находится сейчас на завершающей стадии и появится на русском языке под названием "Теория функционального синтаксиса". Рукопись книги была рассмотрена по моей просьбе не только членами исследовательской группы, но также четырьмя ведущими специалистами из других

стран (П. Адамцом, Н.А. Арутюновой, Г.А. Золотовой и К. Чвани); их замечания оказались весьма ценными. Другая предстоящая теоретическая публикация – это книга А. Честермана, члена исследовательской группы: в этой книге функциональный подход будет рассматриваться с точки зрения контрастивной теории. В это же время проходит проверка модели на конкретном материале: подготавливаются два функциональных описания русского синтаксиса, более основательная книга на русском языке и более краткая версия, которая должна появиться на английском языке. В составлении книг участвуют Л.А. Бирюлин, Х. Хейно и Ю. Паппиниemi. Мы намереваемся действовать в дальнейшем таким же образом, вводя в модель последующие усовершенствования в плане теории и в то же самое время проверяя ее в контексте практического применения. Однако уже сейчас ясно, что окончательной версии "Функционального синтаксиса" никогда не будет.

Наконец, мы должны вернуться к вопросу, поставленному в заглавии статьи: возможна ли грамматика на семантической основе? Как теперь стало ясно, ответ должен быть отрицательным, если разделять представление о том, что она должна отвечать всем тем требованиям, которые были перечислены выше. Диффузная природа семантических категорий сама по себе является источником практически непреодолимых трудностей, если цель заключается в том, чтобы достичь полной точности. На практике исследователи, которые работают в этой области, должны идти на различные компромиссы. С этой оговоркой на вопрос, поставленный в заглавии статьи, может быть дан утвердительный ответ. Можно сказать, что дескриптивная модель, основанная на принципе 'от значения к форме', – это не только возможное, но также и очень полезное дополнение к арсеналу лингвистического исследования.

В заключение необходимо кратко изложить, как в "Функциональном синтаксисе" учитываются требования, о которых шла речь выше. Как я отметил ранее, теория "Функционального синтаксиса" включает в себя попытку оценить заново эти требования; результатом этого будет новый набор акцентов. В то время как некоторые из этих требований рассматриваются как абсолютные, некоторые другие неизбежно должны будут модифицироваться или даже по сути дела игнорироваться. Общим тоном теории "функционального синтаксиса" является принцип определенной реалистичности – однако не в таком духе, как это понятие употребляет Д. Бреснан [Bresnan 1978: 3], которая стремится к созданию "реалистической (realistic) грамматики", понимая под этим психологическую реальность. Для меня "реалистичность" модели означает совсем другое: она должна быть применима к конкретному описанию языка. Более конкретно она отражает (или не отражает) упомянутые требования следующим образом.

1. Семантические категории, которые образуют основу всего "Функционального синтаксиса", должны быть определены как можно более точно; при этом можно использовать и различные тесты. Невозможно, однако, достичь полной точности.

2. Модель не нацелена на отражение психологической действительности в смысле процесса порождения речи или компетенции носителя языка. Принципиальный отказ от этой цели основывается на двух обстоятельствах. Во-первых, на нынешней стадии науки это далеко не реализуемая цель, во-вторых, такую цель вообще целесообразно поставить перед психологами (и психолингвистами), но не перед лингвистами.

3. Универсальность, если она понимается как применимость ко всем языкам мира, – нереальная задача, а в некоторых отношениях даже препятствие с точки зрения практической полезности модели. Считается, что достаточная степень универсальности достигнута, если есть гарантия того, что модель не зависит непосредственно от поверхностных структур какого-либо отдельного языка. Это дает возможность описывать и сопоставлять различные языки, используя одну и ту же базовую модель.

4. При определении содержательных категорий не следует ставить целью сокращение их до семантических атомов, или примитивов, которые не могут быть разделены далее. Например, на мой взгляд, нецелесообразно представлять давание как

каузацию обладания<sup>13</sup>. При определении точной "глубины" описания нужно стремиться к золотой середине. Расщепление значения на избыточное число компонентов делает описание излишне усложненным и не соответствует интуиции носителя языка (который не рассматривает давание как каузацию обладания). Однако чрезмерное внимание к поверхностной структуре означало бы, что принцип 'от значения к форме' утратил бы свою первоначальную идею.

5. Основа описания в модели должна верно и последовательно отражать семантические, а не языковые категории. Это центральное требование. Так, например, интерпретация актантной структуры предикатов на уровне семантики не должна находиться под воздействием особенностей валентности, ассоциируемой с глаголами поверхностного уровня: существенным критерием должно быть число и характер партиципантов, вовлеченных в положение вещей.

6. Функциональный синтаксис не ставит целью описать переход от глубинного уровня к поверхностному уровню в виде четких стадий, определяемых правилами перехода. Соответствия между этими двумя уровнями устанавливаются не генеративным, а интуитивным способом.

7. В семантических структурах учитываются некоторые прагматические явления, например, различные речевые акты. (Поэтому было бы более точно говорить не о принципе 'от значения к форме', а 'от значения и функции к форме'.) Другие прагматические явления могут также интерпретироваться как комментаторы или как ограничения на использование различных поверхностных выражений.

8. Модель не претендует на ее применение в компьютерной форме. В связи с этим целесообразно помнить о том, что большинство моделей, в которых достигают "компьютеробразной" точности, никогда не получают практического применения. Однако не исключено, что модель может быть использована при составлении особого "словаря" (в компьютерной форме), который отвечал бы на вопросы типа "Как выражается *x* в данном языке (как в лексическом, так и в синтаксическом плане)?"

9. Описание стремится к полноте в том смысле, что оно должно покрывать "весь" язык, а не только какие-либо отдельные его фрагменты.

10. Модель должна быть реалистичной и в том смысле, что она может быть применима к созданию грамматики того или иного языка (в третьем значении слова "грамматика"). Реализация этой цели должна также проверяться на практике.

Как, очевидно, стало ясным, семантический уровень в "Функциональном синтаксисе" мог бы также служить возможным *interlingua* для исследований в области теории перевода или *tertium comparationis* для контрастивного анализа языков.

Рассуждение о возможности применять теорию "Функционального синтаксиса" или другие теории к составлению синтаксиса какого-либо конкретного языка, стоит закончить словами С. Дика [Dik 1989b: 35]: "Bad linguistic theory should not be replaced by no linguistic theory, but by better linguistic theory". Таким образом, я не разделяю мнение Ф. Стурмана [Stuurman 1989] о том, что "открытая" (=дескриптивная) и "узкая" (теоретическая) грамматика достигают своих целей только в том случае, если они развиваются отдельно друг от друга.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамец П. 1978 – Образование предложений из пропозиций. Прага, 1978.  
Белошапкова В.А., Милославский И.Г. 1988 – Идеографические аспекты русской грамматики / Ред. В.А. Белошапкова, И.Г. Милославский. М., 1988.  
Бондарко А.В. 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.  
Бондарко А.В. 1983 – Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.  
Бондарко А.В. 1987 – Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1987.

<sup>13</sup> См. рассуждения по этому поводу В. Левельта [Levelt 1989: 93].

- Бондарко А.В. 1988 – Направления функционально-грамматического описания "от формы" и "от семантики" // Функциональный анализ грамматических форм и конструкций / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1988.
- Бсеволодова М.В. 1988 – Основания практической функционально-коммуникативной грамматики русского языка // Языковая системность при коммуникативном обучении. Ред. О.А. Лаптева, Н.А. Лобанова, Н.И. Формановская. М., 1988.
- Даниленко В.П. 1988 – Ономазиологическое направление в истории грамматики // ВЯ. 1988. № 3.
- Гак В.Г. 1977 – Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1977.
- Гак В.Г. 1985 – К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.
- Золотова Г.А. 1973 – Очерки функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Золотова Г.А. 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Ломов А.М. 1994 – Типология русского предложения. Воронеж, 1994.
- Метс Н.А. 1985 – Практическая грамматика русского языка (для зарубежных преподавателей-русистов) / Ред. Н.А. Метс. М., 1985.
- Мурзыгина З.М. 1977 – Статус говорящего в речевой деятельности (теория языка К. Бюлера и современная кибернетика) // Публикации отделения структурной и прикладной лингвистики. Вып. 8: Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики / Гл. ред. В.А. Звегинцев. М., 1977.
- Мустайоки А. 1993a – Выражение модальности в модели функционального синтаксиса // Slavistische Beiträge. 305. München, 1993.
- Мустайоки А. 1993b – Аспектуальные разряды положений вещей в функциональном синтаксисе // Studia Slavica Finlandensia, X. Helsinki, 1993.
- Постовалова В.И. 1988 – Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Отв. ред. Б.А. Серебrenников. М., 1988.
- Храковский В.С. 1985 – Типы грамматических описаний и некоторые особенности функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.
- Шерба Л.В. 1974 – Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Ярцева В.Н. 1985 – Проблемы функциональной грамматики / Отв. ред. В.Н. Ярцева. М., 1985.
- Adamec P. 1973 – Очерк функционально-трансформационного синтаксиса современного русского языка I: Однобазовые предложения. Praha, 1973.
- Adamec P. 1975 – Очерк функционально-трансформационного синтаксиса современного русского языка II: Двухбазовые предложения с нефинитными К-структурами. Praha, 1975.
- Auwera J. van der 1989 – Linguistic pragmatics and its relevance to the writing of grammars // Reference grammars and modern linguistic theory. Wiesbaden, 1989.
- Bresnan J. 1978 – A realistic transformational grammar // Linguistic theory and psychological reality / Ed. by M. Halle, J. Bresnan and G.A. Miller. Cambridge (Mass.); London, 1978.
- Chomsky N. 1986 – Knowledge of language: its nature, origin, and use. New York, 1986.
- Daneš F. 1987 – On Prague school functionalism in linguistics // Functionalism in linguistics / Ed. by R. Dirven and V. Fried. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Dik S.C. 1978 – Functional grammar. Amsterdam, 1978.
- Dik S.C. 1989a – Functional grammar and its relevance to grammar writing // Reference grammars and modern linguistic theory. Wiesbaden, 1989.
- Dik S.C. 1989b – The theory of functional grammar. Pt I: The structure of the clause. Dordrecht, 1989.
- Foley W.A., Van Valin R.D. 1984 – Functional syntax and universal grammar / Cambridge, 1984.
- Gabelentz G. 1891 – Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig, 1891.
- Graunstein G., Leitner G. 1989 – Reference grammars and modern linguistic theory / Ed. by G. Graunstein, G. Leitner. Wiesbaden, 1989.
- Itkonen E. 1983 – Causality in linguistic theory. London, 1983.
- Itkonen E. 1991 – Universal history of linguistics (India, China, Arabia, Europa). Amsterdam; Philadelphia, 1991.
- Jackendoff R. 1978 – Grammar as evidence for conceptual structure // Linguistic theory and psychological reality / Ed. by M. Halle, J. Bresnan, G.A. Miller. Cambridge (Mass.); London, 1978.
- Jackendoff R. 1990 – Semantic structures. Cambridge (Mass.); London, 1990.
- Jespersen O. 1924 – The philosophy of grammar. London, 1924.
- Karlsson F. 1995 – Designing a parser for unrestricted text // Constraint grammar: A language-independent system for parsing unrestricted text / Ed. by F. Karlsson et al. Berlin; New York, 1995.
- Levelt W. J.M. 1989 – Speaking: From intention to articulation. Cambridge (Mass.), London, 1989.
- Mustajoki A. 1993 – Mielestä kieleen: kontrastiivisen funktionaalisen lauseopin teoria. Helsinki, 1993.
- Popper K., Eccles J. 1984 – The self and its brain. London, 1984.
- Sturman F. 1989 – Generative grammar and descriptive grammar: Beyond juxtaposition? // Reference grammar and modern linguistic theory. Wiesbaden, 1989.
- Van Valin R.D.Jr. 1993 – A synopsis of role and reference grammar // Advances in role and reference grammar / Ed. by Van Valin R.D.Jr. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Wierzbicka A. 1980 – Lingua Mentalis (The semantics of natural language). Sydney, 1980.
- Wierzbicka A. 1991 – Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin; New York, 1991.

© 1997 г. М.В. ШУЛЬГА

### СЛАВЯНСКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД: ПРИВАТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ\*

1. Учение об асимметричности соотносительных грамматических форм имеет давнюю традицию в трудах русских грамматиков (А.Х. Востоков, К.С. Аксаков, Ф.Ф. Fortunatov, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов). Как научная концепция оно сложилось в 30-е годы в трудах Р.О. Якобсона на базе теории фонологических оппозиций Н.С. Трубецкого, теории асимметрического дуализма С.О. Карцевского и других идей Пражской лингвистической школы. Этой теме посвящены фундаментальные работы А.В. Исаченко, новейшие исследования М.В. Панова.

В лингвистической литературе отмечена грамматическая выразительность (в терминологии теории оппозиций: маркированность) класса слов женского рода на фоне мужского. Слабый, немаркированный член оппозиции обладает способностью выступать в позиции нейтрализации грамматического значения, в "общекатегориальном" (или, что то же самое, "внекатегориальном") значении. Например, высказывание с использованием форм мужского рода *Каждый сам себе хозяин* воспринимается как грамматически правильное, если речь идет о лице / лицах мужского пола, или о лицах мужского и женского пола совместно, или только о лице / лицах женского пола. Ср. аналогичное высказывание с использованием форм женского рода: *Каждая сама себе хозяйка*. Это высказывание воспринимается как грамматически правильное только в случае, если речь идет о лице / лицах женского пола. В этом смысле мы говорим, что, являясь словами мужского рода, местоимения *каждый, сам*, существительное *хозяин* выступают не только в значении мужского рода, но также в позиции нейтрализации родового значения.

Такая способность в современном русском языке отмечена у существительных мужского рода, обозначающих лиц по профессии, по специальности, по должности, по общественной деятельности и т.п.: *учитель, продавец* применимо к названиям лиц не только мужского, но и женского пола, и напротив – соответствующие корреляты женского рода *учительница, продащица* применимы к названиям лиц женского пола и неприменимы к названиям лиц мужского пола. Довольно широко это свойство проявляет мужской род в коррелятах множественного числа: не только при обозначении лиц по профессии, по специальности, по должности, по общественной деятельности (*школьники, парикмахеры*), но также по национальности, месту жительства, происхождению и другим социальным признакам (*москвичи, грузины, южане*), по качественному признаку (*Петя и Маша – проказники, романтики, красавцы...*) [Янко-Триницкая 1982: 39–41]. Аналогичные свойства проявляет мужской род также у родозменяемых слов в анафорической функции: *Сына и дочь – обоих видела* (не *обоих*).

Впрочем, некоторые из приведенных примеров могут быть отнесены к области

\* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта "Историческая грамматика древнерусского языка" при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

литературной нормы, а не системы: книжная речь избегает конструкций с мужским морфологическим родом в применении к названиям лиц женского пола, то есть *учитель пришла* заменяется в живой речи на *учительница пришла*; разграничение форм *обоих* и *обеих*, *обоим* и *обеим*, *обоими* и *обеими* несвойственно для речевой практики и противоречит системе языка (см. подробнее [Шульга 1988: 6–17]). Тем не менее системный характер форм мужского рода в общеродовой функции подтверждает диалектные факты, в частности, архангельские, на которые нам указала О.Г. Гецова: *Дурак я была. Такая я дурак!* Или: *Ну, ска, у Захара жонка трус* (Онежский, Пурнема) [КАОС]. Здесь существительные мужского морфологического рода *дурак*, *трус* применены к лицам женского пола, то есть употреблены во внеродовом значении. В литературной непринужденной речи можно сослаться на конструкции типа: *Муж и жена – оба виноваты* (не обе).

Существует представление, что привативные отношения в сфере грамматического рода с немаркированной формой мужского морфологического рода сформировались в новейшее время под влиянием социальных перемен нынешнего века [Мучник 1963; Мучник 1971; Янко-Триницкая 1966; Копелиович 1989], что "в XIX и даже в начале XX века невозможно было, например, обратиться к читателям, чтобы тут же не обидеть женщин-читательниц" [Копелиович 1989:33]. Такое представление можно, видимо, объяснить отсутствием в научной литературе сколько-нибудь регулярных наблюдений над способами нейтрализации родовых оппозиций в старых текстах. В действительности же исторический материал обнаруживает отношения, аналогичные современным, с самого начала письменной истории славян.

Современному употреблению мужского рода в конструкциях типа *Каждый сам себе хозяин* можно привести регулярные древние параллели:

(1) *в с а к ъ б о в ѣ р у ѡ правовѣрно исповѣдають сѣм п(о)оученикъ правовѣрную вѣру* – КР 1284, 12г<sup>1</sup>. Местоимение *всякъ* и причастие *вѣруя* в форме мужского рода употреблены здесь в позиции нейтрализации родового значения.

Современное употребление слов мужского морфологического рода типа *учитель*, *продавец*, диал. *трус* также имеет моделью древние грамматические конструкции. Например, (2)–(3):

(2) *Бѣ же ему сестра блудъ творѣщи въ градѣ. и многамъ дѣшамъ ходатаи бывающи пагубѣ.* (греч. προξενουσα) – ПНЧ XIV, 172 г. Здесь существительное мужского морфологического рода *ходатаи* употреблено по отношению к лицу женского пола (*сестра...творящи...бывающи*) при том, что существует соотносительное слово женского морфологического рода *ходатаица*<sup>2</sup>.

Аналогично употреблено существительное мужского морфологического рода *хрестьянъ* вместо обычного *хрестьянка* по отношению к лицам женского пола (*дѣщери*):

(3) *Повѣлѣваетъ оубо правило. хр(с)тъіаномъ поимати о(т) еретикъ дѣщери. аще хр(с)тъіанъ быти wobѣщаеться* – КР 1284, 82в.

В качестве коррелята в форме множественного числа при названиях лиц мужского и женского пола также встречаем форму женского рода:

(4) *бѣша блжнии мѣнци и Витъ и Модестъ и Кръстанция* (по женскому роду было бы *блаженныѣ мученицѣ*) – СБУсп XII–XIII, 130в [Азарх 1984: 197]<sup>3</sup>.

Сфера реализации родовых отношений в древних славянских языках шире, чем в

<sup>1</sup> Сокращенные обозначения древнерусских источников соответствуют изданию [СДЯ 1988]. Старославянские памятники цитируются по изданию [СС 1994].

<sup>2</sup> Ср.: *прими сю х о д а т а и ц ю ш м о ж ѣ недостоинствоѣ* – СбЯр XIII, 127; *Пречистая госпоже дево владычице Богородице всяко въ(з)лагаю надежу на тѣ и оупованье на( х о д ) а т а и ц ю т ѣ имѣя къ сѣу твоему и Бу* – Надп 1336; *Іѣвлена ш(т) вѣка. всѣхъ хр(с)тъіанъ заступнице и к б ѡ х о д а т а и ц а м р ѣквонзвранаіа вл(д)чце* – КТурКан XII сп. XIV, 221–222.

<sup>3</sup> Ср. фрагмент старославянского текста, из которого очевидно, что здесь употреблены имена мужские и женское: *вита и модеста пѣстоуна его. и кр(ь)станция вавъи его* – Ас 1476, 5.

современных, прежде всего за счет форм двойственного и множественного числа самих существительных, а также за счет согласующихся с ними в роде слов. Это расширяет возможности для научных наблюдений над структурой родовых оппозиций. Показательно, что в формах двойственного и множественного числа выявляется та же закономерность при нейтрализации родовых оппозиций, что и в формах единственного числа. Так, слова *малъжена*, *малъженьца* 'муж и жена, супруги', *отѣника* 'отец и мать, родители', употребляясь в двойственном числе, оформляются в старославянском (5) и в древнерусских текстах (6)–(7) по мужскому морфологическому роду:

(5) *лѹтѣ вѣ[дѣть малъжен] ома ѣже не съхрани(с)тѣ ложа несквр'(нь)на* (по женскому было бы \**малъженама*) – Рыл 56а, 12;

(6) *Малъженца распоуцающа сѣ аще не смирита сѣ. да пребывакта тако. аще ли же ни къ покаіанію да поноужена боудета ... да пребоудета въ кдиньствѣ* (по женскому было бы \**малъженьци, распоуцаючи, понуженѣ, тѣ*) – КР 1284, 131а–б;

(7) *имъ же оученьемъ побѣжаемъ противнаго врага попирающе под ноги якоже попраста и си отѣника* (по женскому было бы \**отѣници*) – ЛЛ 1377, 6491 г.

В последнем случае о древности явления (употребления мужского рода в качестве немаркированной формы) свидетельствует тот факт, что в основе общей номинации для лица мужского и женского пола лежит наименование лица мужского пола \**ot-*, а не женского. Эта номинативная модель реализована и в современных восточнославянских языках, ср. рус. *внуки, племянники, все люди братья, проблема отцов и детей* [Янко-Триницкая 1982: 39], укр. *батьки* 'батько та мати'.

Некоторые из приведенных примеров иллюстрируют функционирование формы мужского рода в качестве общеродовой также в синтаксических средствах выражения значения рода: в форме множественного числа прилагательного *блаженьнии* (4), в причастных формах двойственного числа *распоуцающа, понужена* (6), в форме двойственного числа указательного местоимения *та* (6). В современном русском языке такой способностью родоизменяемые формы не обладают, так как не имеют во множественном числе родовых различий. Тем интересней древнерусские факты, вскрывающие заложенные в системе закономерности. Регулярность таких отношений может быть подтверждена также другими примерами. Например, из старославянской письменности:

(8) *родителю вѣвъ. егкратніа. и еуфиміа. тако нарицакмома* – Супр 278, 18. Здесь причастие, относящееся к названиям лиц мужского и женского пола, употреблено в форме двойственного числа мужского рода (по женскому было бы *нарицаемама*). Из церковнославянского текста:

(9) *правило .гї. Черноризици и черноризицѣ. да не женатъ(с) ни посагають. понеже аще то створить. боудоуть Ѡлоучени* – КР 1284, 956. Здесь причастие, относящееся к названиям лиц мужского и женского пола, употреблено в форме множественного числа мужского рода. Аналогично в формах причастий (10)–(15) и прилагательного (11):

(10) *и не повѣлѣвають моужемъ ѡблачити сѣ въ женьскы ризы ни женамъ въ моужьскыа. еже творѣхоу на праздникъ дивнисовѣ плѣшюще* – КР 1284, 156в–г;

(11) *Черноризецъ или черноризица. кдиною обѣща вшесѣ. бѣи. работати въ чистотѣ и въ двѣствѣ всѣ дни живота своего. и потомъ Ѡпадоуть обѣщание свок Ѡвергше. рекше или черноризецъ оженить(с). или черноризица посагнетъ. Ѡлоучению да боудоуть повинни* – КР 1284, 956;

(12) *по гнѹ словеси равно ѡсоужают сѣ моужь и жена. развѣ любодѣанія распоуцающе сѣ* – КР 1284, 176г;

(13) *Вѣренъ мужь съ рабою или жена вѣрна. съ рабою с мѣшающе. сѣ. или да Ѡступитъ Ѡ того. аще ли же да Ѡвергуть(с) – КР 1284, 52в;*

(14) *Законьно съчетавшему сѣмоужь съ женою, прѣмѣсивши е (вместо прѣмѣсивше) сѣ другъ другоу на оутриѣ да не причащат сѣ – КР 1284, 205–206а;*

(15) *моужи и жены сходѣще пиренѣа творѣть. и оупвше сѣ плѣшють срамно – КР 1284.*

Нет необходимости объяснять, что контекст, по которому можно наблюдать, в какой форме осуществляется нейтрализация родовых оппозиций, в древней письменности является редчайшей находкой. При этом значительная часть примеров в таком контексте недостаточно достоверна. В частности, если согласуемое слово имеет ближайшим существительным слово мужского рода (например: *жены и мужи сходѣще ся*), можно предполагать не нейтрализацию родовой оппозиции по форме мужского рода, а согласование по роду с ближайшим существительным. Такие примеры мы оставили за пределами настоящего исследования. Тем не менее и они дают важную информацию в интересующем нас аспекте: нам не встретились случаи согласования по женскому роду (типа: *\*черноризьци и черноризьца отлучены будутъ*) даже при непосредственном контакте согласуемого слова и существительного женского рода.

Второе ограничение, которое накладывает древний материал на исследование данной проблемы, связано с утратой родовых различий во множественном числе и с утратой форм двойственного числа в системе древнерусского языка. Эти процессы приходятся, условно говоря, на рубеж XIII и XIV веков. В источниках XIV века родовые различия уже отражают норму, сложившийся узус, но не системные отношения. В этом смысле показателен пример из новгородской берестяной грамоты, единственный известный нам с контекстом, предполагающим нейтрализацию родовой оппозиции:

(16) *роба і холопо твоі дѣтѣ моі* ‘рабыня и раб твои – дети мои’ – № 78.

Это документ XIV века, он отражает утрату родовых различий во множественном числе и обобщение формы мужского рода (*твои*) не только при названиях лиц женского и мужского пола (*роба* и *холопъ*), но также у местоимения *мои* при существительном *дѣти*, относившемся к основам на *\*-i* и к женскому морфологическому роду.

По-видимому, привативный характер родовой оппозиции и маркированность женского рода в бинарной оппозиции мужской: женский род является органичным свойством славянского рода (по некоторым признакам – индоевропейского рода в целом, но это должно составить предмет особого исследования). К этому выводу склоняют известные факты из разных славянских языков. В частности, все современные славянские языки, которые с тем или другим грамматическим значением сохранили родовые формы во множественном числе, отражают также общеродовую функцию генетически мужских форм.

Так, в современном польском литературном языке личномужская форма в составе сказуемого (по происхождению это форма И. мн. мужского рода) обслуживает не только названия лиц мужского пола, но также употребляется в качестве общей формы при названиях лиц мужского и женского пола: *męszczyzny ta kobiety przyszli* (ср. *kobiety przyszły*). И. Леков, который обнаруживает проявление лично-мужского значения в разных славянских языках и в широком круге фактов (в частности, в специфических формах числительных и местоимений), считает необходимым подчеркнуть, что лично-мужские формы распространяются также на названия лиц женского пола, если последние употреблены вместе с названиями лиц мужского пола [Леков 1956: 320–321]. Общеродовую функцию выполняют согласуемые формы мужского рода в тех южнославянских языках, которые сохранили во множественном

числе родовые различия: в сербо-хорватском при однородных подлежащих, относящихся к разному грамматическому роду, в сказуемом во множественном числе употребляется форма мужского рода; аналогично в словенском языке.

Схематически нейтрализацию оппозиции мужского и женского рода у названий лиц можно представить в следующем виде:



Важно, однако, оговориться, что все эти принципиально важные, на наш взгляд, свидетельства (современные и исторические) выявляют привативный характер оппозиций славянского рода у слов с семантически мотивированным значением рода, строго говоря, лишь в пределах оппозиции лицо мужского пола : лицо женского пола (или лицо мужского пола : нелицо).

2. Названия лиц – это только частный (и особый) случай в структуре категории рода. Ядро категории рода составляют существительные, у которых род семантически не мотивирован естественным полом и имеет лишь формально-грамматическое значение: *окно, стена, потолок* и под. Их "ядерное" положение связано не только и не столько с тем, что они лексически несоизмеримо преобладают. Важнее то, что именно такие слова формируют категорию рода как трехчленное противопоставление: мужской, женский и средний род (слова, у которых род отражает семантику пола, образуют лишь двухчленное противопоставление: мужской и женский род).

Согласно теории Пражской лингвистической школы, многочленные оппозиции распадаются на цепь бинарных оппозиций. Трехчленная оппозиция по роду в конкретных текстах предстает в виде женский : средний, мужской : средний, мужской : женский. Мы попытались на материале древних памятников получить представление о том, как организованы эти оппозиции за пределами круга личных имен, то есть у слов с семантически немотивированным значением рода.

Наши предварительные наблюдения можно свести к следующему.

В оппозиции форм женского и среднего рода в качестве немаркированного члена оппозиции выступает форма среднего рода, то есть оппозиция нейтрализуется в форме среднего грамматического рода. Повод для такого заключения дают примеры типа (17)–(19):

(17) *аще же преже .л. лѣ(т) възыскник и распрѣ боудеть. о томъ. держащи т а к о в а љ. не оправдѣть сѣ сами. но со възыскающими* – КР 1284, 95г. Здесь с существительными среднего рода *възыскание* и женского рода *распрѣ* соотнесено местоимение среднего рода *таковая* (в форме множественного числа).

(18) *Блгочтивыхъ ц(с)ръ по соби іа и помощи. цркви всегда требоуютъ. ц(с)ри же должни суть такова іа подавати имъ* – КР 1284, 128г. Местоимение *таковая* в форме среднего рода замещает существительное среднего *пособие* и женского рода *помощь*.

(19) *двѣ же рекоша естѣствѣ. словоу различіа. а не словоу раздѣленіа. іако же оубо душа и тѣло различна оубо естѣствомъ. съединена же лицемъ едино со оуце сицѣ съдѣловающа. при шбъщающа сѣ вѣщемъ* – КР 1284, 3б. Здесь интерес представляют формы среднего рода единственного числа (местоимение и причастие *едино суще*) и множественного числа (прилагательное *различна* и причастия *съединена, съдѣловающа, приобъщающа*) при существительных женского и среднего рода *душа, тело*.

В оппозиции форм мужского и среднего рода в качестве немаркированного члена также выступает форма среднего рода, то есть в позиции нейтрализации отмечается средний род. Например:

(20) *аще по поставлении село или виноградъ купать. цркви си іа да вставѣтъ іако Ѡ црквнаго прибытка. такова іа. стаж(а)вше* – КР 1284,

113в. Местоимения *сия* и *такова* в форме множественного числа среднего рода соотносительны с существительными среднего (*село*) и мужского (*виноград*) рода.

(21) *Похотнии грѣси. прѣлюбодѣаники блудѣ. овѣмъ оубо различна мнѣтса. другымъ же такова же и та* – КР 1284, 204а. Прилагательное *различна*, а также местоимения *такова*, *та* имеют форму множественного числа среднего рода при существительных среднего рода (*прѣлюбодѣание*) и мужского (*блудѣ*).

(22) *не подобаеъ о(у)бо ни воска. ни масла въз(т)ѣцир(к)ве ни иного какового съ суда ни платна. всѣ бота бви възложена суть* – КР 1284, 48а. При существительных мужского (*воскъ, съсудѣ*) и среднего рода (*масло, платно*) корреляты во множественном числе имеют форму среднего рода (местоимения *вѣся, та*, причастие *възложена*).

(23) *Да ѡвержена боудуть ... и каланьди. и плясанья* – КР 1284, 1566–в. В этом примере в позиции нейтрализации при существительных мужского и среднего рода (*каланьди, плясанья*) употреблена причастная форма среднего рода (*отвержена*).

В контексте, где сталкиваются существительные мужского, женского и среднего рода, нейтрализация родовых оппозиций также осуществляется в форме среднего рода, во всяком случае, не женского. По-видимому, такие ситуации можно рассматривать как наложение друг на друга двух бинарных оппозиций – оппозиции мужской: средний род и оппозиции женский: средний род, результаты нейтрализации соответствуют такому подходу:

(24) *аще съсудѣ кътъ или ино чтѡ аще паволока кътъ. ли за вѣса. ли поставъ златъ аще масло будетъ ли воскъ принесенимъ бо ихъ въ бжю цркъвь. ѡсцають сѣ такова іа* – КР 1284, 48а. Местоимение в форме среднего рода *таковая* соотносено здесь с существительными мужского рода *съсудѣ, поставъ, воскъ*, женского *паволока, завѣса*, существительными среднего рода *масло* и местоимениями *ино чьто*.

В старославянском тексте:

(25) *кръсть імоука и гвоздик. і съмръть сі животоу. вѣсмрътноуѣмоу вывають пелены* – Клоц 106, 20. При существительных мужского рода *кръсть*, среднего рода *гвоздик*, женского рода *моука* и *съмръть* местоимение *си* стоит в форме множественного числа мужского-среднего рода (по женскому роду было бы *снѣа*).

Что касается оппозиции мужского и женского рода, то здесь в пределах изученного нами материала с уверенностью можно сказать только о невозможности ее нейтрализации в форме женского рода – таких случаев нам не встретилось. Похоже, что у существительных, получающих значение рода по формально-грамматическому признаку, нейтрализация родовой оппозиции осуществлялась так же, как и у существительных, у которых грамматический род мотивирован естественным полом, то есть в форме мужского рода. Однако факты, которыми мы здесь располагаем, немногочисленны:

(26) *ѣдь. акриди і медъ дивни* – Мк 1, 6. В этом старославянском тексте форма прилагательного мужского рода *дивни* соотносительна с существительными женского и мужского рода, если только не предполагать здесь согласование прилагательного по роду с ближайшими существительным *медъ*.

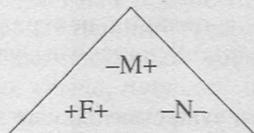
Схематически отношения в кругу существительных с формально-грамматическим значением рода, исходя из приведенного материала, можно представить в следующем виде:



В пределах того материала, которым мы располагаем, есть основания думать, что слова мужского и женского рода с семантически мотивированным значением рода, то есть личные имена, вписывались в общую структуру категории рода и осуществляли нейтрализацию родовых оппозиций по общим правилам, представляя собой лишь частный случай в структуре категории рода.

Этот факт может свидетельствовать в пользу формально-грамматической концепции происхождения категории рода и более поздней его семантизации (в рамках сложившейся структуры) за счет естественного пола.

Таким образом, в сфере грамматического рода как "антиподы" проявляют себя формы женского и среднего рода, первые как дважды (в оппозиции к мужскому и в оппозиции к среднему роду) маркированные, а вторые как дважды (в оппозиции к женскому и в оппозиции к мужскому роду) немаркированные. Формы мужского рода занимают как бы промежуточное положение: они маркированы в отношении среднего рода и немаркированы в отношении женского рода:



3. Особое положение среднего рода по отношению к мужскому и женскому нашло отражение в популярной среди индоевропейцев лингвистической теории, ведущей свое начало от А. Мейе. Согласно этой теории в индоевропейском языке средний род как род неодушевленный первоначально был противопоставлен мужскому и женскому как родам одушевленным [Meillet 1921] – здесь в основу классификации положены смысловые отношения. Следуя этой концепции, Р. Якобсон в работе 1932 г. [Jakobson 1971]<sup>4</sup> выделяет две бинарные оппозиции в структуре категории грамматического рода: средний противопоставлен мужскому и женскому родам в целом, а женский противопоставлен мужскому (в другой терминологии [15, с. 130]: несубъектный род противопоставлен субъектному, а внутри субъектного рода женский как указывающий на то, что субъект действия не мужчина, противопоставлен мужскому, не уточняющему пола). В приведенной выше схеме можно найти подтверждение концепции А. Мейе: структура родовых оппозиций славянских языков еще и в историческое время отражает своеобразное противостояние среднего рода (абсолютно немаркированного) "несреднему".

Основные сомнения последователей и оппонентов А. Мейе сводятся к тому выразительному факту, что по форме в славянских языках (унаследовавших и развивших индоевропейский род в наиболее полном виде) женский род противопоставлен "неженскому": различие между женскими и "неженским" родом проходит через всю парадигму единственного числа, а мужской и средний род имеют общее склонение и противопоставлены друг другу только в именительном и винительном падежах. Исходя из этого, Н.С. Трубецкой [Trubetzkoy 1975: 266–267], Р.О. Якобсон в своих поздних работах [Дегтярев 1982] выделяют другие бинарные оппозиции, опирающиеся на формальный, а не на смысловой принцип: женский род противопоставлен "неженскому", а "неженский" род разделяется на оппозицию мужского и среднего рода.

Традиционные смысловая и формальная классификации родовых оппозиций противоречат друг другу. А между тем в построенных на основе реального языкового употребления представлениях о родовых оппозициях запрограммированы как противостояние среднего рода "несреднему", так и противостояние женского рода "неженскому": в первом случае это оппозиция постоянно немаркированного члена и

<sup>4</sup> Эволюция взглядов Р. Якобсона на структуру грамматического рода подробно изложена в [Шахмайкин 1996].



непротиворечиво объяснить. Теория оппозиций, учение об асимметричности соотносительных языковых единиц обнаруживают объяснительную силу в применении к истории родовых противопоставлений. Привативный характер родовых оппозиций и маркированность женского рода предопределяют и объясняют направление и конкретные результаты многих морфологических процессов в славянских языках, в частности, в восточнославянских.

Так, при утрате во множественном числе родоизменяемых форм были обобщены в качестве общеродовых немаркированные формы мужского рода, ср. причастия на *-л* типа *пришли*; местоимения *они, одни, сами* (женский род *пришьлы, оны, одны, самы, мои, твои, наши, ваши* (женский род *моѣ, твоѣ, нашиѣ, вашиѣ*), формы сравнительной степени типа *тоньше, меньше, больше, лучше, хуже* из *хужьше, уже* из *ужьше*. При утрате двойственного числа была обобщена местоименная по происхождению форма мужского рода в составе числительного *дванадцать* (из *дѣва на десѣте*), имеющая общеславянское распространение и характерная для большинства русских говоров<sup>6</sup>.

Свойство слов мужского рода выступать в позиции нейтрализации родового значения может служить решающим аргументом в научных спорах о происхождении современных форм прилагательных типа *красные, синие*. Это свойство исключает возможность обобщения формы *И. – В. мн. женского* рода и заставляет рассматривать их в генетическом плане как формы мужского рода на определенном этапе собственной эволюции (замещение формы *И. мн.* формой *В. мн. мужского* рода и обобщение флексии твердой разновидности склонения, см. [Шульга 1984]). С изложенных здесь позиций представляется более чем сомнительной возможность обобщения женских флексий *-амѣ, -ахѣ, -ами* в ходе унификации форм множественного числа и кажется более обоснованной концепция Ягича – Маркова [Ягич 1989; Марков 1974] о формировании в парадигме существительных показателя множественности *-а-*.

Маркированность форм женского рода, их неспособность выступать в позиции нейтрализации родового значения заставляет пересмотреть распространенный взгляд на деепричастия на *-чи, -(в)ши* как остаточные формы женского рода. Этот принципиально важный вопрос следует рассмотреть более подробно: на нем проверяются диагностические возможности теории оппозиций.

Современные деепричастия в русском литературном языке наследуют именным (кратким) формам действительных причастий настоящего или прошедшего времени. При утрате согласования с именем существительным обобщалась форма *И. п. мужского* рода: *слыша* (настоящее время), *услышав* (прошедшее время). Деепричастия, которые отступают от этой модели и имеют исход основы на *-чи* (генетически настоящее время) или *-вши, -ши* (генетически прошедшее время), менее регулярны: *едучи, будучи, живучи, припеваючи, играючи, крадучись; прочитавши, забравши, заперши, стерши, живши, видевши, имевши, дышавши, выпивши, смерзшись, слипшись, подвергшись, вторгшись, записавшись*. Для большинства из них имеются параллельные образования на *-а, -в*: *играя – играючи, вытив – вытивши* и под. Периферийные для русского литературного языка формы на *-чи, -(в)ши* занимают центральные позиции в украинском литературном языке. Здесь они являются регулярными для деепричастий: *вміючи, зумівши*. Напротив, на обочине украинской морфологической системы находятся деепричастия на *-а* и *-в*. Для белорусского языка так же, как и для украинского, характерны деепричастные формы на *-учи* и *-(в)ши*.

Восточнославянские формы на *-а, -в* продолжают древние причастные формы *И.*

<sup>6</sup> У числительного *дванадцать* (из *дѣвѣ на десѣте*) первая часть внешне совпадает с омоформой женского-среднего рода. Однако есть веские основания (они изложены нами в отдельной статье, находящейся в печати) предполагать здесь местоименную форму с показателем множественности *-ѣ-* по типу новообразованных в древнерусском языке форм *тѣѣ, вѣсѣѣ*.

ед. мужского рода. Формы на *-учи* и *-(в)иши* обычно возводят к И. ед. женского рода. В этом единодушны российские, украинские и белорусские исторические грамматики, сравнительные грамматики славянских языков, см., например, [Булаховский 1953: 221; Карский 1956: 273; Грицютенко 1958: 19; Ломтев 1961: 318–320; Борковский, Кузнецов 1965: 318; Гаспаров, Сигалов 1974: 455–456; Русанівський 1978: 271; Горшкова, Хабургаев 1981: 353]. Здесь интригует своеобразная избирательность разных восточнославянских языков в отношении рода: предпочтение, которое украинцы и белорусы при лексикализации причастных форм почему-то отдали женскому роду, а русские – мужскому. Озадачивает также беспрецедентная для системы вариантность исторических форм мужского и женского рода, которую регулярно обнаруживают русские деепричастия на *-в* – *-(в)иши*: *прочитав* – *прочитавши*, *забрав* – *забравши*, *увидев* – *увидевши*. На базе какой сочетаемости причастий с существительными могла сложиться родовая вариантность?

Наша точка зрения состоит в том, что современные русские, украинские и белорусские деепричастия последовательно унаследовали форму мужского рода. Различия между русск. *умея* и укр. *вміючи*, между русскими вариантами формами типа *прочитав* – *прочитавши* восходят не к родовым, а к числовым: *умея*, *прочитав* являются рефлексам форм единственного числа мужского рода, а *вміючи*, *прочитавши* – рефлексам форм множественного числа мужского рода.

Современные деепричастия на *-чи*, *-(в)иши* по форме, действительно, совпадают с И. ед. причастий женского рода. Но уже Д.Н. Кудрявский высказал сомнение в том, что они генетически связаны с женским родом. Он исходил из того, что в деепричастия могли превратиться только широко употребительные причастные формы, а причастные формы женского рода к ним вовсе не относятся [Кудрявский 1916: 12–13].

Разделяя его позицию, И.Б. Кузьмина и Е.В. Немченко приводят конкретные цифры, которые характеризуют употребление форм женского рода на фоне форм мужского и среднего рода. Исходя из этих данных, среди именных причастных форм И. ед. и мн. (всего 14 544 словоупотребления) мужской род составляет 94,6%, женский – 4,9%. В единственном числе женский род составляет 6,8%, а во множественном – всего 1%. "Из сопоставления относительной употребительности причастий в разных позициях следует, что в качестве застывших, неизменяемых образований должны были сохраниться прежде всего формы м.р. – ед. и мн. ч." [Кузьмина, Немченко 1982: 327–328]. Генетическую связь деепричастий на *-чи*, *-(в)иши* с причастиями мн. числа мужского рода допускали А. Мейе [Мейе 1951: 268] и А.А. Шахматов [Шахматов 1957: 471], однако эта точка зрения не получила достаточного распространения. Здесь мы излагаем дополнительные аргументы в ее поддержку.

Флексия И. мн. *-е* составляла специфику мужского рода и, кроме причастных форм, характеризовала консонантные именные основы: существительные типа *камене*, *горожане*, *родители*, *мытаре*; прилагательное *четыре*. Но уже древнейшие церковнославянские памятники отражают здесь вариантность флексий *-е* и *-и*. С XIII века флексия *-и* преобладает у всех разрядов существительных, кроме слов на *-анин-* / *-ан-* типа *горожанин* [Иорданиди 1982]. Современный русский литературный язык сохраняет флексию *-е* лишь в формах типа *горожане* и в числительном *четыре*, что связано с книжной традицией. Украинский и белорусский литературные языки, значительная часть русских диалектов ориентированы на систему, а не на письменную традицию, и у бывших консонантных основ регулярно отражают флексию *-и* / *-ы*. Сказанное означает, что естественная морфологическая эволюция причастных форм приводила к замене флексии И. мн. мужского рода *-е* флексией *-и*, с чем мы встречаемся задолго до лексикализации причастных именных форм, например, в Мар. ев. *выходашти* [Шахматов 1957: 137].

Косвенные доказательства этому предоставляет современный чешский язык. В

чешском сохранились родовые деепричастные формы в единственном числе, во множественном им соответствует общеродовая форма, генетически связанная с мужским родом, а не с женским:

ед. муж. <i>nesa</i>	ед. жен.-ср. <i>nesouc</i>	мн. <i>nesouce</i>
<i>začnuv</i>	<i>začnuvši</i>	<i>začnuvše</i>

Вытеснение флексии *-e* связано с объединением форм И. и В. мн. мужского рода по форме В. мн. на восточнославянской территории. Отсутствию этого морфологического процесса в истории чешского языка соответствует сохранение флексии *-e* не только у деепричастий, но также у существительных: *obyvatelé, měšťané*, по аналогии также *komunisté, husité*. Материал чешского языка подтверждает общую эволюцию субстантивных и причастных форм на *-e*: при сохранившихся различиях субстантивных форм И. и В. мн. мужского рода чешские деепричастия сохранили во мн. числе флексию *-e*. Утрата оппозиции И. и В. мн. мужского привела в восточнославянских языках к флексии *-u* как у существительных, так и у причастий.

Чешский язык отражает обобщение во мн. числе в качестве общеродовой (то есть внеродовой) формы мужского рода. Обобщением формы мужского рода в общеродовой функции характеризуется утрата словоизменения именными причастными формами также в истории восточнославянских языков. Древнерусская письменность отражает замещение причастной формы женского рода формой мужского рода, то есть документирует причастия на *-(в)ше* при существительных женского рода. Например, в КР 1284:

(27) *Жены соуще въ течениѣ крѣве въ бж(с)твноую црковь да не внидоуть* 199в;

(28) *и дѣтогоубна зеля дающе и възимающе жены волныя оубища соу(т)* 176а;

(29) *идеже суть жены рабѣтающе* 54б и мн. другие.

Морфологическая позиция таких форм не вызывает сомнений – они свободно употребляются как синонимичные традиционным формам И. мн. женского рода у местоимений или прилагательных:

(30) *илі аще жены нѣкыя обрѣцють(с) мужьскыя ризы но сѣще на поруганиѣ обцекъ женьскыя одежда яко же того ра(д) мнѣще сѣч(с)ты быти и праведны илі ѿ своихъ мужь гнушающе (с) брака распоуцають(с) іли чада своѣ оставляюще и не питающе ихъ і не кажуще ихъ* (71б);

(31) *различны заповѣди сходѣще сѣ подобно съ бж(с)твеными и сицными правлы и ѿбилия свою крѣпость деюще* (215в);

(32) *но штавляють ѣ [церкви]нагы сѣзданы токмо и потомъ или раздрюшающе сѣ всеѣ сицнымиѣ службы лишены* (228а).

Сочетание существительных жен. рода с причастной формой на *-e* обычно для древнерусской письменности. Оно отмечено в ЕвОстр 1056–57, Изб 1076, КН 1280, ЧтБГ XI сп. XIV, Пч к. XIV, ЛН XIII–XIV, ЛЛ 1377, ЛИ ок. 1425 [34, с. 316]. Более того, исконная форма И. мн. женского рода в памятниках практически не употребляется. Тот большой материал, который обобщен в исследовании И.Б. Кузьминой и Е.В. Немченко, содержит лишь один пример с исконной флексией *-ѣ* у причастия в сочетании с существительным женского рода (случаев с *-e* 21).

Характерно также, что в письменности не отмечены обратные замены: замены формы И. мн. мужского рода на форму И. мн. женского, которые могли бы дать повод говорить о сочетаемости причастий женского рода с существительными мужского рода – такой этап должен предполагаться концепцией о происхождении деепричастий от причастий женского рода.

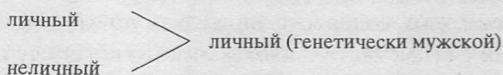
Таким образом, направление морфологического процесса при утрате изменения по родам как у местоимений и прилагательных, так и у именных причастий было предопределено привативным характером родовых оппозиций и немаркированностью мужского рода в его оппозиции женскому роду.

Омонимия действительных причастий в единственном числе мужского и среднего рода позволяет рассматривать деепричастия типа *слыша, услышав* также как формы, восходящие к среднему роду. В этом случае можно видеть некоторую тенденцию в эволюции форм при утрате словоизменения, а именно: обобщение форм мужского рода на базе множественного числа и форм среднего рода на базе единственного числа. Именно такие результаты сложились в некогда склоняемых формах сравнительной степени. Во множественном числе были лексикализованы, как уже говорилось, формы мужского рода (*тоньше, меньше* и под.). Постоянно немаркированный средний род был обобщен в единственном числе: *туча, небосвод, небо стали* (мн. число, муж. род) *темнее* (ед. число, ср. род).

Ограничение общеродовой функции среднего рода формами единственного числа связано с утратой родовых различий во множественном числе. В восточнославянских языках следы специфических форм среднего рода сохранились лишь в отдельных устойчивых словосочетаниях, сугубо книжных: *многая лета, все и вся, святая святых, и прочая и прочая, во вся тяжкая*. Это единичные, разрозненные остатки родовых форм, прежде регулярных для множественного числа, а согласуемых с существительным слов. Они относятся к области фразеологии, а не морфологии.

Почему во множественном числе в общеродовой функции был обобщен мужской род, а не средний? Оставаясь в рамках семантически немотивированных родовых форм, мы в свете изложенных здесь представлений вправе ожидать обобщения постоянно немаркированного среднего рода, а не мужского (немаркированного в оппозиции женскому роду, но маркированного в оппозиции среднему роду). Возможно, что результаты, наблюдаемые во множественном числе, предопределены наложением двух типов оппозиций: оппозиций по роду и оппозиции в рамках противопоставления лицо мужского пола : нелицо. Оппозиция личномужских : неличномужских форм в тех славянских языках, в которых она представлена, разрешается в пользу личномужских форм (см. выше, п. 1), т.е. немаркированной формой является здесь личномужская. Т. Лер-Сплавинский и другие исследователи относят грамматические проявления личномужского значения к первой половине XVII века [Lehr-Splawinski 1947: 281; Grappi 1956: 63]. Однако очевидно, что оно могло реализоваться только в рамках сложившихся ранее языковых моделей. С этой точки зрения очень любопытный случай представляет собой следующий древнерусский текст:

(33) *іако да быхъ азъ былъ и чада моіа и сѣміа моіа живи были* – ЖН 1219, 107 (пример С.И. Иорданиди). В позиции нейтрализации формально-грамматического рода – мужского, женского и среднего – следовало бы во множественном числе ожидать коррелята среднего рода (*жива была*). Однако здесь в форме мужского рода *живи были* нейтрализована оппозиция личного (*азъ былъ*) и неличных значений (*сѣміа моя, чада моя*), а в ближайшей языковой перспективе – личномужского и неличномужского значений. Нейтрализации личного (личномужского) и неличного (неличномужского) значений соответствует следующая схема:



Тем не менее в разных славянских языках можно обнаружить следы нейтрализации личного и неличного значений по форме среднего рода. На таких фактах вслед за Миклошичем останавливает свое внимание А.А. Потебня: "Требуется объяснения явление, о котором Миклошич говорит таким образом: «Средний род прилага-

тельных слов относится к мужскому и женскому (определяемых), когда или пол этих последних считается безразличным, или существительные имеют различный род: "чловѣка два внидета въ цръковь, ѡд и н о фаризѣй, а друго мытарь", серб. "кад се састану вук и лисица, запита је д н о д р у г о"» [Потебня 1958: 108]. Эти факты можно дополнить современными украинскими: *Одне глухе, друге німе; Одне мале, друге дурне*. По свидетельству О.Г. Гецової, такое употребление формы среднего рода характерно также для русских архангельских говоров. Не вполне ясно, можно ли подобные факты расценивать как следствие нейтрализации оппозиции личного : неличного, мужского : женского рода по форме среднего рода.

В единственном числе мужской род в функции немаркированного члена оппозиции преимущественно закрепился у названий лиц. Регулярное оформление по мужскому роду в позиции нейтрализации значений лица мужского и женского пола наблюдается, помимо случаев, рассмотренных в п. 1, также у существительных адъективного склонения. Модель мужского грамматического рода стала для названий лиц типовой словообразовательной моделью, ср. *городничий, портной, хромої, умный, каждый, всякий, управляющий, заведующий* и мн. другие.

Помимо деепричастных форм, которые могут рассматриваться также как генетически связанные со средним родом, обобщение неличной формы мужского рода отражено в числительном *одинадцать* < *одинъ на десѣте*. Омоформа мужского-среднего рода представлена в непрямах падежах числительного *полтора* < *поль вѣтора*. Преимущественно же в единственном числе в позиции нейтрализации родового значения обобщен средний род. Форма единственного числа среднего рода употребляется у местоимений в анафорической функции: *Пол, стены, окна – все это было выкрашено в голубой цвет*. Здесь она утвердилась после утраты родовых различий во множественном числе, ср. примеры (17)–(18), (20)–(22), (23) с их современными соответствиями. Р.О. Якобсон определяет имена среднего рода как немаркированную категорию в системе несклоняемых форм, то есть в системе кратких прилагательных, употребляемых в предикативной функции, и в формах прошедшего времени глагола [Jakobson 1971d: 185–186].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Азарх Ю.С. 1984 – Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка. М., 1984.
- Борковский В.И., Кузнецов П.С. 1965 – Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965.
- Булаховский Л.А. 1953 – Курс русского литературного языка. Т. 2 (Исторический комментарий). 4-е изд. Киев, 1953.
- Гаспаров Б.М., Сигалов П.С. 1974 – Сравнительная грамматика славянских языков. 2. Тарту, 1974.
- Грицютенко И.Е. 1958 – Именные формы глаголов // Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков. Одесса, 1958.
- Горикова К.В., Хабургаев Г.А. 1981 – Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
- Дегтярев В.И. 1982 – Категория числа в славянских языках (историко-семантическое исследование). Ростов-на-Дону, 1982.
- Иорданиди С.И. 1985 – Формы именительного множественного существительных типа *горожанинъ, родитель, мытарь* в истории русского языка // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1982. М., 1985.
- Исаченко А.В. 1961 – О грамматическом значении // ВЯ. 1961. № 1.
- Карский Е.Ф. 1956 – Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2–3. М., 1956.
- КАОС – Картотека Архангельского областного словаря (хранится в МГУ).
- Копелиович А.Б. 1989 – Очерки по истории грамматического рода. Владивосток, 1989.
- Кудрявский Д.Н. 1916 – К истории русских деепричастий. Вып. 1: Деепричастия прошедшего времени. Юрьев, 1916.
- Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. 1982 – История причастий // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
- Леков И. 1956 – Към въпроса за мъжколичния род в славянските езици // Български език. Год VI, Кн. 3.

- 1956.
- Ломтев Т.П.* 1961 – Сравнительно-историческая грамматика восточнославянских языков (морфология). М., 1961.
- Марков В.М.* 1974 – Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. М., 1974.
- Мейе А.* 1951 – Общеславянский язык. М., 1951.
- Мучник И.П.* 1963 – Категория рода и ее развитие в современном русском языке // Развитие современного русского языка. М., 1963.
- Мучник И.П.* 1971 – Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., 1971.
- Потебня А.А.* 1958 – Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.
- Русанівський В.М.* 1978 – Дієслово // Історія української мови. Морфологія. Київ, 1978.
- СДЯ 1988 – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1. М., 1988.
- СС 1984 – Старославянский словарь. М., 1984.
- Шахматов А.А.* 1941 – Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941.
- Шахматов А.А.* 1957 – Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- Шахмайкин А.М.* 1996 – Проблема лингвистического статуса категории рода // Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония и синхрония. М., 1996.
- Шульга М.В.* 1984 – О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов // ВЯ. 1984. № 3.
- Шульга М.В.* 1988 – Проблемы грамматической нормы в практике редактирования. М., 1988.
- Ягич И.В.* 1989 – Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1989.
- Янко-Триницкая Н.А.* 1966 – Наименование лиц женского пола существительными женского и мужского рода // Развитие словообразования современного русского языка. М., 1966.
- Янко-Триницкая Н.А.* 1982 – Русская морфология. М., 1982.
- Grappin H.* 1956 – Histoire de la flexion du nom en polonais. Wrocław, 1956.
- Jakobson R.* 1971a – Zur Struktur des russischen Verbums // *Jakobson R.* Selected writings. V. 2. The Hague, 1971.
- Jakobson R.* 1971b – Shifters, verbal categories and the Russian verb // *Jakobson R.* Selected writings. V. 2. The Hague, 1971.
- Jakobson R.* 1971c – Морфологические наблюдения над славянским склонением // *Jakobson R.* Selected writings. V. 2. The Hague, 1971.
- Jakobson R.* 1971d – The gender pattern of Russian // *Jakobson R.* Selected writings. V. 2. The Hague, 1971.
- Lehr-Splawiński T.* 1947 – Język polski. Warszawa, 1947.
- Meillet A.* 1921 – La catégorie du genre et les conceptions des Indo-européens // Linguistique historique et comparée. Paris, 1921.
- Trubetzkoy N.S.* 1975 – N.S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague, 1975.

© 1997 г. Т.В. БУЛЫГИНА, А.Д. ШМЕЛЕВ

**РЕФЕРЕНЦИЯ И СМЫСЛ ВЫРАЖЕНИЙ МЯСОПУСТ  
(МЯСОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ) И СЫРОПУСТ (СЫРОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ)\***

Названные в заглавии выражения, казалось бы, не представляют особого интереса в избранном аспекте рассмотрения. От них, как от элементов языка церковного устава, естественно было бы ждать четкой и недвусмысленной референции. С другой стороны, они, как и многие другие подобные наименования, представляют собой типичный пример тех слов “российского языка”, которые “суть не просто звуки, условно означающие вещь, но заключающие в себе знаменование оной” [Шिशков 1825: 32–33; цит. по Фаустов 1996: 6–7]. Адекватное толкование таких слов не может быть ориентировано исключительно на денотат или только на смысл: оно должно отражать связь интенционала (внутренней формы) и экстенционала. К примеру, толкуя выражения *Прощеное воскресенье*, недостаточно дать чисто “интенциональное” толкование, т.е. сообщить, что это воскресенье, в которое принято просить друг у друга прощенья, не указывая его места в церковном календаре; с другой стороны, не является адекватным и “экстенциональное” толкование, в соответствии с которым *Прощеное воскресенье* – это воскресенье в конце масленой недели, поскольку при таком толковании не раскрывается “способ представления” (Г. Фреге) календарной даты.

Трудность “правильной” интерпретации наших терминов, относящихся к календарным ритуальным правилам и обычаям, усугубляется еще и тем, что в соответствующей сфере употребления может происходить смешение разных культурных традиций – православия и западного христианства, а также христианства и язычества. Как отмечает Никита Ильич Толстой: “В годичном календарном цикле сосуществуют две системы духовного воззрения и мироощущения – христианская и языческая – одна, обращенная к небу, божественному началу, другая – к земле, к началу плотскому, к плодам земным, к их изобилию, зависящему, по древним представлениям, не только от человека и Бога, но и от сил сверхъестественных. Эти два мировосприятия и миропонимания сравнительно легко уживались в славянском народном календаре еще и потому, что христианство с его годовыми праздниками побуждало верующих ежегодно переживать в молитве жизнь и страсти Иисуса Христа, а язычество воплощало во многих своих обрядах цикличность природных явлений: возрождение, расцвет, увядание и временная смерть или “засыпание” природы” [Толстой 1995: 23–24].

Если мы обратимся к словам *мясопуст* и *сыропуст*, то увидим, что для них неясным оказывается не только “способ представления”, но и денотативная отнесенность. Так, В.И. Даль толкует *мясопуст* следующим образом: “день, в который по правосл. церк. уставу, мясная пища запрещена...; воскресенье за 56 дней до Пасхи, мясное заговенье, канун масляны” [Даль, II: 374]. Следует иметь в виду, что

\* Мы хотели бы выразить сердечную признательность всем, кто своими консультациями и предоставлением материалов оказывал нам неоценимую помощь на разных этапах работы: свящ. М. Ардову, Е.А. Суриц-Богатыревой, А.Н. Толстой, С.М. Толстой, В.Н. Топорову и В.А. Успенскому, а также сотрудникам Отдела древнерусского словаря Института русского языка РАН, руководимого Г.А. Богатовой.

воскресенье за 56 дней до Пасхи – это как раз последний день перед Великим постом, в который, по уставу, разрешается мясная пища<sup>1</sup>. Обратившись к другим словарям, мы увидим, что ситуация несколько не проясняется, а, скорее, становится еще более запутанной. Характерны толкования слова *мясопуст*, приводимые в СлРЯ XI–XVII вв.: “1. Допущение в пищу молочных и мясных продуктов по церковному уставу... 3. Великий пост перед пасхою, продолжающийся сорок дней (четыредесятница), а также пост вообще” [СлРЯ XI–XVII вв., 9: 346]. Поскольку *пост* предполагает как раз запрет на вкушение молочного и мясного, мы остаемся в недоумении, что же такое *мясопуст*: разрешение вкушать мясо или, напротив, запрет на вкушение мяса? Для полноты картины отметим, что в СлРЯ XI–XVII вв. дается еще одно значение этого загадочного слова, которое соответствует одному из толкований, даваемых В.И. Далем: “2. Воскресенье перед масленицей, мясное заговение, с которого по уставу православной церкви не разрешалось употреблять мясную пищу” [СлРЯ XI–XVII вв., 9: 346]. Таким образом, мы видим, что слово *мясопуст* может обозначать: 1) период перед масленицей (*мясоед*), когда мясная пища разрешена; 2) воскресенье, непосредственно предшествующее масленице (за 56 дней до Пасхи), последний день, когда разрешается вкушение мяса; 3) период, когда мясная пища по уставу запрещена, а именно – масленицу и Великий пост. Тем самым среди его значений есть прямо противоречащие друг другу.

Заметим, что в толкованиях словарей [Ушаков, II] и [Евгеньева 1982]<sup>2</sup> устраняется эта парадоксальная энантиосемичность (поскольку на масленице уставом дозволяется вкушение молока и яиц, но не мяса, можно считать, что второе значение просто является детализацией первого; к тому же в данном случае совместимости от дескриптивного и денотативного определения не требуется, так как они разносятся по разным значениям). Однако при этом упускается в каком-то смысле самое основное, т.е. в наибольшей степени соответствующее церковному узусу и, по всей видимости, первичное значение слов *мясопуст*, *мясопустный*.

Указанные выше три возможных способа денотативной отнесенности термина *мясопуст* соответствуют трем возможным интерпретациям элемента *-пуст*, который понимается в словарях (как можно иногда судить по эксплицитным определениям, а чаще по анализу их употребления в “референтных” определениях) по крайней мере в трех более или менее различных смыслах: 1) смысл, связанный с идеей разрешенности тех или иных трапез в определенное время (ср. *пусть*, *допустить*); 2) “промежуточный” смысл, связанный с идеей прощания, т.е. предстоящего разлучения, освобождения, прекращения употребления соответствующей пищи (ср. *отпустить*); 3) смысл, связанный с идеей запрещенности употреблять соответствующую пищу (ассоциация с “пустотой”). Интересно, что эти возможные понимания зафиксированы в СлРЯ XI–XVII вв. – в статьях с заглавными словами *пустити*, *пуститися* и *пущатися* именно в интересующем нас контексте: “**ПУСТИТИ**<sup>1</sup>... 17. Позволить, допустить... || Разрешить к употреблению”; “**ПУСТИТИСЯ**... 7. Чего. Окончить употребление чего-л., заговеться”; “**ПУЩАТИСЯ**... 4. Чего. Отказываться от чего-л., прекращать употребление чего-л.” [СлРЯ XI–XVII вв., 21: 76].

Таким образом, можно было бы сказать, что понятийная и денотативная неоднозначность и даже энантиосемичность термина *мясопуст* является “вторичной” и отражает неоднозначность и энантиосемичность элемента *-пуст*. При этом семанти-

<sup>1</sup> Несовместимость дескриптивной и референциальной частей толкования одного и того же значения наглядно выступает в формулировке М. Фасмера, толкующего *мясопуст* как “день, в который мясная пища запрещена (воскресенье накануне масленицы)” [Фасмер, III: 31].

<sup>2</sup> Ср., например, толкование словаря [Ушаков, II]: “**Мясопуст**... 1. День, в к-рый запрещено употребление мясной пищи. 2. Неделя перед т. наз. великим постом. масленица. **Мясопустный**... *Прил.* Мясопустная неделя (то же, что мясопуст во 2 знач.)”. По существу такое же толкование предлагается в словаре [Евгеньева 1982].

ческая структура элемента *-пуст*, объединяющая почти противоположные значения, не представляет собою ничего из ряда вон выходящего. В качестве курьеза приведем сходную неоднозначность семантически близкого глагола *разрешить*, приводящую к тому, что высказывание *Путнику посты разрешены* (приводимое, в частности, В.И. Далем [Даль, III: 345]), если отвлечься от знания внеязыковых реалий, могло бы, вообще говоря, пониматься двояким образом, причем одно из возможных осмыслений оказывается прямо противоположным другому<sup>3</sup>.

Кажется, что никакой загадки не осталось и мы даже могли бы, исходя из неоднозначности элемента *-пуст(ный)*, предсказать наличие аналогичной неоднозначности у слова *сыропуст* и сочетаний *мясопустная неделя* и *сыропустная неделя*. Например, мы могли бы ожидать, что слово *сыропуст* служит обозначением: 1) периода, когда молочная пища разрешена; 2) последнего дня перед постом, когда разрешается вкушение молочных продуктов; 3) периода, когда молочная пища по уставу запрещена. Однако полной симметрии между словами *мясопуст* и *сыропуст* наблюдаться не может, поскольку запрет и, соответственно, разрешение мясной и молочной пищи имеют в церковном уставе различный статус. Именно, запрет на молочное имплицитно также запрещает и мясное; а обратное неверно: в течение масленицы разрешена лишь молочная пища (и яйца), но не мясная. Поэтому параллельность в толкованиях первого из выделяемых значений каждого из интересующих нас слов, данных в ССРЛЯ (“**Мясопуст** 1. Время, день, в которые уставом православной церкви запрещается употребление мясной пищи... 2. Неделя перед великим постом, масленица” [ССРЛЯ, 6: стлб. 1451]. “**Сыропуст** 1. Время, день, в которые уставом православной церкви запрещается употребление молочной пищи. 2. Последний день масленицы, воскресенье перед великим постом” [ССРЛЯ, 14: стлб. 1369]), сколь бы она ни выглядела эстетично, может лишь ввести в заблуждение, поскольку в церковном календаре никакого специально выделенного времени, в которое бы запрещалось “вкушение молочной пищи” при разрешенности вкушения мясной пищи, не существует. Кроме того, если для слова *мясопуст* второе из выделенных в этом слове значений может рассматриваться как детализация первого (на масленице мясная пища запрещена), то для слова *сыропуст* второе значение противоречит первому (последний день масленицы – это не день запрета на молочную пищу, а, напротив того, последний день, когда она разрешена). Возможно, именно в связи с этим различные (доступные нам) словари в совокупности дают для слова *сыропуст* картину, несколько отличающуюся от картины для слова *мясопуст*. Слово *сыропуст* обычно получает следующие определения: “1. Время, день, в которые запрещается употреблять молочную пищу (в частном случае – первая неделя Великого поста); 2. Последний день масленицы, воскресенье перед великим постом”. Среди этих значений нет еще одного теоретически возможного: ‘период, когда разрешено

---

<sup>3</sup> Особенно эффектен в этом смысле следующий отрывок из замечаний “О постах и праздниках” в “Православном церковном календаре” за 1995 год: “С 6 (19) июня по 28 июня (11 июля) – время Петрова поста. Он менее строг, чем Великий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается растительное масло и рыба. В самый же праздник апостолов Петра и Павла – разрешение поста. Но если он приходится на среду или пятницу, то пост сохраняется, разрешается только рыба и растительное масло” (с. 5). Смысл слов *разрешается* и *разрешение* оказывается противоположным.

Отметим, что смыслы ‘отменить’, ‘упразднить’, ‘освободить’ и т.п. у глагола *разрешить* сохранились и в современном языке (ср. такие выражения, как *разрешиться от бремени*, *разрешение неоднозначности*), но во многих контекстах воспринимаются как необычные, с точки зрения современного словоупотребления. Характерно пояснение редакции к сочетанию *обрящет разрешение скорбей* в словах св. Василия Великого, цитируемых в “Православном Катехизисе”: *Скорбящий к четыредесяти прибегает, веселящийся притекает к тем же: один – да обрящет разрешение (получит освобождение от – Ред.) скорбей, другой – да соблюдет у него блага.*

вкушение молочной пищи (без дальнейшей детализации)<sup>4</sup>. При этом, если судить по данным словарей, наиболее распространенным является значение, соотносящее наименование *сыропуст* с *Прощеным воскресеньем*, или *сыропустной неделей*, т.е. воскресеньем перед Великим постом, последним днем, когда разрешается вкушение молочного. Это побуждает нас обратиться к анализу сочетания *сыропустная неделя*, а заодно рассмотреть и построенное по той же модели составное наименование *мясопустная неделя*.

Именно эти сочетания используются “терминологически”, в том числе в церковных календарях, в которых слова *мясопустный* и *сыропустный* употребляются в трех сочетаниях: *Неделя сыропустная* – по отношению к последнему воскресенью масленицы (“прощеное воскресенье”), т.е. ко дню, который непосредственно предшествует понедельнику, начинающему Великий пост; *Неделя мясопустная* – по отношению к последнему воскресенью перед масленицей (иначе называемому *Неделя о Страшном Суде*); *мясопустная суббота* (называемая также “Вселенской родительской субботой”) – по отношению к субботе перед этим воскресеньем (последней субботе, предшествующей масленице, т.е. субботе, отделенной от первого дня масленицы упомянутым воскресеньем – “мясопустным”). Может показаться, что наличие строгого “терминологического” смысла у выражений *сыропустная неделя* и *мясопустная неделя* не оставляет никакого места возможным “разночтениям”. Однако оказывается, что рассматриваемые выражения далеко не столь просты (как для денотативно-ориентированного, так и для сигнификативно-ориентированного анализа). Дело в том, что неоднозначными, а иногда и энантисемичными оказываются чуть ли не все без исключения элементы соответствующих слов и словосочетаний. Соответственно размытой оказывается и область их денотации. (Это, впрочем, можно сформулировать и в инвертированном виде: примеры различного денотативного отнесения терминов заставляют полагать, что носители языка осмысливают их семантическую структуру различным образом.)

В некоторых случаях неоднозначность вполне очевидна и едва ли может повести к недоразумению. В частности, это касается компонента *сыро-*, встречающегося в наших композитах (*сыропуст*, *сыропустная*) и в сложных словах “светского” языка (ср., например, “диетологическое” значение слова *сыроядение* ‘употребление в пищу только сырых овощей, плодов’, включаемого в словари современного русского языка, и совсем иной смысл – как референциальный, так и телеологический – словосочетания “*ядение сыра*” в текстах, отсылающих к православному церковному уставу)<sup>5</sup>.

Иначе обстоит дело с первым элементом композита *мясопуст*, который, хотя и не является амбивалентным сам по себе, в то же время представляет собой лишь один из возможных “переводов” первого компонента своего романского аналога, допускающего (скорее всего, в духе народной этимологии) двоякое осмысление (к этому любопытному осмыслению мы вернемся ниже). Но едва ли не основной источник

<sup>4</sup> Интересно, что это “недостающее” значение СлРЯ XI–XVII вв. дает (в качестве единственного) для слова *маслопуст* (‘Допущение молочных продуктов в пищу по церковному уставу’ [СлРЯ XI–XVII вв., 9: 35]), которое по своей внутренней форме, казалось бы, должно полностью совпадать со словом *сыропуст* (*масло* и *сыр* – разновидности молочных продуктов).

<sup>5</sup> Впрочем, и здесь могут возникнуть забавные недоразумения. В Словаре В.И. Даля читаем: “*Сыроед*... кто ест сырую рыбу или мясо... по вкусу и как средство от цинги... *Сыроядец*, -ица стар. сыроед” [Даль, IV: 376]. Из этих толкований как будто следует “диетологическое” понимание указанных слов, однако приводимый В.И. Далем здесь же в качестве иллюстрации летописный пример (*Безбожным сыроядцем*) современные информанты часто понимали в “церковном” (“кто не соблюдает постов, ест в пост молочное”), а не в “диетологическом” смысле (скорее всего, исходный смысл здесь – “дикарь, который ест сырое мясо”). Как бы то ни было, элемент *сыр-* не представляет особой проблемы в контексте нашей заметки и в дальнейшем специально не рассматривается.

возможных недоразумений, наряду с элементом *-пуст(ный)*, – это слово *неделя*, в церковно-славянском языке обозначающее, как известно, воскресенье, а в современном русском – “семидневку”, неделю, называемую по-церковному *седмица*. Поэтому в церковно-бытовом языке каждое из выражений *сыропустная неделя* и *мясопустная неделя* часто осмысляется как имеющее референцию к семидневному периоду. При этом *мясопустная неделя* может пониматься как неделя, предшествующая собственно *мясопустной неделе*, т.е. как последняя неделя, в которую еще можно есть мясо, или же как неделя, непосредственно следующая за *мясопустной неделей*, масленица, т.е. как первая неделя, в которую уже нельзя есть мясо. Аналогичным образом, *сыропустная неделя* может пониматься как неделя, предшествующая Прощеному воскресенью (собственно *сыропустной неделе*), т.е. как последняя неделя, в которую еще можно есть молочное, или же как неделя, непосредственно следующая за Прощеным воскресеньем, т.е. как первая неделя Великого поста, в которую уже нельзя есть молочное.

Все эти осмысления реально представлены в существующих словарях. Мы могли бы считать, что они являются результатом лексикографической ошибки – ошибочного восприятия составителями словаря семантической структуры соответствующих наименований. Но такое “ошибочное” восприятие характерно для многих носителей языка. “Ошибка” лексикографа оказывается отражающей его интуицию как носителя языка, и в этом смысле перестает быть “ошибкой”. Ведь задача составителя толкового словаря, по-видимому, в том и состоит, чтобы отразить в словарной статье интуиции рядовых носителей языка, а не сведения, которыми располагают особо компетентные специалисты.

В это же время представленный материал позволяет поставить еще один вопрос: не следует ли различать интуиции носителей языка при употреблении и при понимании описываемых выражений. Это различие, едва ли релевантное в тех случаях, когда речь идет об общеупотребительных выражениях, может оказаться существенным, как только мы перейдем к необщеупотребительным или даже необщеизвестным выражениям. И если в понимании выражений *мясопуст*, *мясопустная неделя*, *сыропуст*, *сыропустная неделя* обнаруживается описанный выше разнობой, то в реальной речевой практике эти выражения чаще всего употребляются либо терминологически (т.е. по отношению к воскресенью “о Страшном суде” и Прощеному воскресенью соответственно), либо с референцией к масленице (сырной седмице). При таком употреблении исчезает параллелизм в употреблении выражений *мясопуст* и *сыропуст*: один и тот же период носит название *мясопуст* на том основании, что это время, когда *вкусение мяса за прещено*, и название *сыропуст* – на том основании, что это время, когда *допускается* вкушение молочной (сырной) пищи. Этот период начинается после *мясопустной недели* (= воскресенья) и завершается *сыропустной неделей* (= воскресеньем), а сам носит оба названия: *мясопустная* или *сыропустная неделя* (= семидневка, по-церковному – *седмица*). Такая возможность двоякого метонимического обозначения периода времени в церковном календаре не является чем-то из ряда вон выходящим. Скажем, сорокадневный пост, начинающийся сразу после дня св. ап. Филиппа и продолжающийся вплоть до самого Рождества, называется либо *Филиппов пост*, либо *рождественский пост* (оба наименования равно употребительны в церковном обиходе). Кажущаяся “парадоксальность”, связанная с обозначениями *мясопуст* и *сыропуст*, обусловлена, с одной стороны, неясностью этимологии (как уже говорилось, в наивном сознании элемент *-пуст* может связываться с *пустой*, *отпустить* или *допустить*), а с другой – формальным параллелизмом наименований, вопреки отсутствию фактического параллелизма интерпретации.

Таковы синхронные объяснения “мясопустно-сыропустного парадокса”. Но он имеет и историко-лингвистические причины. В соответствии с одной из наиболее

вероятных этимологий слово *мясопуст* представляет собою кальку из ср.-лат. *carnevale* (см. [Фасмер, III: 31]). Точнее, слово *carnevale* было, по-видимому, скалькировано западнославянскими языками (ср. польск. *mešopust* и чеш. *masopust*), а затем заимствовано русским языком. Как известно, у западных христиан слова, восходящие к латинскому *carnevale*, обозначают период, аналогичный русской *масленице*, отчего и в словарях чаще всего переводятся как “карнавал, масленица”. При этом у западных христиан (в частности, у католиков) употребление мяса во время этого периода допускается, вследствие чего, скажем, польск. *mešopust* концептуализуется в польском языке как “дозволение мяса” и в качестве одного из своих значений (правда, устаревшего) имеет значение ‘мясоед’ (т.е. весь период, когда вкушение мяса разрешено, включая масленицу). Можно предположить, что, заимствуя данное слово со значением ‘масленица’, русские православные столкнулись с несоответствием внутренней формы и денотативной отнесенности: внутренняя форма указывала на дозволенность мяса, тогда как денотативная отнесенность предполагала период, в течение которого употребление мяса не дозволялось. Неизбежно было переосмысление этого слова, причем переосмыслению могла подвергнуться внутренняя форма (и с нею сигнификативный компонент значения) или денотативная отнесенность. В первом случае слово, сохраняя представление о дозволенности мясной пищи, начинает обозначать не масленицу, когда мясная пища у православных запрещена уставом, а период, предшествующий масленице (мясоед); во втором – сохраняется денотативная отнесенность (масленица), но переосмысливается внутренняя форма (*-пуст* начинает связываться с *пустой*). Кроме того, *мясопуст* чрезвычайно естественно связывается с обозначением границы между указанными двумя периодами – т.е. с обозначением дня, когда происходит прощание с мясом, и в этом случае *-пуст* концептуализуется как прощание (как в *отпустить*). В дальнейшем, по аналогии со словом *мясопуст* (в этой последней интерпретации) образуется слово *сыропуст*, обозначающее день, когда происходит прощание с молочными продуктами. И наконец слово *сыропуст* начинает употребляться расширительно – по отношению ко всей (сырной) неделе, в течение которой происходит прощание с молочными продуктами и которая по-другому называется *мясопуст*.

Однако дело осложняется тем, что и “исходное” *carnevale* также воспринималось неоднозначно. Этимологи колеблются, действительно ли здесь вычленяется морфема *carn-* или это лишь народная этимология, а в действительности *carnevale* восходит к выражению *carrus navalis* (название культовой повозки – корабля на колесах). Но дело не в этом. В любом случае этимология, связывающая *carnevale* с мясом, обладает несомненной лингвистической значимостью, раз *carnevale* могло быть скалькировано как *мясопуст*. Но как же следует интерпретировать это наименование? В словарях и справочниках мы находим различные и подчас прямо противоположные толкования: в одних *carnevale* толкуется как “прощай, мясо!” (вариант – “прощай, плоть!”), а в других – как “да здравствует мясо!” (вариант – “да здравствует плоть!”). Возможность двоякого прочтения элемента *carne-* (“мясо” и “плоть”) также весьма показательна. При этом оба возможных прочтения элемента *carne-* связаны друг с другом: “поедание мяса” и рассматривается как один из способов “ублажения плоти” во время карнавала, так что толкование через “плоть” является лишь чуть более широким (сигнификативно) при денотативном тождестве двух интерпретаций. Калькирование слова *carnevale* в виде *мясопуст*, как кажется, несколько сужает возможную интерпретацию.

В то же время еще более заслуживающим внимания представляется тот факт, что второй элемент слова *carnevale* содержал ту же двойственность, которую мы отмечали у второго элемента термина *мясопуст*. Здесь, правда, понятнейшая двойственность не влечет денотативной неоднозначности. При любом понимании *carnevale* понимается как праздник плоти, когда в последний раз перед Великим

постом “ублажают плоть” и, в частности, едят мясо. Этот праздник в зависимости от места и эпохи мог продолжаться день–два, непосредственно предшествующие посту (т.е. понедельник и вторник: в западной церкви, как известно Великий пост начинается в среду, носящую название “пепельная среда”; поэтому в русском народе понедельник и вторник первой недели Великого поста получили ироническое наименование *немецкая масленица*), а мог длиться непосредственно от Богоявления (“дня трех королей”, т.е. волхвов) и до начала Великого поста, т.е. весь период мясоеда (почему *mesopust* и могло получить значение “мясоед”). Двойственность праздника коррелирует с двойственностью интерпретации наименования. И не случайно одна из наиболее достоверных этимологий связывает наименование *carnevale* с выражением *carne levare* “поднимать или устранять мясо или плоть” и последующей метатезой. Действительно, характерное для еще дохристианского времени усиленное ублажение плоти во время карнавала (а карнавальные празднества у западных народов, как и масленица у славян, восходят еще к языческим временам) было осмыслено в христианстве как прощальное, предшествующее великопостному воздержанию. В этом проявляется двойственность самой идеи *заговенья*, когда перед постом люди в последний раз едят ту или иную пищу, как бы прощаясь с ней. Поэтому *заговенье* неразрывно связано с последующим постом (и глаголом *заговеть* ‘начать говеть, т.е. поститься’), но в то же время и с отсутствием поста, с заключительной скоромной трапезой перед постом. Отсюда двойственная модель управления у самого слова *заговенье*: ср., с одной стороны, *заговенье на мясо* (означает, что мы в последний раз едим мясо), а с другой – *заговенье на Великий пост* (ср. у В.И. Даля: *Заговляюсь на хрен, на редьку да на белую капусту* [Даль, I: 569])<sup>6</sup>. В каком-то смысле ничего парадоксального в такой двойственности нет. Но на уровне языковых обозначений эта двойственность приводит к неоднозначности и парадоксам<sup>7</sup>. Исследователи, заметившие эту двойственность и парадоксальность, для того чтобы ее объяснить, подчас вынуждены прибегать к достаточно сложным построениям, например, (в духе М.М. Бахтина) считать возможность употребления слова со значением “запрета на мясо” по отношению к периоду, когда мясо разрешено, своего рода карнавальным перевертышем (ср. [Серов 1977: 50]). На самом деле такая двойственность лежит “в природе вещей”. Переход от веселья к посту по самой сути своей сопряжен с некоторой “двойственностью”<sup>8</sup>. И, поняв ее, мы уже не будем удивляться, прочтя в итальянско-русском словаре, что *carnevale* означает ‘карнавал; масленица’, а также вообще ‘веселье, праздник’, тогда как *carnevalino* – это уже первое воскресенье поста [Скворцова, Майзель 1977].

Итак, рассмотренные слова представляют собою интересный пример того, как осмысление слова (и составляющих его морфем) зависит от установок языковой общности. Само наименование (*carnevale*) остается неизменным или “поморфемно” переводится (*мясопуст*). Денотация тоже в целом относительно постоянна (период разгула перед Великим постом), хотя здесь уже наблюдаются колебания. А вот

<sup>6</sup> Выражение *Заговляюсь на сыр да на масло* оказывается, таким образом, потенциально неоднозначным: то ли “в последний раз ем молочное (в сыропустную неделю)”, то ли “теперь из скоромного буду есть только молочное (а пока в последний раз ем мясное)”. Именно во втором из этих двух пониманий интерпретирует указанный пример В.И. Даль, поясняющий: “говор. в канун масляны” [Даль, I: 569].

<sup>7</sup> Ср. замечания Ф. Ферлуги-Петронио: “Странно, однако, и это не только у славян, что в наименованиях карнавала преобладают выражения, которые связаны не с плотскими радостями сегодняшнего дня, а с грядущим умерщвлением плоти, с лишениями дня завтрашнего” [Ferluga-Petronio 1984: 81].

<sup>8</sup> Разрешением поестъ скоромной пищи напоследок никогда не пренебрегали: если Церковь видит в *заговенье* прежде всего “приготовительный” смысл, т.е. постепенный отказ от плотских удовольствий, то народ понимал *заговление* (*загавливание*) скорее как возможность в полной мере воспользоваться разрешенным чревоугодием, чтобы как-то компенсировать грядущие тяготы поста. Недаром в Словаре В.И. Даля *заговляльщик; -щица* толкуется: “кто загавливается, пируя нередко напоследях” [Даль, I: 569].

интерпретация входящих в это слово морфем зависит от того, что именно интерпретатор считает наиболее значимой особенностью данного периода времени (увеселения плоти, поедание мяса, прощение с мясом, прощение с плотскими удовольствиями, запрет на мясную пищу и т.д.).

Такого рода колебания осмысления при относительно неизменной денотации не являются чем-то исключительным в церковном и, в особенности, церковно-бытовом языке<sup>9</sup>. Обращаясь к ним, мы можем вспомнить когда-то приведенную нами [Булыгина, Шмелев 1990] по другому поводу цитату из книги А. Вежбицкой: «Если информант, ориентирующийся на научную лексику, объявит, что "для него" тигры являются разновидностью "кошек" (cats), моя реакция будет состоять в том, чтобы дезавуировать его как информанта (поскольку он не способен отличить разговорного английского языка от научной терминологии), а не в том, чтобы торжественно записать, что в его "идиолекте" тигры – это разновидность кошек (cats)» [Wierzbicka 1985: 42]. Здесь ситуация несколько иная. Если лексиколог захочет дезавуировать того или иного информанта (в частности, другого специалиста) на том основании, что последний неправильно (не в соответствии с этимологией, с официальной церковной терминологией и т.п.) понимает какое-либо выражение церковно-бытового языка, такой лексиколог просто окажется не в состоянии отличить научные познания от наивно-языковой интуиции, и мы должны будем признать правоту информанта, следующего своей интуиции как носителя языка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1990 – "Аномальные" высказывания: проблемы интерпретации // *Metody formalne w opisie języków słowiańskich*. Białystok, 1990.
- Даль В.И. – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1980.
- Евгеньева А.П. (ред.) 1982 – Словарь русского языка. Т. 2. М., 1982.
- Крысин Л.П. 1996 – Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка // *Поэтика. Стилистика. Язык и культура*. М., 1996.
- Серов С.Я. 1977 – Народы Пиренейского полуострова // *Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (конец XIX – начало XX века). Весенние праздники*. М., 1977.
- Скворцова Н.А., Майзель Б.Н. 1977 – Итальянско-русский словарь. М., 1977.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. М.; Л. 1957; Т. 14. М.; Л. 1963.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982.
- Толстой Н.И. 1995 – Славянские верования // *Славянская мифология*. М., 1995.
- Ушаков Д.Н. (ред.) – Толковый словарь русского языка. Т. II. М., 1938.
- Фасмер М. – Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1987.
- Фаустов А. 1996 – Переживание времени и кризис языка в литературе пушкинской поры // *Филол. записки. Вестник литературоведения и языкознания*. Вып. 6. 1996.
- Шишков А.С. 1825 – Собр. соч. и переводов. СПб., 1825.
- Ferluga-Petronio F. 1984 – I nomi per la *Septuagesima*, *Sexagesima*, *Quinquagesima*, *Quadragesima* nelle lingue slave // *Ricerche religiose del Friuli e dell'Istria*. 1984. III.
- Wierzbicka A. *Lexicography and conceptual analysis*. Ann Arbor, 1985.

<sup>9</sup> К сожалению, русский церковно-бытовой язык остается почти неизученным. Соглашаясь с Л.П. Крысиным, обратившим внимание на "лауну" в системе стилистических классификаций разновидностей русского языка, в которых отсутствует стилистическая разновидность, обслуживающая сферу религии (Л.П. Крысин предложил в этой связи говорить об особом "религиозно-проповедническом стиле" современного русского языка [Крысин 1996]), можно заметить, что не меньшую лауну в системе изучаемых разновидностей русского языка составляет церковно-бытовой язык, который не изучен даже просто в лексическом плане, так что слова, вполне обычные в церковном обиходе, не включаются в существующие словари современного русского языка (будучи нетерминологическими, разговорными обозначениями, они, естественно, отсутствуют и в специализированных словарях).

© 1997 г.    К.Б. БАБУРИНА

### ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

С именем выдающегося слависта академика Никиты Ильича Толстого связано одно из наиболее интересных направлений отечественного языкознания – этнолингвистика, интегрирующая в себе языкознание, фольклористику и этнографию. Благодаря усилиям Н.И. Толстого в настоящее время можно говорить о целой этнолингвистической школе, которая решает такие серьезные задачи, как создание этнолингвистического словаря и атласа духовной культуры Полесья. В эту работу был вовлечен широкий круг специалистов, от крупных ученых до студентов. Н.И. Толстой руководил этнолингвистическим семинаром на филологическом факультете Московского государственного университета, студенты которого принимали участие в сборе материала в ежегодных экспедициях в Полесье.

Вместе с другими гуманитарными науками этнолингвистика, изучая язык в контексте народной культуры как одном из подвидов национальной культуры, решает многие вопросы и задачи, стоящие сейчас перед отечественным языкознанием. (О четырех подвидах национальной культуры см. [Толстой 1995: 20].) Это не случайно, ведь вопросы истории языка и истории культуры народа неразрывно связаны между собой. “Народный язык, говоры, народные обряды, представления и вся народная культура, – писал Н.И. Толстой, – вкупе с элементами включенной в нее материальной культуры представляет собой единое целое и с научной точки зрения, и в представлении носителей этой культуры” [Толстой 1995: 21].

В частности, этнолингвистический аспект приобретает важное значение в исторической лексикографии. В настоящее время Институтом русского языка РАН выпускается Словарь русского языка XI–XVII вв. (далее – СлРЯ XI–XVII вв.), который включает в себя значительный пласт народной лексики. В отличие, скажем, от Словаря живого великорусского языка В.И. Даля, который также является богатейшей коллекцией народных слов и выражений, пословиц и поговорок, СлРЯ XI–XVII вв. раскрывает историю входящих в него слов, историю их значений на значительном отрезке времени. Перед создателями Словаря стоит непростая задача, ведь «история слова, – как писал В.В. Виноградов, – должна воспроизводить все содержание, всю цепь смысловых превращений, все “метаморфозы”. Она стремится раскрыть конкретные условия употребления слова в разные периоды его речевой жизни» [Виноградов 1968: 19].

Чтобы реконструировать древнейшее значение слова и показать его дальнейшую историю, привлекаются как данные собственно языка, этимологии и диалектов, так и данные смежных дисциплин: истории, этнографии, археологии и др. [Богатова 1978: 46]. При составлении словарных статей авторы стараются учитывать историко-культурный аспект. Подходы к изучению и описанию лексики нашли отражение в сборниках статей, выпускаемых Отделом исторической лексикологии и лексикографии Института русского языка РАН<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. сборники: [Русск. регион. лексика... 1987; Лексич. гр. в русск. яз... 1991; Ист.-культ. аспект... 1995] и др.

Кроме того, часто, чтобы раскрыть всю полноту значений слова, необходимо выяснить также его значение в системе духовных и культурных ценностей народа. В определенной языковой культуре и традиции слова нередко получают новое, символическое значение. По словам Н.И. Толстого, «каждый тип культуры вырабатывает свой символический язык и свой “образ мира”, в котором и получают свои значения элементы этого языка» [Толстой 1995: 291]. В символическом языке культуры есть знаки разных субстанций – вербальные, реальные, изобразительные и т.п. Они имеют разный статус. Первичное значение принадлежит “реальным” знакам – вещам, субъектам, существам и т.д. Получая символическое значение, реалия превращается в знак [Толстой 1995: 293], и значение ее становится гораздо шире.

При написании словарной статьи **СЫРЬ** для СлРЯ XI–XVII вв. за историей реалии встала и история народной жизни и быта, так как сыр был связан со многими обрядами, обычаями и верованиями славян. На примере этого слова особенно заметно, как часто привычные нам слова в определенных контекстах обретают совершенно новый смысл, который невозможно уловить без знания народного быта и культуры.

Возникновение сыра, вероятно, относится ко времени одомашнивания скота [Мурьянов 1987], и славянам был известен с глубокой древности. Он упоминается в древнейших текстах: *имѣше же врѣмя хлѣвы чисты и топлы вино и масло дрѣвѣное и млады сыры и анца* (Супрасльская рукопись, XI в.), *А се поклонѣ вирныи: вирникоу взяти ѿ вѣдерѣ солоду на недлю..., а въ средоу рѣзаноу вѣже сыры, в пятницу тако же* (Правда Рус. (кр.), с. 73. XV–XI в.)<sup>2</sup>, *Брацныи приидоша къ Бавѣ несоуще хлѣвы и сыры и фюники* (Ж. Сав. Осв., 61. XIII в.), *Подобаеѣ видѣти яко от пасхы до всѣхъ стѣхъ на трапезѣ двое брашно ямы. Съ масломъ зелье и сочиво и сырѣ и рыбоу егда имамъ* (Никон. Панд.<sup>1</sup>, 197а. XIV в.) и др.

Сыр в древности не был похож на современный. На Руси сыром называли творог. Хотя и не существует его ранних описаний, но нас в этом убеждает семантика однокоренных слов, например, слова *сырники*. Возможно, они были похожи на современные сырники (или творожники), сейчас трудно утверждать наверняка. Однако это было кушанье, приготовленное из творога. Некоторые этнографические данные говорят о том, что сырники готовились из творога, яиц, молока, с небольшим количеством муки [Забылин 1880: 466]. А в “Росписи царским кушаньям” встречается такой рецепт приготовления сырников: *На блюдо сырниковъ съ сыромъ, а въ нихъ поллопатки мѣки крупчатые, 15 яиц, полполчети ведра молока прѣснаго, четъ сыра кислаго, гривенка масла коровья.* (АИ II, 428. 1598–1613 гг.). В русском народном языке сырниками называли “пирожки, блинцы, начиненные творогом”, или “вареники”, или “род клецок, колобки из творога” [Даль, IV: 376]. Это подтверждают и данные диалектов: в астраханских говорах *сырники* – “творожная пасха”, в тверских говорах отмечено слово *сырница*, означающая “кушанье из творога и гречневой каши”.

*Сырные губки* в старом русском языке означало “творожные грибки”: *А въ которомъ числѣ и съ кѣмъ имянемъ оврочные орѣхи и сырные гѣвки вышлешь и ты въ о томъ отписалъ* (ДАИ IV, 174. 1659 г.)<sup>3</sup>.

Кроме того, существовал ряд глаголов, производных от слова *сыр*: *насырити*, означавший “сгустить, створожить”: *Насырилъ ж мя еси равно сырѣ* [(Иов. X. 10) Библ. Генн. 1499 г.] (ср. в греч. ἐτύρωσας). Другой глагол – *сыротворити*, также означавший “створжить”: *Егда сыротвориши млеко, и сотвориши сывороткѣ, повнегда*

<sup>2</sup> Список сокращений источников дается по [Указатель... 1984].

<sup>3</sup> Толкование см. [СлРЯ XI–XVII вв., IV: 152].

измешн ю из мѣдника, розрѹши сырѣ свежій, его же сотворилъ еси во онѣ часть. (Кн. землед., 152. 1705 г.). Еще один глагол – *сырѹтисѹся*, со значением “сгуститься, створожиться”: *Ѣгда во аз смѣртнѣ чѣкѣ подовенѣ всѣм и от рода земнаго того иж преж быт и въ чревѣ мѣтеринѣ образенѣ есть плоти: десять мѣць время съсырѹхся в крови* [(Время. Сол. VII. 1–2) Библия. Генн. 1499 г.] (ср. в лат.: *decem mensium tempore coagulatis sum in sanguine*).

Чтобы сохранить творог, его солили, делали из него большие лепешки в виде круглого хлеба и сушили. По-видимому, это был “прообраз” современного сыра. Упоминание о *сухом сыре* встречается в Домострое при описании стола на масленицу: *Хворосты, орѣхи,.. сыры гѹбчатые,.. сыры сметанные сѹхие* (Дм., 151. XVI в.). А в воронежских говорах сохранилось слово *сырок*, означавшее “сушеный на зиму творог”.

Сыры, изготовленные в Европе, становятся известными на Руси по крайней мере в XVI в. Уже в “Козмографии” мы находим упоминание о твердых “заграничных” сырах: *Парменскіе сыры славные свѣше мѣры велики и ѹкѹсны зѣло* (Козм., 149. 1670 г.). А в эпоху Петра I получили распространение и многие другие виды сыров – пармазан (пармезан), английские, голландские<sup>4</sup>.

В XVIII в. в журналах появляются статьи с рецептами приготовления заграничных сыров. Вот, например, один из них, помещенный в статье “Известіе о деланіи сыровъ похожихъ на Аглинскіе”: “Сперва берется парнаго коровьяго, козьяго, или овечьяго молока... Сіе молоко вливается въ лохань, и буде оно холодно, то подогревается... и чрезъ то придается всему молоку такой градусъ теплоты, каковаго бываетъ обыкновенно парное молоко... По учиненіи сего предпринимается сему молоку закваска: ...берется пять ложекъ желудочной закваски... потомъ вливается въ оную четыре ложки уксусу... Сею закваскою заквашивается молоко... и накрывается простынею... покуда сядетъ. Между темъ приуготовляется лохань, наполненная кипяткомъ, для разогрѣванія блюду и тарелокъ... Сими блюдами и тарелками отваривается сырѣ покуда сядетъ. Потомъ сливается сыворотка, а сырѣ солится, и потомъ обертывается въ простыню, кладется въ форму и закрывается крышкою. Сія форма съ сыромъ становится въ станокъ и заколачивается накрепко клиньями, дабы вытекла изъ него вся сыворотка... И какъ чрезъ то сырѣ получить свое совершенство, то вынимается наконецъ изъ формы, натирается хорошенько солью и кладется для сохраненія на погребъ” (Болот. С.ж., 35. 1788 г.).

Таким образом, слово *сыр* в русском языке было многозначным. Оно означало и творог (и блюда из творога), и сыр.

И вплоть до XVIII–XIX веков и для творога, и для сыра существовало единое название “сыр”. И сыр в первую очередь по-прежнему понимался как творог. В Словаре русского языка Академии Российской (СПб., 1822) первое значение слова *сыр* – это “творог, приправленный сметаною и яйцами”. Второе же значение – это “сыр”: “отъ кислаго или заквашеннаго молока въ тепле отделенныя части наподобіе хлеба сваленныя и засушенныя”. Так же толкует слово *сыр* и Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка (СПб., 1867). И в Словаре В.И. Даля *сыр* толкуется в первую очередь как творог, хотя все же отмечается, что “обычно сыром зовут немецкій сыр, выделанный из парнаго молока, соленый и просушенный, кругами” [Даль, IV: 376]. Даль в своем толковании подчеркивает иностранное происхождение такого сыра.

Однако семантика слова *сыр* оказалась бы не до конца раскрытой, если бы мы не упомянули о символическом значении этого слова, которое оно получило в русской (и шире – славянской) языковой традиции.

<sup>4</sup> Эти названия встречаются в “Торговом морском уставе и Тарифе Санктпетербургскаго, Выборгскаго, Нарвскаго, Архангелогородскаго, Кольскаго портов” (СПб., 1724): “сыру пармазану пудъ, сыру галанскаго и аглинскаго пудъ”.

У славянских народов сыр, как молоко и другие молочные продукты, считался священным. Он был связан с культом продолжения рода. В Новгородской земле сыр резали (краяли), т.е. приносили в жертву, языческим божествам, дававшим продолжение жизни и помогавшим роженице (См. “Вопрошания Кирика” (XVI ~ 1136 г.): **Иже се роду и роженице крают хлѣвы и сыры и мед** (Корм. Балаш., 227 об. XVI в.).

Как символ продолжения рода сыр участвовал в свадебных обрядах. На свадебном столе сыру отводили специальное место, так же как и перепечу (праздничному пирогу) или караваю, которые являлись ритуальной едой на свадьбе. Резание сыра и перепечи имело символическое значение. Оно происходило, как описывается в “Домострое”, во время свадебного обряда, когда невесте расплетали девичью косу, причесывали по-бабьи и надевали кикку: **Как сваха үчнет ү князя и ү княгини голову зачесывати, а в тѣ поры вы друшка сыр колупал, и перепечю рѣжет**. Этой ритуальной свадебной едой дружка угощает всех присутствующих, поднося каждому по куску пирога и сыра. Отсутствующим же родственникам угощение отсылали домой.

Свадебный пир также начинался с каравая и сыра. А свадебный обед так и назывался *сырным столом*.

Сыр ели в качестве ритуальной еды и в начале, и в конце свадьбы. Например, после свадебного пира в московских землях в XVII в. всем раздавали и рассылали убрисцы, ширинки, каравай и сыр. У белорусов на следующий день после свадьбы теща клала зятю за пазуху сыр. У лемков (украинцев, живущих в Карпатах) молодым на другой после свадьбы день приносили сыр. В Вельской округе (Архангельская обл.) и по Ваге (приток Сев. Двины) тещи приносили зятям сыр в Петров день на второй год брака, а зятя устраивали по этому случаю пиршество [Снегирев 1838: 208].

Обязательное употребление сыра на свадьбе, на празднике обусловило то, что постепенно сыр перестал связываться в языковом сознании с культом продолжения рода. Его значение стало переосмысляться. Так как сыр не был простой, повседневной пищей, а ели его в торжественные дни, когда на столе стояла праздничная, более богатая, чем обычно, еда, то сыр стал связываться с довольством, богатством.

В.И. Даль в Словаре упоминает, не раскрывая значения, свадебный обряд, известный в нижегородских землях, когда молодые кланяются гостям, прося выпить. Это называлось *сыр молить*. В других областях также существовали обряды, когда гости одаривали молодых. И это называлось *на сыр класть, на сыр или к сыру просить* [Мораховская 1996: 160]. Сам же сыр в этих обрядах не фигурировал вообще. По мнению О.Н. Мораховской, в этих словосочетаниях слово *сыр* утратило свое денотативное значение. Оно означало здесь только благополучие, т.е. *давать на сыр* означало *давать на благополучие, на богатство*.

Кроме того, сыр имел важное значение и в церемониях, предшествующих свадьбе. Существуют этнографические свидетельства о том, что во время свадебного сговора родители жениха и невесты разрезали и ели сыр. Этот обычай был распространен у русских, белорусов, поляков, лужицких сербов вплоть до XIX в. [Сумцов 1881].

А на Украине невеста выносила ритуальный сыр, когда уговор между родителями невесты и женихом оканчивался. Этот сыр разрезался сватом и раздавался по кусочку всем присутствующим. Кроме того, невеста давала еще жениху на дорогу кусок сыра. По пути домой жених всем встречающимся также давал по кусочку сыра в знак того, что он обручен [Сумцов 1881: 120].

Разрезание сыра во время сговора также начинает связываться в языковом сознании с самим обрядом и получает таким образом символическое значение. *Краять сыр за деву* становится знаком – знаком сговора девушки замуж.

Но в отличие от предыдущего примера (сыр как довольство, благополучие), когда новое, символическое значение фигурирует только в обрядах, значение разрезания сыра как сговора проникает и в письменность. Оно находит отражение в Уставе князя Ярослава о церковных судах, который представлял собой кодекс семейного и брач-

ного права древнерусского государства: *Аще за девѹ сырѣ краянѣ бѹдетъ, а не такъ съчинятъ, за сырѣ гривна •Ѧ•, а что истеряли, то заплатятъ, а святителю •Ѣ• гривен, а князь казнитъ* (Княж. уставы, 97. XV~XII в.). Отказ жениха от невесты порочил ее, она рисковала остаться вообще без замужества, а ее родители несли и материальные убытки из-за расходов на сговор. И по закону жених или его родители возмещали материальные расходы на сговор (“а что истеряли”) и ущерб невесте (“за сыр”), а также штраф властям [Щапов 1972].

И хотя, как свидетельствуют этнографические источники, сам сыр продолжал фигурировать в данном обряде вплоть до XIX века (см. выше), а значит, и слово *сырѣ* в Княжеских уставах употреблялся в своем прямом значении, однако для современного читателя общий смысл фразы остается неясным, поскольку очевидно, что речь идет не о простом разрезании сыра.

Таким образом, этнолингвистический комментарий необходим в исторических словарях, хотя, разумеется, невозможно вместить в словарную статью все подробности жизни слова. Многие данные, в том числе и этнографические, останутся за ее рамками.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богатова Г.А. 1984 – История слова как объект русской исторической лексикографии. М., 1984.
- Виноградов В.В. 1968 – Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968. № 1.
- Даль В.И. – Толковый словарь живого великорусского языка. I–IV. М., 1978–1980.
- Забылин М. 1880 – Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880.
- Ист.-культ. аспект... 1995 – Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка. М., 1995.
- Лексич. гр. в русск. яз... 1991 – Лексические группы в русском языке XI–XVII вв. М., 1991.
- Мораховская О.Н. 1996 – Крестьянский двор. История названий усадебных участков. М., 1996.
- Мурынов М.Ф. 1987 – *Сир* (реалия і слово) // Мовознавство, 1987 г. № 1.
- Русск. регион. лексика... 1987 – Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987.
- Словарь церковно-славянского и русского языка. СПб., 1867.
- Словарь русского языка Академии Российской. СПб., 1822.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–23–; М., 1975–1996–.
- Снегирев И.М. 1838 – Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 2. М., 1838.
- Сумцов Н. 1881 – О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881.
- Толстой Н.И. 1995 – Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Указатель... 1984 – Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. М., 1984.
- Щапов Я.Н. 1972 – Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV веков. М., 1972.

© 1997 г. И.Г. ДОБРОДОМОВ

ЕЩЕ РАЗ: КУРЯНЕ СВЕДОМИ КЪМЕТИ  
"СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"

Никита Ильич Толстой в своих семасиологических разысканиях обычно опирался на данные живых языков в их литературных и диалектных формах. Возможность большого количества словарных фиксаций слова в разных диалектах обеспечивала возможность реконструировать его семантическую эволюцию, что особенно ярко продемонстрировано ученым в его семасиологических этюдах по славянской географической терминологии [Толстой 1969]. Даже данные древней письменности у Н.И. Толстого обычно освещаются с помощью более позднего словарного материала: поскольку последний представляет более или менее полный объем языковой семантики и не связан с речевым употреблением в определенном контексте, который способен довольно сильно затемнять истинное языковое значение слова, подменяя его контекстным.

В связи с этим весьма понятны трудности с определением семантики тех лексем, которые зафиксированы исключительно в памятниках письменности и не сохранились в живом употреблении, в живом языке.

Именно так обстоит дело с древнерусским социальным термином *къметь*, который не имеет следов в современном русском языке и его говорах<sup>1</sup>, но довольно часто привлекало внимание филологов в связи с употреблением его в поэтическом контексте "Слова о полку Игореве".

Без малого полвека назад, несколько запоздало повторяя в основном старые аргументы Фр. Миклошича [Miklosich 1886: 121]<sup>2</sup>, Б.А. Ларин называл тогдашнее разыскание о слове *къметь*, употребленном в "Слове о полку Игореве" в качестве примера "неосторожной и неосновательной этимологии – слово *къметь*, которое объясняется как заимствованное из лат. *comes, comitis* или греч. κομητής. Созвучие тут есть, хотя между лат. *comes* и греч. κομητής нет полного совпадения ни в значении, ни в истории<sup>3</sup>, так что сейчас даже не совсем ясно, одно ли это слово, или два слова разного языкового состава и разного происхождения. К нашему слову *къметь* они имеют, возможно, такое же отношение, как франц. *l'été* к русск. *лето*. Не говоря о том, что слово *къметь* известно всем славянским языкам (кроме лужицких. – И.Д.),

<sup>1</sup> Наличие этого слова в некритическом сводно-академическом диалектном словаре [СРНГ 1977: 342] есть результат невнимания к единственному для него источнику – словарю В.И. Даля, который считал его старинным и южнославянским, а не живым великорусским. Некоторые следы этого слова в украинских словарях, вероятно, связаны с влиянием польского языка, поэтому их использование для установления семантики древнерусского *къметь* не может быть безоговорочным. Имеют ли сюда отношение брянские существительные (собирательное) *кметьё* "о способных, сметливых людях" и прилагательное *кметкий, кметкой* "способный, сметливый, находчивый" [Козырев 1976: 98–99]?

<sup>2</sup> Сравнивают с *comes*: однако против этого, не говоря уж о форме и значении в большинстве славянских языков, общее распространение латинского слова; еще невероятней выведение из греч. κομητής.

<sup>3</sup> Вероятно, Б.А. Ларин имел в виду др.-греч. κομητής "поселянин, крестьянин; житель; сосед" (от κομη "селение, деревня, поселок"), а не κομητής "волосатый" (от κόμη "волосы"), поскольку сопоставление последнего с латинским *comes* "спутник" едва ли можно оправдать.

оно известно и балтийским языкам (ср. литов. *kumetis*). Это один из древнейших социальных терминов и, как большинство социальных терминов, вероятно, восходит к племенному названию. Многочисленность значений в разных языках и широта распространения в народных говорах, а не только в старых текстах, позволяют нам утверждать, что это не заимствованное, а местное древнейшее слово. Эти одиночные примеры показывают, что направление разработки "заимствованных" слов было не совсем правильно и давало результаты, если не ошибочные, то во всяком случае весьма сомнительные" [Ларин 1975: 166]<sup>4</sup>.

Уже И.В. Ягич сто лет назад преодолел фонетические трудности, указав на латинскую форму *cometia* "округ, область" в хронике Арнольда о северных славянах, понимаемую как собирательное существительное, откуда *къметь*, *къметие* как название обитателей [Jagić 1896: 308–309].

Сейчас этимологическая проблема однозначно решена в пользу именно той версии, в состоятельности которой, вслед за Ф. Миклошичем, активно сомневался Б.А. Ларин (не предложивший, однако, своего решения): славянское слово выводится из лат. *comes, comitis* с первоначальным значением "спутник, сопровождающий" при обобщении вокализма именительного падежа [ЭССЯ 1987: 196–198].

Следует, однако, отметить, что значение древнерусского *къметь*, *къметь* "витязь, знатный", как оно определено во многих словарях, довольно сильно отличается от инославянских параллелей по лаконичному представлению у А.Г. Преображенского: укр. *къметь* "хлебопашец крестьянин, сметливый"; ст.-слав. *къметь* "знатный, судья"; словен. *kmēt* "крестьянин"; болг. *къметъ* "старшина, староста"; сербскохорв. *къмет* "представительный поселянин (в Сербии), народный судья (в Черногории); крестьянин-арендатор (в Боснии); др.-серб. *къметь* "subiectus, vassalus"; чешск. *kmēt* "старик, старшина, поселянин"; польск. *kmieć* "мужик, хлебопашец" [Преображенский 1912, I, 5: 322].

Общеславянское (праславянское) слово *къметь* в древнерусском языке довольно давно стало выходить из употребления. Об этом говорят факты его искажения в поздних рукописях при переписывании их с более старых оригиналов: «В большинстве случаев социально-политические термины заменялись новыми словами в связи с тем, что они были чужды речи позднейших переписчиков и осознавались, как архаизмы, подлежащие разьяснению. Примеров подобного рода замены в различных списках "Повести временных лет" довольно много. (...) таким же образом поздние переписчики заменили *къметь* словом *смѣть* (6583 г.; Соф. I <Летопись> и др. ...)» [Филин 1949: 24].

Подробнее, но без точных ссылок об этом говорит Ф.П. Сороколетов: «В "Задонщине" вместо *къмети* употреблено *полководцы*, что весьма показательно для истории слова *къметь*. Ф.П. Филин, приводя эти примеры, отмечает, что термин *къметь* рано стал выходить из употребления. В доказательство этого он указывает на случаи ошибочной передачи слова позднейшими переписчиками. Так, в Ипатьевской, Софийской I-ой, Типографской, Воскресенской, Тверской, Никоновской летописях вместо *къметь* находим *смѣть*, в Алатыревск. сп. Воскр. л. – *сметение*. Это убедительное доказательство того, что в живом употреблении переписчиков слово *къметь* было неупотребительным. Дальше XII в. оно не оставалось в живом языке» [Сороколетов 1970: 66–67].

А.И. Соболевский в своем исследовании "Особенности русских переводов домонгольского периода" считает термин *къметь*, которому он приписывает значение "удалец", в "Повести о прекрасном Девгении" ("Девгениевом деянии") типично

<sup>4</sup> Ср. странное утверждение на с. 158: «Указывали в "Слове о полку Игореве" и элементы польские: считали балтийским слово *къметь*», – что пятитомная «Энциклопедия "Слова о полку Игореве"» не подтверждает [Энцикл. "Слова" 1995, III: 45–46].

русским, которое как бы свидетельствует о русском происхождении перевода, с чем солидарен и М.Н. Сперанский [Соболевский 1910: 175; Сперанский 1922: 66]. Если эти соображения справедливы, то здесь надо обязательно учитывать очень раннее устаревание слова и выход его из употребления после XII века. Вместе с тем, следует учитывать употребление названия *къмети* в "Законе судном людем" (с глоссой *прости людие*), о чем речь пойдет далее.

В XVIII веке и начале XIX века издатели памятников древней русской письменности при воспроизведении текстов с этим словом его не узнавали, ошибочно читали соответствующий текст в Новгородской I летописи старшего извода и печатали: *И паде головъ остекъ метьства*, – вместо: *и паде головъ о стѣ къметьства* [Летоп. Новг. 1781: 59; Летоп. Новг. 1843: 19].

Аналогичным образом в "Поучении" Владимира Мономаха первые издатели (А.И. Мусин-Пушкин и его сотрудники) читали: *Ѣгъ живы въ руцѣ дава {...} и инѣхъ къ мети и молодыхъ ѣл.*, – вместо: *и инѣхъ къмети молодыхъ 15* [Влад. Мон. 1793: 44; Влад. Мон. 1841: 104].

В свете непонимания слова издателями памятников древнерусской письменности в XVIII веке вполне понятна ошибка первых публикаторов и исследователей "Слова о полку Игореве", которые в словах буй-гура Всеволода к Игорю: *"Сѣдлай, брате, свои брѣзьи комоны, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска на переди; а мои ти Куряни свѣдоми къмети: подѣ трубами повити, подѣ шеломя възлелѣяны, конецъ копя въскрѣмлини; пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изѣострени. Сами скачють, акы сѣрьи влѣци въ полѣ, ищучи себе чти, а Князю – славѣ"*, – читали: *"{...} а мои ти Куряни свѣдоми къ мети"*, – и переводили: "Мои Курчане въ цѣль стрелять знающы..." [Сл. о полку 1800: 7–8], – первоначально толковали: "Всеволод изображает своих мужественных витязей: они метки в стрелянии, под звуком труб повиты, концом копия вскормлены..." [Карамзин 1816, III: 214].

Не видя ошибочности первоначального чтения в первом издании "Слова о полку Игореве", Н.М. Карамзин начал исправлять ошибки в прочтении слова *къметьство* и исходного *къметь* уже в 1816 г. в первом издании "Истории государства Российского" [Карамзин 1816, III: 447, прим. 84], именно здесь он предложил правильное чтение в Новгородской I летописи старшего извода: *и паде голов о стѣ къметьства* (дружины) и соотнес с заменой последнего на *доброименитыхъ* в той же летописи младшего извода [Летоп. Новг. 1786: 419]. При этом он мог опираться на слово *кмети* с выделенным им значением "слуги", обнаруженное им в том списке "Девгениева деяния", который находился в одном сборнике со "Словом о полку Игореве". Название *къмети* он пояснил в скобках с помощью данных других славянских языков: «(у славян Иллирических *stetiti* значит "быть в подданстве")» [Карамзин 1816, III: 533, прим. 272].

Во втором издании [Карамзин 1818, II: 75 (пагинация примечаний, прим. 129)] он использует также слово *кметье* из Лаврентьевской летописи с пояснением: "*Кметье* есть дружина", а в пересказе реплики Всеволода опустил перевод "метки в стрелянии" ошибочного чтения *къ мети*, привел правильное прочтение: *а мои Куряни свѣдоми къмети* с пояснением: "къметями назывались слуги и дружина" [Карамзин 1818, III: 219–220 (первой пагинации); 164 (пагинации примечаний, прим. 263)].

В книге Я.О. Пожарского "Слово о полку Игоря Святославича, удельного князя Новагорода-Северского, вновь переложенное Яковом Пожарским с присовокуплением примечаний" эта ошибка осталась неисправленной: *а мои ти Куряни свѣдоми къ мети – мои же Курчане искусны в цель стрелять* [Пожарский 1819: 9], как и во втором издании Новгородской I летописи старшего извода [Летоп. Новг. 1819: 59].

К.Ф. Калайдович указал на ошибочные прочтения слова *къметь* в первых изданиях Новгородской I летописи, Поучения Владимира Мономаха и Слова о полку Игореве,

благодаря чему в последующих изданиях закрепились правильные чтения, но в определении семантики слова *къметь* с опорой на материалы славянских языков сделал ошибку: "Еще в XIII и XIV веках в Богемском языке под словом *kmet* разумѣлся всадник. Вацлав Ганка в своей книжке: *Rukopis Králdvorski* или *Die Konighofen Handschrift* (издан. 1819 в Праге), помещая несколько Богемских песень {...}, в объяснении вышедших из употребления слов, к сим песням присоединенном, говорит, что слово *kmet* значит: *sedlák, kmetský – sedlský*, следовательно: (всадник) наездник и наездничий" [Калайдович 1820: 29–30]<sup>5</sup>.

Дело в том, что чешск. *sedlák* значит совсем не "всадник", а "крестьянин", поэтому К.Ф. Калайдович не придал большого значения сербскому *кмет* "honestus agricola", т.е. "сельский староста, крестьянин".

К возникшему из небытия в 1818 году загадочному существительному *къмети* "Слова о полку Игореве" скоро были найдены и параллели из иных памятников русской письменности, а также из других славянских языков, благодаря чему возникла почва для различных толкований, которые не очень удачно собраны в «Энциклопедии "Слова о полку Игореве"» [Энцикл. "Слова", III: 45–46] без разъединения толкования самого слова *къмети* и его контекстного толкования в "Слове о полку Игореве":

"Несмотря на множество предлагаемых исследователями толкований, в целом их мнения можно свести к двум вопросам: <1.> является ли слово К(мети) конкретным соц(иологическим) определением или <2.> служит нравственно-оценочной характеристикой в образной системе С(лова). Сторонники первой точки зрения видят за этим определением (?) в С(лове) представителей самых различных слоев об(щест)ва: слуги и дружина ((Н.М.) Карамзин, Д.(Л.) Мордовцев), витязь, дружинник ((П.Я.) Черных), земский дружинник, обязанный являться на службу с конем и вооружением (Е.В. Барсов), воины-ополченцы, крестьяне, которые брались за оружие в случае необходимости (Н.П. Дейниченко, И.З. Баскевич), профессиональные воины (Ф.Я. Прийма), зажиточный крестьянин (И.М. Снегирев), зажиточные хозяева, превращающиеся в феодалов (В.В. Мавродин, Б.Ст. Ангелов). Вторая точка зрения высказывалась уже издателями и комментаторами в XIX в.: К(мети) – искусные всадники (Н.Ф. Грамматин, Д.Н. Дубенский), но наибольшее распространение получила в совр(еменной) исследованиях, согласно которым К(мети) – лучшие, опытные, бесстрашные воины. «Свое первоначальное значение в данном месте, – пишет Д.С. Лихачев, – слово *кмети* уже почти утратило. Здесь оно приобрело значение "лучших, отборных воинов". Это видно из сочетания этого слова с эпитетом *свѣдоми*, т.е. "известные"» [Сл. о полку 1950: 392].

К последней цитате следовало бы добавить, что Д.С. Лихачев одновременно придерживался и другой (также чужой) точки зрения, весьма сочувственно ссылаясь на довольно сомнительную вульгарно-социологическую «характеристику *кметей*, которую дает В.В. Мавродин, указывая на типичность *кметей* именно для Северской земли, где были расположены и Курск и Новгород Северский: "Кметы – мелкие зажиточные хозяйчики, превращающиеся или уже превратившиеся в феодалов. У западных славян термин *кмет* означает служилого однодворца, в Сербии – начальника, старосту, на Украине – зажиточного крестьянина. Но даже если не все кметы уже стали феодалами, то путь один – к служилому люду, землевладельцу типа позднейшего "комонства", "всадников", мельчайшего дворянства. Поэтому *кметы*, генетически связанные с "земским" мельчайшим боярством, стремясь к укреплению своей власти и обогащению, пытаются добиться этого, опираясь на князя и входя в его дружину. Так, по крайней мере, было в Северской земле" [Мавродин 1940: 154]».

<sup>5</sup> Это ошибочное истолкование слова *къмети* как "всадники, наездники" в «Энциклопедии "Слова о полку Игореве"» [Энцикл. "Слова", II: 55; V: 261] названо верным, хотя основанный на этом толковании перевод Р. Жинзифова болгарским *юнаци* именуется отступлением от подлинника [Энцикл. "Слова", II: 186].

Надо сказать, что некоторые авторы фактически избегали толкования слова, ограничиваясь лишь приведением не всегда точных параллелей из современных этим авторам языков и диалектов:

"*Къмети*: Чешское и Сербское *kmetie*, царские советники; старшины; слуги. Во всей Малоросии, Польской Украине и Волыни *кметъ* означает исправного хозяина, или зажиточного крестьянина" [Снегирев 1838: 109]<sup>6</sup>.

Вероятно, следовало бы обращать внимание исключительно на терминологическое значение слова *къметь* в текстах, отказываясь от чисто поэтического его истолкования исключительно на основе поэтического контекста "Слова о полку Игореве", как это делал Ф.И. Буслаев:

"В древне-русской письменности до самых Татар слово *богатырь* не встречается, и самая мысль о герое, как кажется, не имела для себя в языке одной определенной формы. Где бы следовало сказать *богатырь*, мы читаем то *кмет* (в Слове о полку Игореве), то *витязь* (в летоп. Переяслав.), то просто *муж*, *воин храбрый* и др. Далее в позднейших памятниках рядом с *богатырем*, как бы в дополнении мысли употребляются: *удалец*, *резвец* (в Рязанск. повести об Евпатии Коловрате)" [Буслаев 1887: 144–145].

Но фактически следовало бы говорить о противопоставлении двух толкований: "крестьянин" и "воин" с массой возможных контекстуальных оттенков, существование которых трудно доказать.

Первая точка зрения базировалась на сравнительном материале разных славянских языков, она представлена, например, у историка русского крестьянства Б.Д. Грекова [Греков 1952: 20–21; 1953: 245–246], вторую точку зрения почти без учета первой развивает лингвист-историк русской военной терминологии Ф.П. Сороколетов [Сороколетов 1970: 66–68], хотя историки древнерусской дружины такого термина не рассматривают [Горский 1989].

Некоторые исследователи обнаруживают колебания между этими точками зрения, как это имело место в исследовании А.С. Львова [Львов 1975: 243], который, следуя за Б.Д. Грековым, дает сведения о слове *къметь* в конце раздела о термине *смьрдъ* без подробного анализа: "Заметим мимоходом, что в Пов(ести) вр(еменных) л(ет) дважды встречается *кметъ* в не совсем ясном значении (...)", – а далее после приведения четырех летописных цитат совершенно неожиданно заключает: "В целом, речь идет как будто о военных, поэтому это слово лучше рассматривать вместе с древнерусской военной лексикой". Но этого в книге А.С. Львова не сделано.

Загадочное наименование *къмети* в "Слове о полку Игореве" настолько волновало многих, что его включали в словари живых языков уже в первой половине XIX в.

В "Словаре малороссийского или юго-восточнорусского языка" П.П. Белецкого-Носенки (сост. 1838–1843) объединены старое и новое толкования:

«*Кметъ* (и.с. м.р.). В лѣтописяхъ "къметъ", слово старинное, нынѣ *прикъметъ* – примѣта на пути; извѣстное мѣсто ("Слово о полку Игореве"). *Кметъ* слуга. *Кметье* дружина [Карамзин 1818, II: 75, примеч. 129]; *Кметье* есть дружина» [Білецький-Носенко 1966: 186].

Академическая лексикография давала толкование загадочного термина *къметь*, опираясь исключительно на "Слово о полку Игореве" и летописные его употребления, связанные преимущественно с военной тематикой, и опиралась в первую очередь на "Слово о полку Игореве":

«*КМЕТЬ*, я, с.м. Стар. Отличный воин, витязь. А мои ти Куряне свѣдоми *кмети*, подѣ трубами повиты, подѣ шеломомъ взлелѣяны. Слово о полку Игореве. Таревскій князь Азгулай и инѣхъ *къметии* молодыхъ 15. Дух. Влад. Моном. 44.

<sup>6</sup> Энциклопедия "Слова о полку Игореве" ошибочно приписывает И.М. Снегиреву толкование слова *къметь* "зажиточный крестьянин" [Энцикл. "Слова", III: 46].

*КМЕТЬСТВО*, а, с. ср. Стар. 1) соб. Сословие кметей. *И паде головъ о стѣ къметьства*. Полн. Собр. Русск. Лет. III, 19. 2) Ополчение кметей. *Кіяне же дивляхуться Угромъ множеству, и кметьства ихъ*. Полн. Собр. Русск. Лет. II. 56" [Сл. акад. 1847, II: 181].

В Словаре А.Х. Востокова собраны все материалы (летописные и литературные) с военными контекстами употребления загадочного слова, хотя автор считает необходимым обратиться к другим славянским языкам, как бы проявляя недоверие к даваемому толкованию:

«**Къметь**, с. м. В стар. Русск. воинъ. Сл. о п. Игор. *а мои ти куряни свѣдоми къмети*. Лавр. поуч. Влад. Мон. *и инѣхъ къметии молодыхъ ѿѿ* – У другихъ Словянь *къметь, работникъ, земледѣлецъ*, и по свидетельству Карамзина, Ист. Г.Р. III. 272 въ повѣстяхъ, помѣщенныхъ вмѣстѣ со Словомъ о п. Игор. *къмети* употреблено в значеніи слугъ. – *къметьк* мн. ч. Лавр. 66 *сего* (т.е. богатства) *суть къметьк* луче. *мужи бо ся доищють болше сего*.

**Къметьство** с ср. воинство, ратники. Полн. Собр. Р. Лѣт. 19 *и паде головъ о стѣ къметьства*, т.е. около ста головъ"» [Востоков 1858: I, 191].

Несмотря на проницательную догадку В.И. Даля о терминологическом содержании слова в соответствии с данными других славянских языков: "**КМЕТЬ** м. стар. парень, крестьянин; // земский воин, ратник"<sup>7</sup>, – с добавлениями во втором издании:

"**КМЕТЬ** м. стар. парень, крестьянин; // земский воин, ратник. Слово южное, в Нвг. Пск. его не знали, у южн. слв. и поныне; не латин. ли *comes, comites*?" [Даль 1955, II: 124] в русской исторической лексикологии закрепилось толкование слова *къметь* как "витязь" или же "воин, дружинник; искусный, опытный воин, витязь"<sup>8</sup>, при добавлении иногда указаний на своеобразное значение в Западной Руси: "дружинник, воин, слуга; в Польше – крестьянин" [Кочин 1937: 144].

При этом долго не принималось во внимание активное употребление слова *къметь* в западно- и южнорусских документах XIV–XV вв. в значении "незакріпачений оборочный селянин з правом виходу" [Сл. ст.-укр. XIV–XV: 478], поскольку оно в значительной степени обусловлено сильным польским влиянием на западнорусский язык, который впоследствии заглох и не получил продолжения на территориях позже возникших Белоруссии и Украины.

Какой-то шаг к выдвиганию у слова *къметь* на первое место значения "крестьянин-оброчник" (на материале южнорусских грамот XIV в.) сделан в "Словаре древнерусского языка XI–XIV вв." при сохранении за летописными употреблениями традиционного значения "воин, витязь" [Сл. др.-русск. 1991: 352 (со ссылкой на [Розов 1917])].

В советских энциклопедических справочниках сведения о военной природе древнерусских *къметей* содержатся под ошибочной формой *къметы*, возникшей в трудах историков южных славян как гиперкорректная по отношению к южно-слав. *къмети*<sup>9</sup>:

«*Кметы*, термин, широко распространенный в ср. века у слав. народов и имевший различные значения. Первоначально *К.* назывались, по-видимому, свободные члены общины, племени. В др.-рус. лит. памятниках ("Слово о полку Игореве" и др.) *К.* – витязи, дружинники. В феод. Болгарии и Сербии *К.* – сел. старосты; в Боснии и Чехии – иногда должностные лица, иногда отд. категории крестьян; в Польше –

<sup>7</sup> В.И. Даль, добавив в особом "Прибавлении 8" [Даль 1863, I, 737]: "**Кметь**, лат. *comes, comitis*. М." со ссылкой на этимологические соображения С.П. Микуцкого. Во втором издании суждение об отсутствии слова в Новгороде ошибочно: оно опровергается материалом Новгородской I летописи старшего извода.

<sup>8</sup> И.И. Срезневский [1893, I: стлб. 1390] упоминает др.-чешск. *kmetský-selský*; *kmet* – *hospodař, hlava čeledi* и т.п.) [СлРЯ XI–XIV вв., 7: 195].

<sup>9</sup> Аналогичного происхождения и ошибочная форма *кънезы* вместо *кънязи* (кънязи) в этих изданиях.

зависимые крестьяне, имевшие полный надел; в Хорватии – редко вассалы, а обычно – зависимые крестьяне, в том числе и крепостные» [БСЭ, 1973: 334].

Приходится учитывать, что значение "витязь, дружинник" было приписано древнерусскому слову *къметь* исследователями из-за гипертрофированного внимания к военно-поэтическим контекстам употребления слова, которое в древнерусском языке находилось на заключительной стадии архаизации и уже приобретало известное выветривание первоначальной семантики.

Неубедительность чисто военной трактовки древнерусского термина *къмети* (точнее *къметие*)<sup>10</sup> чувствовали многие исследователи, которые предпочитали ей старое пронизательное толкование В.И. Даля и видели в *кметях* "Слова" ополченцев из крестьян, которые, бросая свои мирные занятия, на какое-то время становились ратниками и снова возвращались к крестьянскому труду [Баскевич 1987; Дейниченко 1988].

Любопытно, что именно в этом направлении, возможно, не без влияния В.И. Даля осмыслял слово *къмети* поэт Н.Н. Асеев, который считал, что это "крестьянские парни, хотя бы и взятые в войско, но вряд ли уж так тщательно обученные военному делу, как рисует их князь":

"А сведоми кмети – известные парни курские по окончании похода шли пахать и скородить засеянные, часто их же костыи поля" [Асеев 1969: 96–97].

Для выяснения языковой семантики древнерусского существительного *къметь*, представленного лишь в старинных текстах, накладывающих на него контекстуальные, ситуативные значения, которые трудно выделить из-за отсутствия опоры в живом русском языке нашего времени даже слабых следов этого слова, важно обращаться не только к родственным славянским языкам, где оно жило дальше, но и к тем языкам, куда было заимствовано из древнерусского языка и сохранилось там в живом употреблении доньше с сохранением древней семантики.

Дело в том, что древнерусское слово *къметь* сохранилось в весьма архаической форме до падения "еров" в осетинском языке в формах: *xumætæg*, *xumætægi* в дигорском, *x<sup>o</sup>umætæg*, *x<sup>o</sup>umætæži* (орфографически: *хуьмæтæг*, *хуьмæтæджы*; первое сохраняет форму существительного, а вторая форма, восходящая к родительному-местному падежу, выступает как собственно прилагательное) в иронском [Абаев 1949: 333–335; 1965: 21; 1989: 262–263].

Остается открытым вопрос о тюркско-булгарском посредстве в усвоении древнерусского слова еще в аланскую эпоху предками нынешних осетин, чем хорошо объяснялись бы выравнивание вокализма по заднему ряду и переход *к > х* (имевший место и в исконных осетинских словах в невыясненных, впрочем, условиях).

Семантическая связь между названием крестьянина и значением "простой" хорошо демонстрируется историей венгерского *paraszt* "крестьянин", восходящего к славянскому краткому прилагательному *прост* и сохранявшего какое-то время адъективную семантику в венгерском языке [Kniezsa 1955].

В связи с соображениями о семантике древнерусского слова *къметь* в свете осетинского *хуьмæтæг* "простой" можно объяснить загадочное соседство стоящих в соответствии с термином *ἄρχοιτες* греческого оригинала слов: *кмети(щи)* и *простыхъ людии* в "Законе судном людем" [ЗСЛ крат. 1961: 36, 48, 59, 71, 91, 105; ЗСЛ простр. 1961: 34, 58, 85, 121, 14Р, 156, 165; Vašica 1971: 179–180].

Здесь, вероятно, мы имеем дело с внесенной в текст глоссой *простиши людие*, отражающей значение русского *къметие*, а не его западно- или южнославянского соответствия, которое гораздо точнее передает значение византийского греческого

<sup>10</sup> Особенно ярко она проявилась у Ф.Я. Приймы [Прийма 1976], который считал *кметей* профессиональными воинами, но опирался не на древнерусские тексты памятников, а на южнославянские фольклорные формулы.

ἄρχων, ἄρχοντας, уже отошедшего от древнегреческого ἄρχων, -οῖτος "предводитель, начальник, вождь; командир; владыка, царь; архонт (в древних Афинах)" и приблизившегося к новогреческому ἄρχοντας "дворянин, аристократ, барин; богач; правитель, властелин, глава; архонт (в древних Афинах); господин (в обращении)" [Дворецкий 1958: 244; Хориков, Малев 1980: 142].

В "Материалах" И.И. Срезневского [Срезневский 1893: стб. 1390], вслед за Е.В. Барсовым [Барсов 1889: 421–422] к цитате из "Хроники Иоанна Малалы: *ὁ οὐβῶδ' ἐβῶ ζηνου свою Егаалью блоудίβιшиу съ боляриномъ к'метомъ* сделано примечание, что последним двум словам в греческом оригинале соответствует одно слово *συγκλητικός* (в форме *συγκλητικῶν*). Но последнее в форме множественного числа *συγκλητικοί*, по наблюдениям М.И. Чернышевой, обычно переводилось через *боляре, бояре* или изредка оставалось без перевода, что позволяет именно форму *съ боляриномъ* считать основной, а последнее слово внесенной в текст глоссой, хотя в других списках здесь стоит *комитомъ*, что соотносится с византийским латинизмом *κόμης* (< лат. *comes* "командир, префект, начальник") и более подходит в качестве глоссы [Истрин 1994: 183, 415–416, 409–410].

Важно также учесть, что могут оказаться древнерусскими заимствованиями литовск. *kūmetis* "батрак" (менее вероятно прусск. *kumetis* "крестьянин"), а также румын. *cuțet*. Славянское происхождение всех этих слов установлено уже А. Брюкнером [Brückner 1877: 193], Фр. Миклошичем [Miklosich 1886: 121] и Э. Бернекером [Berneker 1908–1913: 661–662].

Следует отметить обратные заимствования в славянских диалектах из литовского и румынского языков – польск. *kumieć-kmieć* "батрак (нем. *Instmann*)", отмеченное А. Брюкнером в Августове [Brückner 1877: 99], русск. (в Литве) *кумѣти* "батраки у помещика" [Лаучюте 1982: 116, польск. *kumieć* не учтено] и болг. редк. *кумет-кмет* [Младенов 1969: 241, румынское происхождение формы *кумет* не отмечено].

К латинскому *comes, comitis* "спутник" в конечном счете восходит также титул графа в современных европейских языках (франц. *comte*, итал. *conte*, англ. *count* и т.п.), который в форме *конт* или *конте* попал в XVII в. в русские Вести-куранты [СлРЯ XI–XVII вв., 7: 282, где толкуется ошибочно как "принц"], а также византийский титул *κόμης, κόμητης*, также попавший в раннюю русскую письменность в форме экзотизма *комисъ, комись, кумсь, комить* [СлРЯ XI–XVII вв., 7: 262, 263; Истрин 1994: 409–410] и даже в армянскую – [Hübschmann 1897: 359; Thumb 1900].

Итак, живое осетинское слово *хуыматæг* "простой" помогло установить точное значение своего первоисточника – мертвого уже древнерусского слова *къметь* "крестьянин; ополченец" (а не "витязь, воин", как обычно считалось), благодаря чему внесен дополнительный штрих в историю "бродячего" социального термина, восходящего к латинскому *comes, comitis*, что особенно важно для полной картины славянского языкового мира, историей которого неутомимо занимался Никита Ильич Толстой.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1949 – Происхождение слова *xumætegi* 'простой' // В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.; Л., 1949.
- Абаев В.И. 1965 – Скифо-европейское изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965.
- Абаев В.И. 1989 – Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. IV. Л., 1989.
- Асеев Н.Н. 1969 – Жизнь слова. М., 1969.
- Барсов Е.В. 1889 – Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. III: Лексикология "Слова" (А–М). М., 1889.
- Баскевич И.З. 1987 – Кто они курские "кмети"? // Рр. 1987. № 4.
- Білецький-Носенко П.П. 1966 – Словник української мови. Київ, 1966.
- БСЭ 1973 – Большая советская энциклопедия. Т. 12. М., 1973.

- Буслаев Ф.И. 1887 – Народная поэзия. Исторические очерки (= Сб. ОРЯС. Т. XLII, № 2) СПб., 1887.
- Влад. Мон. 1793 – Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, называемая в Летописи суздальской "Поучение". СПб., 1793.
- Влад. Мон. 1841 – Полное собрание русских летописей. Т. I: Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1841.
- Востоков А.Х. 1858 – Словарь церковно-славянского языка, составленный академиком А.Х. Востоковым. Т. I. СПб., 1858.
- Горский А.А. 1989 – Древнерусская дружина. М., 1989.
- Греков Б.Д. 1952 – Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. I. М., 1952.
- Греков Б.Д. 1953 – Киевская Русь. М., 1953.
- Даль В.И. 1863 – Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 2. М., 1863.
- Даль В.И. 1955 – Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. II. М., 1955.
- Дворецкий И.Х. 1958 – Древнегреческо-русский словарь. Т. I. М., 1958.
- Дейниченко Н.П. 1988 – Нове тлумачення слова-поняття "кмети" // Результати та перспективи дослідження "Слова о полку Ігореве" (по матеріалам, появившимся в зв'язі з його 800-літтям). Тезиси доповідей та повідомлень першої наукової конференції учасників семінару по вивченню "Слова". Суми, 1988.
- ЗСП крат. 1961 – Закон судний людем краткой редакції / Підготували к печати М.Н. Тихомиров и Л.В. Милов. М., 1961.
- ЗСП простр. 1961 – Закон судний людем пространной и сводной редакції / Підготували к печати М.Н. Тихомиров и Л.В. Милов. М., 1961.
- Истрин В.М. 1994 – Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 1994.
- Калайдович К.Ф. 1820 – Нечто о славянском переводе Кормчей // Вестник Европы. Ч. 110. № 5. 1820. Март.
- Карамзин Н.М. 1816 – История государства Российского. Т. II, Т. III. М., 1816.
- Карамзин Н.М. 1818 – История государства Российского. 2-ое изд., Т. II, Т. III. М., 1818.
- Козырев В.А. 1976 – Словарный состав "Слова о полку Ігореве". Лексика современных русских народных говоров // ТОДРЛ. Вып. XXXI: Слово о полку Ігореве и памятники древнерусской литературы. 1976.
- Кочин Г.Е. 1937 – Материалы для терминологического словаря Древней России. М.; Л., 1937.
- Ларин Б.А. 1975 – Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М., 1975.
- Лаучюте Ю.А. 1982 – Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.
- Летоп. Новг. 1781 – Летописец Новгородский, начинающийся от 6525/1017 году и кончающийся 6860/1352 годом. М., 1781.
- Летоп. Новг. 1786 – Продолжение Древней российской вивлиофики. Ч. II, содержащая Новгородский летописец, начинающийся от 946 и продолжающийся до 1441. СПб., 1786.
- Летоп. Новг. 1819 – Летописец Новгородский, начинающийся от 6525/1017 году и кончающийся 6860/1325 годом. М., 1819.
- Летоп. Новг. 1843 – Полное собрание русских летописей. Т. III: Новгородские летописи. СПб., 1843.
- Львов А.С. 1975 – Лексика "Повести временных лет". М., 1975.
- Мауродин В.В. 1940 – Очерки истории Правобережной Украины (С древнейших времен до второй половины XV века). Л., 1940.
- Младенов М. 1969 – Говорят на Ново Село, Видинско. Принос към проблема за смесените говори. София, 1969.
- Пожарский Я.О. 1819 – Слово о полку Ігоря Святославича, удельного князя Новгорода-Северского, вновь переложенное Яковом Пожарским с присовокуплением примечаний. СПб., 1819.
- Преображенский А.Г. 1912 – Этимологический словарь русского языка. Т. I. Вып. 5. М., 1912.
- Прийма Ф.Я. 1976 – "А мои ти Куряне свѣдоми кѣмети..." (Опыт комментария) // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
- Розов В.А. 1917 – Южнорусские грамоты. Т. I. Киев, 1917.
- Сл. акад. 1847 – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук. Т. II. СПб., 1847.
- Сл. др.-русс. 1991 – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. М., 1991.
- Сл. о полку 1800 – Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Ігоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия. М., 1800.
- Сл. о полку 1950 – Слово о полку Ігореве. М.; Л., 1950.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 7. М., 1980.
- Сл. ст.-укр. XIV–XV – Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Т. I. Київ, 1977.
- Снегирев И.М. 1838 – Слово о полку Ігореве, Ігоря сына Святослава, внука Ольгова // Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских. Т. III. Кн. 1. М., 1838.
- Соболевский А.И. 1910 – Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии // Сб. ОРЯС. Т. LXXXVIII. № 3. СПб., 1910.

- Сороколетов Ф.П.* 1970 – История военной лексики в русском языке XI–XVII вв. Л., 1970.
- Сперанский М.Н.* 1922 – Девгениево деяние. К истории его текста в старинной русской письменности. Исследование и тексты // Сб. ОРЯС. Т. XCIX. № 7. Пг., 1922.
- Срезневский И.И.* 1893 – Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I. СПб., 1893.
- СРНГ 1977 – Словарь русских народных говоров. Вып. 13. Л., 1977.
- Толстой Н.И.* 1969 – Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969.
- Филин Ф.П.* 1949 – Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей) // Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Т. 80. Л., 1949.
- Хориков И.П., Малев М.Г.* 1980 – Новогреческо-русский словарь. М., 1980.
- Шоков А.Ф.* 1975 – Куряне в "Слове о полку Игореве" // Известия Воронежского гос. пед. ин-та. Т. 153. Воронеж, 1975.
- Энцикл. "Слова" 1995 – Энциклопедия "Слова о полку Игореве". Т. 1–5. СПб., 1995.
- ЭССЯ 1987 – Этимологический словарь славянских языков. Вып. 13. М., 1987.
- Berneker E.* 1908–1913 – Slavisches etymologisches Wörterbuch. Lf., 9. Heidelberg, s.a.
- Brückner A.* 1877 – Litauische-slavische Studien. Tl. I: Die slavischen Fremdwörter im Litauischen. Weimar, 1877.
- Hübschmann H.* 1897 – Armenische Grammatik Tl. I: Armenische Etymologie. Leipzig, 1897.
- J(agić) V.* 1896 – Bibliographischer Bericht 59: Ueber die Abstammung und Bedeutung des Wortes *kmet*. Etymologische und rechtshistorische Untersuchung von A. Karszniewicz. Agram. 1895. 8. 28 // AfslPh Bd. XVIII. Hf 1–2. Berlin, 1896.
- Kniezsa J.* 1955 – A magyar nyelv szláv jövevényszavai. 1. kötet, 1. rész. Budapest, 1955.
- Miklosich Fr.* 1886 – Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- Thumb A.* 1900 – Die griechische Lehnwörter im Armenischen // Byzantinische Zeitschrift. Bd. IX, 1900.
- Vašica J.* 1970 – Zakon sudnyj ljudem // Magnae Moraviae fontes historici. T. IV. Brno, 1971.

© 1997 г. А.М. МОЛДОВАН

**ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
В ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА**

Церковнославянский язык предстает, как известно, уже в древнейших письменных источниках как гетерогенное образование с лингвистически не вполне четкими очертаниями. Даже памятники старославянского "канона" отражают хронологически и территориально неоднородный языковой материал, поскольку они фиксируют, строго говоря, не столько язык переводов Кирилла и Мефодия, сколько результаты его исторического развития в разных землях на протяжении последующих полутора-двух веков. И в дальнейшем эти различия формируют особые разновидности церковнославянского языка, несомненно, осознававшиеся и усваивавшиеся их носителями.

Говоря о локальных и хронологических разновидностях церковнославянского языка, в научной литературе имеют обычно в виду фонетико-орфографические, отчасти морфологические признаки славянских рукописей. Недостаточность этого критерия осознается давно<sup>1</sup>, однако дополнить картину лексическим материалом с учетом особенностей лексической семантики и синтаксиса не удается из-за несоответствия уровня разработанности истории словарного состава (наиболее запущенного, по замечанию Н.С. Трубецкого, раздела языкознания [Trubetzkoy 1925: 287]) порой даже самым простым требованиям лексикологической теории. Попытки игнорировать источниковедческую неготовность лексикологической базы обрекают многие работы по истории литературного языка у восточных славян на априорность и гипотетичность. В то же время восполнить имеющиеся пробелы не так легко, ввиду принципиальных различий в источниках данных, относящихся к разным уровням церковнославянского языка.

В историко-фонетических и морфологических исследованиях материалом служат единичные рукописи – благодаря системности, высокой частотности и ограниченному количеству изучаемых явлений.

Лексические данные не могут быть, подобно фонетическим и грамматическим, непосредственно извлечены из одного списка. В условиях, когда отсутствуют не только автографы произведений, но и ближайшие к ним копии, трудно отделить в списке лексику, относящуюся к архетипу текста, от привнесенной писцом данного списка или проникшей в текст на каком-то промежуточном этапе его переписки или редактирования. Задача осложняется и тем, что лексические единицы в границах списков малочастотны, порой это гапаксы. Нет никакой уверенности даже в том, что встретившееся в списке слово было присуще лексикону писца или, по

<sup>1</sup> Проблема изучения разновидностей церковнославянского языка по-настоящему была поставлена на IV Международном съезде славистов в связи с изданием под эгидой Международной комиссии церковнославянских словарей (при Международном комитете славистов) "единого словаря церковнославянского языка разных изводов" [Отчет IV съезда: 162]. К сожалению, в процессе реализации словарных задач решение этой проблемы уступило место обсуждению внешних критериев отбора текстовых источников и их лексической интерпретации.

крайней мере, было ему знакомо, а не попросту скопировано из рукописи-источника<sup>2</sup>.

Следовательно, хотя список текста и является материальным носителем лексики, сам по себе он еще не может служить лексическим источником. Вследствие этого исторической лексикологии оказываются недоступны важнейшие для ее разработки данные о территориальных характеристиках слов, времени их появления на данной языковой территории и хронологии развития или утраты лексических и синтаксических значений, их нормативном статусе и стилистических особенностях, не говоря уже о датировке их возможного исчезновения из литературного языка. Без этих данных, в свою очередь, не поддается решению ряд основных проблем истории литературного языка. Известно, например, какие трудности испытывает лингвист в важнейшем для истории литературного языка вопросе об определении места, где был переведен на славянский язык тот или иной древний памятник, дошедший до нас в более поздних списках.

Лексическим источником отдельный список становится тогда, когда он может быть осмыслен в качестве звена в рукописной истории текста. Соответственно, полноценную лексическую информацию можно извлечь лишь из таких изданий памятников, которые базируются на текстологическом исследовании всех списков текста, в результате которого в идеальном случае каждое слово, встречающееся в каждом списке памятника, получает хронологическую и географическую "привязку".

Без сведений о текстологических взаимоотношениях списков наблюдения над их лексическими вариантами остаются умозрительными предположениями. В прошлом довольно распространенной была точка зрения, которая объясняла лексические варианты в разных списках одного памятника тем, что писцы заменяли в переписываемом тексте чуждые им слова на более близкие и понятные из родной речи. В. Ягич в своем исследовании по начальной истории церковнославянского языка [Jagić 1913], исходил из того, что значительная часть лексических разночтений древнейших списков Евангелия появилась стихийно в результате их многолетней переписки. И позднее не раз утверждалось, что писцы довольно свободно обращались с переписываемым текстом и, внося в него исправления, по недостаточности знания церковнославянского языка, черпали слова из диалектной речи той местности, где создавался список<sup>3</sup>.

Накопленный сегодня опыт текстологического анализа разных списков одного текста, с одной стороны, и достижения в области общей теории образования и функционирования литературных языков, – с другой, позволяют иначе взглянуть на эти процессы.

Прежде всего, источником языковых, в том числе лексических инноваций в старом церковнославянских текстах могли быть только механизмы, адекватные природе литературного языка. В процессе адаптации текста к новым лингвистическим условиям мог использоваться лишь л и т е р а т у р н ы й, а никак не диалектный лексический материал. Нормативное словоупотребление не могло складываться под пером

<sup>2</sup> Обычная и часто повторяющаяся ошибка – датировка лексических явлений по времени списка памятника. Стремление таким образом установить хронологическую границу в выборе источников, как это сделано, например, при составлении "Словаря древнерусского языка XI–XIV вв." (СДЯ XI–XIV вв.), приводит к искажению реальной языковой картины эпохи. Так, по формальным хронологическим ограничениям в этот словарь не попал богатый материал переводных произведений домонгольской Руси, в том числе таких больших памятников как "История Иудейской войны" Иосифа Флавия и Житие Андрея Юродивого – последний совсем уже по недоразумению, так как древнейший список Жития Андрея Юродивого, на существование которого еще в 1897 г. указывал А.И. Соболевский [Соболевский 1980: 137], относится к концу XIV в., что отвечает критериям выбора источников словаря.

<sup>3</sup> Ср., например: "Der Schreiber oder Übersetzer aus mangelhafter Kenntnis der kirchenslavischen Literatursprache sich notgedrungen oder unwillkürlich mehr des eigenen russischen Wortschatzes bediente" [Bräuer 1959: 327]. Особенно охотно это представление пропагандировалось сторонниками материалистической методологии истории с ее склонностью не замечать определяющей роли религии и церкви в средневековой культурной жизни [Кайперт 1991; Keipert 1993].

переписчика путем столкновения "чужих" церковнославянских текстов с местной диалектной речью. Оно представляет собой результат функционирования первоначально заимствованного, но вскоре освоенного культового (и культурного) языка в новых условиях. Лишь то слово или выражение могло быть введено в церковнославянский текст, которое стало нормой в устном и письменном обиходе. Важнейшую роль должна была играть в этом процессе богослужебная и просто религиозная, особенно монастырская речевая практика.

Во-вторых, деятельность книжников редко была произвольной или стихийной. Восстанавливая мотивы и характер этой деятельности, мы могли бы приблизиться к пониманию причин языковых изменений в списках.

Из многочисленных записей и приписок в рукописях известно о лицах, изготавливавших рукописные копии. Их делали чаще всего в монастырях по обету или на заказ старшего духовного или светского лица. Такие писцы занимали обычно невысокое социальное положение, нередко это были специально обученные каллиграфы [Карский 1928: 259–308], их труд так или иначе вознаграждался, чаще всего просто оплачивался<sup>4</sup>. Рядовым писцам вменялось в обязанность точно воспроизводить переписываемый текст, даже если особенности его словоупотребления не совпадали с привычной писцу лексической нормой. Этим обеспечивалась на протяжении веков относительная стабильность текстов в пределах их редакций. Тщательность переписки контролировалась старшими писцами, литературные или лингвистические вольности исключались условиями работы – именно к работе копииста, а не редактора, относятся известные покаянные формулы с просьбами о снисхождении к ошибкам в заключительных приписках к тексту. В то же время исправлять орфографию оригинала, видимо, считалось естественным, во всяком случае, не возбранялось [Дурново 1933; Живов 1984].

При простом тиражировании в книжных копиях могли иногда происходить спонтанные лексические изменения, основанные, главным образом, на неправильном прочтении писцами отдельных слов. Более опытные копиисты позволяли себе делать мелкие конъектуры, исправляя по контексту ошибочные, по их мнению, слова или формы. Например, в предложении из древнерусского перевода Жития Андрея Юродивого: *прочелъ ли кси лихюу ту доску* (40в) (τόν χαλεπόν ἐκεῖνον πίνακα)<sup>5</sup> – метонимическое употребление слова *лихын* по отношению к доске (имеется в виду не сама доска, а написанное на ней грозное пророчество), видимо, показалось писцу ошибкой, и он осторожно заменил его на *темноую*, поскольку выше об этой доске было сказано: *се доска темна* (39а). Подобные исправления осуществлялись рядовыми писцами обычно без проверки по другим спискам и без обращения к греческому оригиналу, что облегчает выявление их "генеалогических" связей. Так, нетрудно определить, что из двух написаний в списках Жития Андрея Юродивого: *виднв же черныи дръга свокго осмужена* ('обожженного') *бывша* и ... *осужена бывша* – аутентичным является первое, так как в греческом тексте – ...τῆν καῖσιν 'обгоревшего'.

Спонтанные изменения текста при переписке могли быть даже относительно многочисленными, и они постепенно образовывали извод текста. Но накопление несистематических перемен в тексте не может привести к качественно новому тексту, ибо число собственно лексических субституций при простом копировании всегда крайне мало – оно колеблется около 5% и не превышает 10% от общего числа разнообразных текстовых перестроек [Alekseev 1986: 435].

<sup>4</sup> Бескорыстный труд переписчика был скорее исключением, на которое обращалось внимание: *списа(х) сѣю книгѣ смѣреннѣи и мѣншии въ иноцѣ(х) теромона(х) вусарѣв(н) ѿ дѣбрьскаго пре(де)ла и за труды не възѣ(х) ничесо(ж)* [Карский 1928: 261].

<sup>5</sup> Цитаты из Жития Андрея Юродивого приводятся по наиболее раннему полному списку древнерусского перевода из РГАДА, Тип. 182, XIV в. Соответствующая этому переводу редакция греческого текста цитируется по рукописи Баварской государственной библиотеки (Мюнхен) Cod. gr. 552, XIV в.

Копиисты более высокой квалификации проверяли чтения оригинала по другим спискам и вносили в него частичные исправления (контролируемая текстологическая традиция), но и в этом случае ими не ставилась цель лексического обновления.

Целенаправленная переработка текста, его редактирование, при котором осуществлялись и лексические замены, было прерогативой значительно более узкого круга лиц, обладавших соответствующим литературным авторитетом, принадлежавших к интеллектуальной элите. При этом характер их критического отношения к языковой стороне текста также не сводился к личным предпочтениям, хотя у каждого автора-редактора, несомненно, был свой индивидуальный стиль. Прежде всего, работа редактора определялась его позицией в вопросах литературного языка, а позднее – актуальной для данного времени проблематикой языковых дискуссий, вращавшихся обычно вокруг sprawy основных литургических текстов – поскольку они служили литературными образцами и задавали ориентиры языковой нормы. Поэтому изучение истории sprawy дает ключ к объяснению эволюции лексики на всех этапах истории церковнославянского языка [Бобрик 1990, там же библиогр.].

Из различных типов или направлений редактирования текста наибольший интерес в лингвистическом отношении представляют стилистические редакции – такие переделки текста, в которых отдельные слова и словосочетания без ущерба для содержания целенаправленно заменялись другими [Лихачев 1962: 120–121; Жуковская 1976: 18]. В отличие от редакций литературных или текстовых, они не связаны с изменением идейных установок произведения, их целью было приведение языка текста путем разнообразных синонимических замен в соответствие с насущными – изменившимися или территориально иными (при перемещении списка) – языковыми нормами.

Результаты стилистического редактирования можно иногда наблюдать в списках непосредственно – его характерными признаками являются маргинальные глоссы, зачеркивания, подчистки и исправления в тексте и т.п. Но его можно реконструировать и текстологическим путем – по совокупности общих лексических вариантов, представленных в отдельных группах списков на фоне аутентичного чтения архетипа.

Необходимость реконструкции рукописной истории каждого памятника в его стилистических редакциях особенно актуальна для раннего периода истории древнерусского литературного языка. Мы очень мало знаем о менявшихся установках и принципах обработки церковнославянского языка на Руси со времени рецепции ею христианской письменности до периода так называемого второго южнославянского влияния. Менее всего доступно изучению, по понятным причинам, первое столетие, когда формировался древнерусский извод церковнославянского языка и в нем складывались восточнославянские особенности, наиболее явно проявляющие себя в орфографии древнерусских рукописей XI в. С учетом лексических норм предшествовавших ему иных территориальных изводов церковнославянского вырабатывались древнерусские нормы литературного словоупотребления. О реальности существования в это время в рамках церковнославянского языка восточнославянских лексических норм, отличающихся от южнославянских, говорит, в частности, ряд слов, многократно употребляющихся в разных древнейших восточнославянских текстах XI–XII вв., неизвестных южнославянским источникам – таких, как *божьница*, *керста*, *ларь*, *тиунъ*, *жьньчугъ*, *шелкъ*, *коверъ*, *лошадь*, *горшокъ*, *приръзъ* и др.

Подобные слова могли в это время использоваться не только при порождении текстов, т.е. при их сочинении или переводе с другого языка, но и в древнерусских компиляциях из материала южнославянских текстов, поскольку средневековый писатель, как известно, не делал различия между сочинительством и переделкой чужих текстов. Однако они не вводились писцами при *к о п и р о в а н и и* южнославянских книг. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют не только древнерусские списки Евангелия, Апокалипсиса, Псалтыри и других богослужебных книг, но и такие древнерусские рукописи, как Изборник Святослава 1073 г., Пандекты Антиоха, Слова Григория Богослова, Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского, Синайский

патерик и т.п., в которых, несмотря на несравненно большую, чем при переписке книг Священного Писания, свободу, нет ни одного лексического "русизма", хотя их фонетико-орфографический облик и морфологические особенности русифицированы, порой весьма сильно. Этот факт почему-то не учитывается теми, кто утверждает, что древнерусские писцы не занимались переводами, а брали готовые болгарские переводы и заменяли в них незнакомые или малознакомые слова более близкими им [Thomson 1993 и др.]. Не входя здесь в разбор всей привлекаемой сторонниками такой точки зрения аргументации (см. [Алексеев 1996]), остановимся лишь на ее лексической части. Она сводится к нескольким примерам из тех статей Изборника 1076 г., которые восходят к южнославянским переводным текстам. Речь идет, прежде всего, о небольшой статье "Слово о милостивом Созомене" в заключительной части Изборника 1076 г. (л. 269–275об), источником для которой послужил восточноболгарский перевод Жития Нифонта Констанцкого, и, во-вторых, – о цитатах из "Премудрости Исуса, сына Сирахова" (л. 106, 9; 151, 8, 9; 169, 11 и др.).

Сравнение текста "Слова о милостивом Созомене" с соответствующим местом Жития Нифонта [Ристенко 1928: 239–383] обнаруживает в тексте Изборника немало пропусков и мелких вставок, а также композиционно-стилистических изменений, особенно при описании рая, а последний лист статьи вообще не имеет параллели в Житии [Дубровина 1963]. Анализ расхождений этих текстов приводит к выводу о принципиальном различии их идейных задач. Характер работы древнерусского автора "Слова о милостивом Созомене" над текстом Жития Нифонта Ж. Леписье назвал лаицизацией, т.е. "омирщением" [Lepissier 1966], а И. Шевченко киевизацией исходного текста [Ševčenko 1966; Мещерский 1973]. Даже в совпадающих фрагментах нетрудно заметить расхождения в употреблении грамматических форм и лексики, сопровождающиеся синтаксическими перестройками. Ср., в частности:

### Житие Нифонта

### "Слово о милостивом Созомене"

и видѣ ины сады иже вѣхуѣ ѿ  
горы до долу обрасли плоды  
добровоньными. ино много  
садовник имѣа плоды красны. и  
вѣник до землѣ преклоньса (л. 62  
об)

и видѣхъ же ины ограды: гаже  
вѣхуѣ обрасли отъ горы до  
долу. плоды добровоньными  
ино и красьными. и вѣтвѣк  
прѣклонилосѣ вѣ до землѣ (л.  
269 об 11– 270, 4)

и се изидоша ис полатѣ тѣхъ  
моужи свѣтащесѣ тако слнѣце  
крилати. а носѣще ковчежьцѣ  
златы четыри. по четырьмъ на  
кыиждо ковчежьць слоужаще (л.  
63–63 об)

и се изидоша ис полатѣ тѣхъ  
моужи крилати. свѣта<ш>тесѣ  
тако и слнѣце. носѣще ларѣ .д.  
ри. о кокмъждо лари  
слоужаште .д. (л. 271, 6–11)

Совершенно очевидно, что "Слово о милостивом Созомене" – это не список и даже не редакция Жития Нифонта, а другое произведение с другими жанровыми задачами и потому другим заглавием. И создано оно было не писцом-копиистом, а профессиональным писателем, владевшим стилистическими средствами церковнославянского языка. Поэтому как лексические сходства, так и различия этих текстов, типа *градъи – идыи, садъ – оградъ, вѣник – вѣтвник, ковчежець – ларь, спѣюще – идоуште, куръ – гй*, – лежат в разных текстологических плоскостях, нет оснований выводить их из корреляции территориальных вариантов церковнославянского. Особенно показательна в этом отношении замена слова *каженикъ* в Житии Нифонта, в принципе нормального для древнерусского словоупотребления (СДЯ XI–XIV вв., 4: 185), на отвлеченное *оуноша красньи зѣло* в "Слове о милостивом Созомене". Эти и другие замененные слова были в ходу у древнерусских книжников, и для восточнославянской аудитории они не представляли каких-либо семантических затруднений, о чем красноречиво свидетельствует, помимо других текстов, рукописная традиция самого Жития Нифонта: его древнерусские списки последовательно удерживают все эти слова.

Сказанное относится и к цитатам из "Премудрости Исуса, сына Сирахова", где, как отметил еще А.Х. Востоков, слово *вино*, которому в оригинале соответствует греч. *οἶνος*, регулярно заменяется в Изборнике словом *медъ* [Востоков 1858, 1: 210; Мещерский 1976]. Этот напиток, возможно, и был более близок жителям Киевской Руси, однако и вино было им хорошо известно, причем не только в церковном употреблении [СДЯ XI–XIV вв. 1: 429; СлРЯ XI–XVII вв., 2: 182–183]. Кстати, в самом Изборнике 1076 г. слово *вино* употребляется восемь раз. Значит причина замены слова *вино* на *медъ* не в языковой норме, а в иной содержательной направленности данного текста – в общей, достаточно нетипичной ориентации автора этих статей Изборника на светского читателя.

Таким образом, материал Изборника не подтверждает версию о существовании в Древней Руси практики сугубо языковой адаптации (вне текстуальной переделки) южнославянских переводов<sup>6</sup>. Наоборот, лексическая устойчивость южнославянских переводов в древнерусских списках указывает на отсутствие такой практики<sup>7</sup>.

Поэтому если списки того или иного переводного памятника, не подвергавшегося редактированию (что видно при сравнении его с греческим оригиналом), содержат синтаксически и лексически тождественный текст с некоторым количеством лексических русизмов, то эти русизмы должны быть с высокой степенью уверенности ассоциированы с архетипом перевода и, следовательно, с ними нельзя не считаться при определении его происхождения.

Во второй половине XI в., в связи с введением на Руси Студийско-Алексеевского Устава (Типикона), существенно расширился круг текстов, предназначенных для богослужения в его различных формах. По просьбе Феодосия Печерского, в Константинополе была изготовлена копия Типикона, а также подготовлен целый комплекс греческих богослужебных книг, необходимых для совершения богослужения по

<sup>6</sup> Показательно, что практически не содержат лексических замен те статьи Изборника 1076 г., которые были переписаны в него из других рукописных книг без текстуального редактирования, как, например, *Афанасиеви отвѣти*, статья *Нила чрьноризьца* и др. [Абрамович 1929: 64–74].

<sup>7</sup> Ср. методологически важное замечание А.А. Алексева: "Для восточнославянских книжников на всем протяжении восточнославянской письменности было характерно стремление использовать южнославянские лингвистические формы как основу письменно-литературной нормы, отступление носило вынужденный характер. К восточнославянским формам *не стремились*, их *терпели* за невозможностью подобрать соответствующую южнославянскую форму" [Алексеев 1996: 288].

новому уставу. В состав этого комплекса входили не только служебные Евангелие и Апостол, Паремийник, Псалтырь, но и Служебные минеи, Триоди Постная и Цветная, Октоих изборный и Параклитик, Ирмологий, Часослов, Служебник, певческие сборники (Октоих певческий и Кондакаръ), а также ряд четых сборников, необходимых для развитой системы уставных чтений [Момина 1992: 208; Пентковский 1996: 20–25]. На основе этих греческих книг в Киеве была проведена справа, в ходе которой были отредактированы имевшиеся тексты и дополнительно переведены новые. В лингвистическом отношении это означало расширение сферы применения церковнославянской нормы за счет текстов, чье стилистическое разнообразие в условиях относительной автономности от богослужебной практики не находило стандартных южнославянских образцов. Вовлечение таких текстов в сферу устного использования (богослужение, коллективное монастырское чтение и др.), повышало их статус в книжной иерархии, в связи с этим требовалась соответствующая правка их языка, нацеленная на освобождение от неподобающих их новому статусу элементов.

Лингвистические принципы, которыми руководствовались древнерусские редакторы в XII–XIII вв., могут быть воссозданы по общим чертам относящихся к этой эпохе стилистических редакций разных текстов.

Например, одна из древнейших редакций Жития Андрея Юродивого была подготовлена в связи с созданием древнерусского Пролога [Сергий 1898: 393–425]. Это редактирование, направленное прежде всего на сокращение и переделку оригинального текста в соответствии с требованиями проложного жанра, распространялось и на язык памятника. В семи статьях из Жития Андрея Юродивого, размещенных в первой редакции Пролога под разными числами октября, наблюдаются следующие лексические замены: дѣмонъ – дигаволъ, дѣмоньскыи – дыгавольскыи, блискающисѧ – блистающисѧ, вѣшенъ – нѣистовъ, боль – недоужьныи, оүснүти – оүспѣти, дѣла – ради, восхыщати – похытати, образъ – лице, исповѣдати ‘рассказывать’ – повѣдати и др.

Сходную нормативную оценку некоторых слов, принадлежащих этому переводу Жития, обнаруживает автор древнерусской редакции Б<sup>8</sup>, текстологически не связанной с Проложной редакцией. Она возникла приблизительно в то же время, что и Проложная редакция, т.е. около начала XII в. Редакция Б представлена значительным количеством списков, что свидетельствует о ее распространенности в прошлом. В отличие от Проложной редакции, она мало изменила собственно текст книги, однако лексика в ней подверглась существенному пересмотру: лексико-словообразовательными заменами в редакции Б охвачено несколько сот словоупотреблений. Приведем некоторые из этих замен, указывая на первом месте аутентичные чтения древнерусского перевода Жития Андрея Юродивого, а на втором – замены на уровне архетипа редакции Б:

<sup>8</sup> См. [Молдован 1993] На древнерусское происхождение этой редакции указывает, с одной стороны, ряд оставленных без замен характерных древнерусских лексем, таких, как близокъ ‘родственник, свойственник’, верста ‘мера длины’, горшокъ, грүнь, грүница, женьчюгъ, жирѧва, ковъръ, лошадь, масникъ, охрита, почему (ѡтер тѧ), ширѧтисѧ и др., а с другой – замены, в которых в свою очередь используется восточнославянская лексика: ватогъ – пүга ‘кнут, палка’ [Фасмер, III: 399], секира – сокира [Фасмер, III: 592], прирѣзъ ‘рост, процент’ – рѣзъ [Фасмер, III: 461], довѣпрашатисѧ – допрашатисѧ, прити въ сѧ – поманоутисѧ, налаяти ‘наговорить грубостей’ – наказати, почити – впочиноүти и др.

дѣла — ради, молвити — глаголати, лѣковати — врачевати, лѣчьць — врачъ, похабѣъ — оүродѣъ, днѹ — внѹтрь, дроүгонци — иногда (passim), мимоходи — мимоходашци, приладило — оүподобило, доүхъ — вѣтрь, вѣрѣти(сѧ) — вѣриноүти(сѧ), блискатисѧ — бльщатисѧ, говѣние — постѣъ, да 'и' — и (passim), раи — оградѣъ, обѣхати — обонати, оүстроеноъ — оүкрашенѣъ, окѣснѣти — вѣкѣснѣти, безагапнѣъ — вѣнезапнын, (при)годитисѧ — (при)ключитисѧ, порты — ризы, вѣдалѣъ — далѣъ, дѣлаше — твораше, зади — сѣзати, показнѣъ — казнѣъ, мотыла — калѣъ (тж. смрадѣъ), одрѣъ — ложе, вепрь — свинна, боженка — церквица, предити — варити, скранѣъ — ланита, сүжизница — сѣноүзница, говно — калѣъ (passim), гринѣъ — пѣсѣъ, сца — моча, ницезе — Ѡнде, скалүшь — калѣъ, трѣбѣъ — потрѣба, задосити — застати, керста — рака, божьничьнын — церковнын.

Так же, как в Проложной редакции, слово дѣла последовательно заменено здесь на ради, оүснѣти 'умереть' — на оүспѣти, блискатисѧ в Проложной редакции заменено на блистатисѧ, а в редакции Б — на бльщатисѧ; дѣмонѣъ в Проложной редакции заменено на диволѣъ, а в редакции Б — на сотона и вѣсѣъ и т.д.

Каждая из этих замен имеет свою подоплеку. Одни слова в XII в. осознавались древнерусским редактором как региональные, другие — как устаревшие, просторечные или редкие, некоторые утрачивали свои древние значения, изменяли синтаксические свойства или стилистические характеристики и т.д. И в этом особенность лексической системы, где каждое слово имеет свою историю. Например, почти повсеместная замена в этой редакции дѣла на ради свидетельствует лишь о вытеснении, но не исключении более привычного восточнославянским книжникам дѣла [Колесов 1977: 30] из церковнославянского обихода. Исправления дѣла на ради встречаются во многих других древнерусских рукописях, тогда как обратные исправления практически не встречаются. Вместе с тем ради и в X—XI вв. значительно преобладало, по данным старославянских памятников, над дѣла [Цейтлин 1977: 49], и впоследствии ради было значительно более предпочтительно. С другой стороны, предлог/послелог дѣла употреблялся в древнерусской письменности на протяжении всей ее истории [СлРЯ XI—XVII вв., 4: 211—212], участвовал в образовании новых слов (богадѣльныи, богадѣльна, -на и др., засвидетельствованных только в русских памятниках [Срезневский, I: 125; СлРЯ XI—XVII вв., 1: 256]) и сохранился в современном русском для [Фасмер, I: 517].

Другие замены отражают, так сказать, необратимые тенденции в истории слов. Например, замена слова гринѣъ кѣшн на пѣсѣъ свидетельствует о том, что древнее восточно- или севернославянское слово гринѣъ [Трубачев 1957: 41—42; Трубачев 1960:

27; Machek 1968: 152; ЭССЯ, 7: 129<sup>9</sup>) в XII в. уже не воспринималось как приемлемое в церковнославянском тексте, хотя его значение еще было известно. В XV в. стало забываться и само слово: некоторые писцы Жития Андрея Юродивого считали его опиской и исправляли на *грѣшникъ* или *игрѣць*.

Подобным образом регулярная замена в древнерусской редакции В Жития Андрея Юродивого слова *боголишь* 'дурак, ἄξηχος' (писалось обычно сокращенно: *вблишь*) на *волшини* говорит о том, что слово *боголишь* писцу XIV–XV вв. также было не знакомо.

Замена в редакции Б этого жития слова *одръ* в значении 'ложе, постель, кровать' на *ложе* (в предложении ... *въставъ одра свокго да са помолить, тѣс клѣвес*) указывает на начавшееся около XII в. семантическое расхождение этих слов. В древнейших списках Евангелия они еще свободно перемежаются в тех контекстах, где речь идет о постели, кровати [Jagić 1913: 359], но присущие слову *одръ* другие значения – 'погребальные носилки', 'средство для пытки' и т.п. (Остр. ев., Хрон. Г. Амарт. и др.) [СлРЯ XI–XVII вв., 12: 294] – приводили к развитию у его значения 'постель, ложе' преимущественно отрицательных коннотаций, связанных с болезнью и смертью [ср. русск. *на (смертном) одре лежать* 'находиться в тяжелом состоянии, умирать'] в противоположность слову *ложе*, которое в качестве континуанта и.-е. \**loghio-m* сохранило комплекс его "положительных" значений: 'связанное с лежанием, ложем, родами, родовое, родильное' [ЭССЯ, 16: 124–125]. Показательно, что без замены оставлено в редакции Б слово *одръ* в значении 'погребальные носилки' (*великъ же смрадъ исхожаше изо одра того* (23в) *ѣк тѣс клѣвс 64r*).

Совокупность подобных лексико-словообразовательных замен показывает, что сутью изменений в лексической системе церковнославянского языка XII в. по отношению к XI в. была в различных славянских странах универсализация его лексических норм. Начиная с этого времени в стилистических редакциях различных текстов наблюдается тенденция к исключению посредством синонимических замен слов региональных, устаревших, экспрессивных и т.п. и стремление избежать всякой конкретности, как бы сузить лексическую палитру до наиболее общих и стандартных церковнославянских слов и словообразовательных моделей (ср. замены *голѣмо* – *много*, *видокъ* – *свѣдѣтель*, *днѹ* – *внѹтърь*, *женка* – *жена*, *козичина* – *вдежа*, *вепрь* – *свинна*, *плашитиса* – *оустрашитиса*, *молвити* – *глаголати* и *повѣдати* – *глаголати* и т.п. [Молдован 1994]. Яркий пример такой направленности представлен в редакции Б Жития Андрея Юродивого, где вместо четырех различных слов *мотыла*, *калъ*, *говьно* и *скалѹшь* и их производных редактор оставил лишь одно слово *калъ* и производные от него.

Эти тенденции можно наблюдать в различных стилистических редакциях XII–XIII вв. Например, в древнейшей сокращенной редакции "Слова о законе и благодати" Илариона, относящейся к концу XI – нач. XII в., были заменены слова: *сщѣше* – *всщѣше*, *попове* – *пресвитери*, *блѣгодарѣе* – *блѣгодаренѣе* *въселнса* – *въниде*, *възнска* – *възлюби*, *съмысль* – *помысль*, *годѣ* – *оугоденъ*, *блѣгоизволенѣе* – *блѣговоленѣе*, *проженеть* – *отженеть*, *прѣсѹхлѣ* – *прѣсиссохши* и др. [Молдован 1982].

Аналогичный вывод был сделан Э. Благовой по результатам сопоставления лексики нескольких гомилий Иоанна Златоуста, представленных в одном и том же переводе в Супрасльской рукописи XI в. и в Успенском сборнике XII в. Анализируя немногочисленные замены в Усп. (*вѣтъ* – *свѣтъ*, *крѣмкникъ* – *крѣрѣмникъ*, *неразоумничьныи* – *неразоумьныи*, *съзрьно* – *зьрьно*, *съсъ* – *сьсьць*, *цѣ* (союз) –

<sup>9</sup> Ср. также укр. бранн. *гриць твоїй мамі!* В указанных работах для чеш. диал. (моравск.) *gruc*, *gric*, кажется, не вполне точно указывается значение 'чуело, пугало'. Можно полагать, что этим словом обозначалось не всякое пугало, а чуело с собачьей головой (карнавальный персонаж).

а, чадлюбѣъ – чадлюбивѣъ, велии – великъ, правдивыи – правдѣныи и др.), Э. Благова отмечает: "Единственным стремлением писца Усп. было устранение малоупотребительных слов и способов словообразования и замена их общеупотребительными" [Благова 1966: 86].

Связь стилистических редакций с потребностями их устного использования не нуждается в конкретном обосновании, хотя соответствующие доказательства могут быть найдены. Например, отличительной особенностью редакции В Жития Андрея Юродивого является наличие множества морализаторских вставок – от небольших замечаний до пространных гомилий редактора на то или иное место в тексте. Предназначенность этой редакции для устного чтения явствует из риторического и молитвенного характера этих вставок и построения изложения от 1-го лица ед. и мн. числа, выраженного в соответствующих формах местоимений (ср. велии еси гѣи и чюдна сѣть дѣла твоа и ни едино словъ оума нашего довѣлно на похваленіе чюдесѣ твонхъ, тако же ты гѣи явилъ еси нам сего оугодника...; хѣ цѣю, яви нам сего сѣго мужа... таинное житіе и т.п.) и постоянных обращений к аудитории (вратіе). Весьма показательно в этом отношении, что к словам заоутра же приде ко мнѣ недостонному редактор приписал: Никиѣороу (т.е. известному автору Жития Андрея Юродивого) – что имело смысл лишь при устном прочтении.

О предназначенности тех или иных текстов для богослужебного использования свидетельствуют календарные ремарки в рукописях, указывающие на день, к которому приурочено данное чтение, иногда после заглавия такого текста приписаны молитвенные слова господи, благослови, отче (позднее – просто благослови, отче). Эти слова, встречающиеся и в греческих четых книгах в виде приписки (ὁ δέσποτα) εὐλόγου πάτερ и нередко принимаемые издателями за моление к Богу, на самом деле воспроизводят формулу обращения к игумену за благословением перед чтением, принятую в монастырской практике<sup>10</sup>.

В этот период, предшествовавший эпохе второго южнославянского влияния, работа по универсализации церковнославянского языка в произведениях различных жанров проходила на Руси без сколько-нибудь известных импульсов извне, поэтому в итоге этой работы, как и в ее начале, церковнославянский язык в его древнерусской разновидности продолжал отличаться от его южнославянских разновидностей. Можно полагать, что при расширении круга источников некоторые из лексических замен, повторяющихся в определенных комбинациях в стилистических редакциях разных памятников, удастся отождествить с более дробными региональными разно-

<sup>10</sup> В более позднее время указанная формула в рукописях изредка варьируется, с конкретизацией просьбы: вл(ѣ)ви прочести, шче стѣи (БАН Литвы, ф. 19, № 329, XVI в., л. 238), благослови, шче, прочести (РГБ, ф. 218, № 1144, XVII в., л. 90), г(ѣ)ди, благ(ѣ)ви, ѿ, прочитати (БАН, 13.21.1, XVII в., л. 3336). А.А. Турилов обратил наше внимание на сохранившуюся в рукописи ГИМ, Увар. 589 (= Царск. 361. Сборник. 1°, 2-я пол. XVI в.) после заглавия "Слова на събор святых отецъ... и похвала отцем святого Никейского събора" Кирилла Туровского уникальную запись ритуального монастырского диалога перед началом чтения (л. 275): господи, благослови, оче мафананіе. [Ответ:] богъ ти, чадо, благослови и стѣи григорини чудотворецъ (имеется в виду святой патрон монастыря). Монашеский обычай обращаться, приступая к какому-либо делу, к игумену или старшему из братии за благословением был усвоен на Руси с начальных времен Печерского монастыря; ср. рассказ Феодосия Печерского князю Изяславу: кгда бо вратини манастира сего. хоташемъ варити или хлѣбы пещи. или кою инѣ слоужбею творити. тѣгда же първою шьдѣ кдинѣ ѿ нихъ. възьметь блгословеніе отъ игоумена. таче по сихъ поклонитъ сѧ прѣдъ стѣимъ шьлтаремъ три крѣты до земля. ти тако свѣщю възьжеть ѿ стааго олтѣра. и ѿ того огнь възгнѣтитъ. и кгда паку водоу вливаа въ котль глеть старѣшиннѣ. влг(с)ви шче. и оному рекоущю бѣ да блгословитъ тѧ брате. и тако всѧ слѣжба ихъ сѧ блгословеникомъ съвьршають сѧ [Усп. сб. XII–XIII вв.: 106–107]. В этом рассказе довольно близко к тексту воспроизводится один из разделов дисциплинарной части Студийско-Алексеевского Типикона, которым руководствовались в то время печерские монахи [Лисицын 1911: 173–174; Пентковский 1996: 25–26].

видностями церковнославянского (например, киевской и новгородской) в границах Древней Руси.

Практически не востребовались в русских редакциях текстов такие характерные для южнославянской разновидности церковнославянского слова, как, например, **вѣшню** 'совершенно, совсем', **попърище** или **дозорик** в значении 'мера длины, отъдиов' (ср. др.-русск. **вьрста**), **ктеръ** 'некий', **свѣнѣ** 'извне', **шплавовати (сѧ)** 'тщеславиться, гордиться', **покова** 'с тех пор как', **ковъкаль** 'крючок', **зъльць** 'злодей', **ласкрѣдство** 'чревоугоде', **кошница** 'короб, корзина', выражение **въ сѣщекъ вѣрѣмѧ** 'в то же время' и многие другие.

Особенности древнерусской лексической нормы в этот период, ее отличие от, например, болгарской и одновременно сходство с ней могут быть изучены по редакциям русских текстов в Болгарии. Так, в болгарском списке фрагмента древнерусского перевода Жития Андрея Юродивого (рассказ о сребролюбивом монахе), датированном 20-ми гг. XIV в. (РГБ, ф. 236, собр. А.Н. Попова, № 93.2), проведена лексическая правка, отчасти совпадающая по результатам с древнерусскими редакциями этого периода (указываем на первом месте чтения архетипа древнерусского перевода, на втором – замены в болгарском списке: **чернецъ** – **чръноризецъ** (11 раз), **черньчъ** – **чръноризецъскы**, **правъ** – **истиненъ**, **повѣженъ** – **шдолѣнь**, **корнавъ** – **скровище**, **лагодити** 'угождать' – **любити**, **хода** – **прѣхаждаж**, **втората** – **дрюгата**, **помиацѣ** – **прости**, **дѣкть** – **творитъ**, **незловивъ** – **без'ловивъ**, **милости** – **мл(ѣ)тнини**, **тажѧ** – **прѣ** (2 раза), **кляками** – **клеветамъ**, **отѧи** – **тан** (2 раза), **ци** – **къда** (2 раза), **ци** – **или** (2 раза), **лыскаремъ** – **мотнюю**, **въсплашнвсѧ** – **въз'вогав'сѧ**, **звати** 'воскликать' – **глати**, **неприазни** – **сотонѣ**, **сѣць** – **сѣи**, **образъ** – **подобник**, **дѣта** – **творѧ**, **задница** 'наследство' – **наслѣдик**, **годна** – **потрѣбна**, **власть** – **область** (2 раза), **оулыскавсѧ** – **склабвсѧ**.

О том, что эти замены не произвольны и не случайны, а отражают различие лексических норм, сложившееся к началу XIV в. между древнерусской и среднеболгарской разновидностью церковнославянского языка, говорит их последовательный характер при двух и более употреблениях слова. Особенно показательно в этом отношении слово **чръноризецъ**, выступающее на месте аутентичного **чернецъ** во всех 11 случаях его употребления в этом рассказе. В то же время, как и в русских редакциях, здесь доминирует установка не на "провинциализацию" текста, а на выбор более стандартных церковнославянских слов, чем в используемом источнике. Любопытно в связи с этим отметить, что болгарский редактор оставил в тексте некоторое количество фонетико-орфографических "русизмов": **побежени** (11г), **врежеть** (12а), **небрѣженик** (12в).

Лексике следующего периода, содержание которого определялось вторым южнославянским влиянием, посвящено немало исследований. Однако при недостаточном внимании к рукописной истории текстов она остается неизученной со стороны функционирования, и это существенно снижает ценность формальных описаний. Понимание процессов, происходивших в этот период в области лексики, невозможно без рассмотрения древнерусских копий новых южнославянских текстов в сопоставлении с современными им русскими оригинальными сочинениями и стилистическими редакциями XIV–XVI вв. С одной стороны, лексика новых южнославянских переводов на Руси воспринималась как авторитетная и при переписке сохранялась без изменений. Например, сопоставление русских списков сербского перевода Жития Андрея Юродивого<sup>11</sup> с сербскими и болгарскими списками этого перевода показывает, что в русских списках практически отсутствуют лексические замены. Последовательно удерживаются даже такие слова, не свойственные русской разновидности церковно-

<sup>11</sup> Этот перевод появился не позднее XIV в., от него сохранилось девять списков XIV–XVI вв..

славянского языка, как **БОДОВЕ** 'шипы' (ср. в др.-русс. переводе **ОСТНЫ**), **ПИПАЛ** 'ощупывая' (в др.-русс. **ПЫТАЛ**), **КЪСНѢТИ** 'раскаляться', **НАПРѢКО** 'напрямик' (в др.-русс. на **ПРОСТРАНѢ**), союз **НУ** 'но' (passim), **ПЕТНУТИ** 'пнуть' (в др.-русс. **УДАРИВѢ**), **СЛЕМИКЪ** 'куница' (в др.-русс. **К҃НЫ**), **РЪВЕНИКЪ** (в др.-русс. (ко) **КЛАДЪЗЮ**), **СВЕБАЩАТИ** (в др.-русс. **ПОАХУ**), **ЗАПОРЖЕНІА** (в др.-русс. **ЗАПОВѢДИ**) и др. С другой стороны, при редактировании или создании русских оригинальных произведений эти слова ни в данный период, ни позднее не встречаются, и, значит, нет оснований говорить об их заимствовании.

Таким образом, в условиях, когда отсутствуют оригиналы древнейших письменных памятников, церковнославянская лексика может быть изучена путем реконструкции и исследования их стилистических редакций. История литературного языка получает тем самым естественную опору в рукописной истории письменных памятников.

Чем значительнее объем памятника и чем большим количеством списков он представлен, тем надежнее реконструируется история его текста и тем большие возможности представляет он для изучения лексических процессов. Широкое распространение памятника в списках отражает, кроме того, высокий уровень взаимодействия его языка с актуальной церковнославянской лексической нормой, что существенно для адекватного представления о нормативном значении тех или иных явлений. Удобно именно с таких памятников начинать накопление сведений по исторической лексикологии церковнославянского языка, имея в виду перспективу их использования для изучения остальных источников.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамович Д.І.* 1929 – До питання про джерела Ізборника Святослава 1076 року // Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. Вип. II. Київ, 1929.
- Алексеев А.А.* 1996 – Кое-что о переводах в Древней Руси (по поводу статьи Фр.Дж. Томсона "Made in Russia") // ТОДРЛ. Т. 49.
- Благова Э.* 1966 – Гомилии Супрасльского и Успенского сборников // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.
- Бобрин М.А.* 1990 – Представления о правильности текста и языка в истории книжной sprawy в России (от XI – до XVIII в.) // ВЯ. 1990. № 4.
- Востоков А.Х.* 1858 – Словарь церковнославянского языка. Т. 1. СПб., 1858.
- Дубровина В.Ф.* 1963 – О греческих параллелях к Изборнику 1076 года // ИАН СЛЯ. 1963. № 2.
- Дурново Н.Н.* 1933 – Славянское правописание XI–XII вв. // Slavia. № 12.
- Живов В.М.* 1984 – Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII вв. // Rling. 1984. № 3.
- Жуковская Л.П.* 1976 – Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
- Кайперт Г.* 1991 – Крещение Руси и история русского литературного языка // ВЯ. 1991. № 5.
- Карский Е.Ф.* 1928 – Славянская кирилловская палеография. Л., 1928.
- Колесов В.В.* 1977 – Дѣла – ради в древнерусском литературном языке // Русская историческая лексикология и лексикография. Вып. 2. Л., 1977.
- Лисицын М.*, прот. 1911 – Первоначальный славяно-русский Типикон. Историко-литургическое исследование. СПб., 1911.
- Лихачев Д.С.* 1962 – Текстология. На материале русской литературы X–XVII вв. М.; Л., 1962.
- Мещерский Н.А.* 1973 – К вопросу об источниках "Изборника 1076 г." // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1973.
- Мещерский Н.А.* 1976 – О некоторых источниках "Изборника 1076 г." в связи с вопросом о происхождении их переводов // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
- Молдован А.М.* 1982 – "Слово о законе и благодати" (Сопоставление списков) // История русского языка. Исследования и тексты. М., 1982.
- Молдован А.М.* 1993 – Рукописная традиция "Жития Андрея Юродивого" // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1993. Bd. 39.
- Молдован А.М.* 1994 – Критерии локализации древнерусских переводов // Славяноведение. 1994. № 2.
- Момина М.А.* 1992 – Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI столетии // ТОДРЛ. Т. 45. СПб., 1992.
- Отчет IV съезда – Отчет IV Международного съезда славистов. М., 1960.

- Пентковский А.М. 1996 – Древнерусская версия Типикона патриарха Алексея Студита: ГИМ, Син. 330 (Из истории литургической традиции Русской Церкви в XI–XIV вв.). Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum. Romae, 1996.
- Ристенко А.В. 1928 – Матеріали з історії візантійсько-слов'янської літератури та мови. Одеса, 1928.
- СДЯ XI–XIV вв. – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–4. – М., 1988–1991–.
- Сергий, архиеп. Владимирский 1898 – Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятой Богородицы // Странник. Вып. 9–12. СПб., 1898.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–21. – М., 1975–1995–.
- Соболевский А.И. 1980 – История русского литературного языка / Изд. подгот. А.А. Алексеев. Л., 1980.
- Срезневский И.И. – Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912–.
- Трубачев О.Н. 1957 – Славянские этимологии. 1–7 // Вопросы славянского языкознания. Вып. 2, 1957.
- Трубачев О.Н. 1960 – Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.
- Усп. сб. XII–XIII вв. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон. Под ред. С.И. Коткова. М., 1971.
- Фасмер М. – Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV, М., 1986.
- Цейтлин Р.М. 1977 – Лексика старославянского языка. М., 1977.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–22. – М., 1974–1995–.
- Alekseev A.A. 1986 – Der Stellenwert der Textologie bei der Erforschung Altkirchenslavischer Übersetzungstexte // Die Welt der Slaven. Jg. XXXI, № 2. München, 1986.
- Bräuer H. 1959 – Zur Frage der altrussischen Übersetzungsliteratur (Der Wert syntaktischer Beobachtungen für die Bestimmung der altrussischen Übersetzungsliteratur) // ZSlPh, Bd. 27. Hf. 2. Heidelberg, 1959.
- Jagić V. 1913 – Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Neue berichtigte und erweiterte Ausgabe von V. Jagić. Berlin, 1913.
- Keipert H. 1993 – Die Christianisierung der Kiever Rus' als lexikologisches Problem // Millennium Russiae Christianae. 988–1988. Köln, Weimar, Wien, 1993.
- Lepissier J. 1966 – Une source de l'Isbornik de 1076 // RESI. T. 45.
- Machek V. 1968 – Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.
- Ševčenko I. 1966 – On some Sources of Prinses Svjatoslavs Isbornik of the Year 1076 // Orbis Scriptus D. Tshizhevskij zum 70. Geburtstag. München, 1966.
- Thomson F. 1993 – "Made in Russia". A survey of the translation allegedly made in Kievan Russia // Millennium Russiae Christianae. 988–1988. Vorträge des Symposiums anlässlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands in Münster vom 5. bis 9. Juli 1988. Köln; Weimar; Wien, 1993.
- Trubetzkoy N.S. 1925 – Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit // ZSlPh. Bd. 1. 1925.

© 1997 г. Р. МАРОВЕИЧ

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ТОПОНИМОВ**

(деривационно-семантический и деривационно-фонетический аспекты)

**I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

**1.1.** Словообразовательно-семантическая реконструкция древнеславянских топонимов, в частности древнерусских ойконимов, была предметом нескольких обобщающих трудов. Большое значение имела как в фактическом, так и в методологическом отношении, статья А.М. Селищева "Из старой и новой топонимии", опубликованная первоначально в "Трудах Московского государственного института истории, филологии и литературы" (т. V; Филологический факультет. М., 1939), впоследствии вошедшая в "Избранные труды" ученого [Селищев 1968: 45–96]. В этой работе значительное внимание А.М. Селищев уделил типам древнерусских и более поздних русских топонимов, исходя из их словообразовательной структуры и семантики их словообразующих основ.

**1.2.** Вторая обобщающая работа, вышедшая под названием "Структура и стратиграфия древнерусских топонимов", принадлежит польскому ономасту С. Роспонду [Роспонд 1972]. В ней предложена классификация древнерусских топонимов по формантам и по времени их фиксации в древнерусских летописях. Помимо ряда интересных наблюдений и толкований, прочно укрепившихся в славянской исторической ономастике, некоторые реконструкции Роспонда неприемлемы с точки зрения сравнительно-исторического метода или нуждаются в уточнении (см. работы, указанные в п. 1.5).

**1.3.** В монографии В.П. Нерознака, вышедшей в форме этимологического словаря [Нерознак 1983], делается попытка установить этимологию свыше трехсот названий древнерусских городов. Как мы показали в двух рецензиях на эту книгу [Маројевић 1987а; Мароевич 1988], словообразовательно-семантическая реконструкция древнерусских ойконимов была для автора слишком трудной задачей и в отношении словообразования, и в отношении лингвистического метода, что обусловило ряд ошибочных толкований и элементарнейших пропусков.

**1.4.** Коллектив авторов Института языкознания Академии наук Украины (И.М. Железняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко и А.С. Стрижак) создал в 1985 г. Этимологичний словник літописних географічних назв Південної Русі [Этимологичний словник... 1985]. Несмотря на дискуссионность некоторых этимологических решений, которая отмечена в наших рецензиях на словарь [Маројевић 1987б; Мароевич 1989а], этот лексикографический труд приравнивается к лучшим работам данного жанра в методологическом и историко-этимологическом отношении.

**1.5.** В том же 1985 г. вышла наша монография, посвященная посессивным производным в древнерусском языке, вторая глава которой касается топонимии [Маројевић 1985а]. Предварительно это исследование было опубликовано в сборнике "Онома-толошки прилози" [Маројевић 1985б], в котором два года спустя вышло и его продолжение [Маројевић 1987в]. Методологическим вопросам словообразовательно-

семантической реконструкции древнерусских топонимов посвящены доклады на двух научных конференциях [Маројевић 1987г; Мароевич 1993а].

1.6. В настоящей работе рассматриваются методологические вопросы исследования славянской исторической ономастики (ойконимии), главным образом на материале древнерусских названий городов; указывается на трудности реконструкции, связанные с особенностями словообразовательных формантов топонимов и их словообразующих основ; определяются факторы, способствующие увеличению достоверности словообразовательно-семантической реконструкции исходных форм топонимов, засвидетельствованных в древнерусских памятниках XI–XIV вв.

Словообразовательно-семантическая структура древнеславянских топонимов может быть представлена в рамках двух уровней анализа: формально-грамматического и семантико-категориального.

## II. ГРАММАТИКА ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ТОПОНИМОВ

2.1. Первый формально-грамматический тип древнеславянских топонимов представляют собой аналитические формы, возникшие в результате топонимизации словосочетания. Чаще всего топонимизации подвергались посессивные синтагмы – словосочетания, состоящие из притяжательного прилагательного (посессива) и существительного.

2.1.1. Топонимы, возникшие в результате топонимизации посессивной синтагмы, по своей формальной структуре ближе всего атрибутивным посессивным формам с живой грамматической функцией: в них представлены и посессор (субъект посессивности) и посессум (объект посессивности). Посессор имеет форму притяжательного прилагательного, как в древнерусских микротопонимах: ...черес Греблю до Добрыни улицы в городняя ворота. до Пискупли улицы [УЯр XII сп. XIV, л. 59 об.]<sup>1</sup>. Микротопоним *Dobryńa ulica* несомненно является посессивной синтагмой, субъект посессивности которой выражен формой жен. рода ед. числа посессива *Dobryńь*, образованного в свою очередь при помощи суф. -ь. <\*-’os [Мароевич 1989б: 126, 135] от личного имени *Добрыня* < \**Dobryni*.

2.1.2. Посессор в синтагмах подобного типа мог быть выражен также формой родительного принадлежности, но такие примеры не засвидетельствованы, что объясняется ограниченным употреблением посессивного генетива в праславянском языке [Мароевич 1989б: 130]. Даже те примеры, в которых современное языковое сознание выделяет родительный принадлежности, в праславянском языке включали согласуемые адъективные формы: свѣтъ створиша. на убыенье его. со Александромъ братучадомъ его. воехавшу ему во *Браневица* ве рьли [ЛИ ок. 1425, л. 258 об. (1230)]. На основании данного примера Л. Масенко реконструирует топоним *Браневица* и толкует его как родительный принадлежности антропонима \**Браневиць* [Этимологічний словник... 1985: 24]. В праславянскую эпоху микротопоним *Brańeviča rьľь* имел форму посессивной синтагмы, субъект посессивности которой выражен формой жен. рода ед. числа посессива *Brańevičь*, *Brańeviča*, *Brańeviče*, образованного с помощью суф. -ь от патронима *Brańevičь*. Поскольку посессивный суф. -ь в кругу отпатронимических образований утратился к середине XIII века, посессивные синтагмы типа *Браневица* *рель* стали осознаваться как атрибутивные сочетания с родительным принадлежности, о чем свидетельствует отсутствие согласования в тексте Ипатьевской летописи. Однако идентификация топонима в форме изолированного (одиночного) посессивного генетива не приемлема с точки зрения древнерусской грамматики: субстантивация родительного падежа не происходила в связи с отсутствием

<sup>1</sup> Материал, не подтвержденный специальной ссылкой на источник, приводится по данным Картотеки Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. Данные об источниках и их сокращениях см. в [Словарь XI–XIV вв.].

несклоняемых существительных. Кроме того, редупликация предлога *въ*, столь характерная для древнерусского языка, не должна заслонять синтагматический характер топонима. Поссесивы типа *Творимиричь* 'принадлежащий Творимиричу', образованные с помощью суф. *-ь* от патронимов типа *Творимиричь*, в древнерусском языке XIV–XV вв. заменяются формами родительного принадлежности [Маројевић 1985а: 51], который проникает и в топонимию: а по *Бреховича дубье*. ꙗ *Бреховича дубья*. по Долѣшнии коньць [Гр после 1349 (ю.-р.)].

**2.1.3.** Топонимы, возникшие в результате топонимизации поссесивной синтагмы, сохраняли в некоторой степени свою связь с системой поссесивных категорий, о чем свидетельствует следующий древнерусский пример: а се даю своеи княгинѣ...

Желѣскова слободка з бортью съ *Ивановы*<sup>м</sup> село<sup>м</sup> с *Хороброва*. Исконьская слободка [Гр 1389 (2, моск.)]. Здесь мы наблюдаем описательную форму топонима с живой поссесивной функцией *Ivanovo selo Horobrova*, т.е. село Ивана Хороброва.

**2.1.4.** Не всегда просто отделить географические названия, возникшие в результате топонимизации поссесивной синтагмы, от тех топонимов, которые образовались в результате субстантивации поссесива. В летописном фрагменте: и бы в *селѣ* в *Рогънѣдинѣ* [ЛИ ок. 1425, л. 189 об. (1168)] можно вычлени́ть топоним в форме *Rogñědino* (с опущением определяемого существительного) или в форме *Rogñědino selo* (с сохранившейся поссесивной синтагмой). Потенциальная вариантность топонима обусловлена сохранением тесной связи между субстантивированной формой поссесива в функции топонима и поссесивной синтагмой, от которой он образован: Рюриковѣ же идущю из Новагорода и Смоленска. а и бы<sup>с</sup> на *Лучинѣ* верьбноѣ недѣлѣ... и дасть ему оѣцъ его *Лучинъ городъ* [ЛИ ок. 1425, л. 201 об. (1173)]. Производящая основа поссесива *Лучинъ* – личное имя *Лука*.

**2.1.5.** Приименный родительный мог возникнуть в результате калькирования греческих названий экклезионимов (названий церквей). Например: преяша *цркъвь Дмитрия* Печеряне. и нарекоша ю Петра. съ грѣхо<sup>м</sup> велики<sup>м</sup>. и неправо [ЛЛ 1377, л. 99 об. (1128)]. И. Железняк экклезионизм реконструирует в форме *Дмитрия*, толкуя его как родительный падеж ед. числа древнерусского христианского личного имени *Дмитрии* [Этимологічний словник... 1985: 50]. Однако первоначально и здесь могла быть представлена согласуемая форма поссесива (цркъвь) *Дмитрию*, если исходить из засвидетельствованного сербского экклезионизма *црква Димитрија* (вин. пад. *цркву Димитрију*), который толкуется нами как согласованное определение в форме женского рода поссесива *\*Dimitrijь*, *\*Dimitrija*, *\*Dimitrije*, образованного с помощью суф. *-ь* от личного имени *Dimitrijь* [Маројевић 1987д].

**2.1.6.** Первая фиксация топонима в памятниках необязательно самая древняя. Синтагма с поссесивом на *-овъ* в Лаврентьевской летописи: вѣжгоша *Стефановъ монастырь*. и деревнѣ и Герьманы [ЛЛ 1377, л. 77 (1096)] отражает эпоху второй половины XIV в. (смена поссесивов на *\*-ь* поссесивами на *-овъ* в кругу личных имен на *-нъ*). Отвердение конечного согласного основы отражено в Московской летописи: *Стефанъ монастырь* и деревнѣ и Германечь [Моск. лет., 16. К. XV в.]. Форма *Стефанечь*, засвидетельствованная в Ипатьевской летописи: пожгоша *монастырь Стефанечь* деревнѣ. и Германечь. и приидоша на монастырь Печерьскыи [ЛИ ок. 1425, л. 85 (1096)], появилась скорее всего как уподобление форме *Германечь*. Первичную форму, как нам представляется, сохраняет Воскресенская летопись: *Стефанъ монастырь*. и Деревлѣ. и Германечь [Воскр. лет. VII, 9. К. XVI в.]. И. Железняк реконструирует топоним в форме *Стефановъ* и толкует его как поссесив на *-овъ* от древнерусского христианского личного имени *Стефанъ*, в то время как вариант *Стефанечь* определяет как поссесив на *\*-j(ь)* от разговорной формы

\**Стефанъць* || *Стефан(ъ)ко* [Этимологічний словник... 1985: 145]. В микропониме *Германъць монастырь* она видит посессив на \*-j(ь) от уменьшительной формы \**Германькъ* древнерусского христианского личного имени *Германъ* [Этимологічний словник... 1985: 42]. В подобных случаях следует исходить из гипокористических форм с суф. -ьсь с отраженным третьим смягчением заднебных; гипокористические имена с суф. -ъко не образовывали в славянских языках посессивов с суф. \*-jь [Бошкович 1978: 446], они "систематически образуют самые древние топонимы и притяжательные прилагательные с суффиксом -ов" [Фролова 1962: 22].

2.2. Второй формально-грамматический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические формы, возникшие в результате опущения определяемого существительного и субстантивации посессива (или вообще прилагательного). При этом род и число топонима зависит от рода и числа опущенного существительного: *Сърашь* (монастырь), *Gluchovъ*, *Lučínъ*, *Rodъnъ*, *Volodiměръ*, *Derevičъ* (городъ), *Rogъnědino*, *Vogol'uboje*, *L'ubъnе* (село), *Zolotъsa* (рѣка).

2.2.1. Ойконим *Къснятинъ* С. Роспонд [Роспонд 1972: 45], а вслед за ним В. Нерознак [Нерознак 1983: 100–101], толкует как посессивное производное на -инъ от уменьшительно-ласкательной формы (деминутива) *Коснята* (*Къснята*) древнерусского личного имени *Константинъ*, считая первичной форму *Къснятинъ*. Палатальность *н'* Роспонд объясняет мнимым "предпочтением форм с мягкой основой" в древнерусской топонимии. А. Стрижак топоним приводит в форме **Къснятинъ**, но объясняет его как субстантивированный посессив на -инъ от имени *Късната* [Этимологічний словник... 1985: 76–77].

Достоверность приведенного толкования вызывает сомнение: во-первых, потому, что в древнерусских памятниках нигде не засвидетельствовано личное имя \**Къснята*, \**Коснята* (трудно даже предположить, что такое имя могло существовать, так как оно должно было бы возникнуть в результате переразложения, в то время как все известные древнерусские формы на -ята образованы суффиксацией); во-вторых, форму с палатальной основой трудно объяснить вторичной палатализацией *н*, поскольку посессивный суф. -инъ был в живом употреблении в течение всего периода существования древнерусского языка и позднее, вплоть до наших дней. В качестве доказательства существования посессива от уменьшительной формы \**Коснята* Нерознак использует отрывок из берестяной грамоты № 397 "къснятина грамата", который он цитирует неточно (см. ниже).

Приведенное толкование, следовательно, нельзя считать достоверным. Однако от него приходится полностью отказаться, потому что может быть предложено объяснение, удовлетворяющее всем параметрам достоверной словообразовательно-семантической реконструкции древнеславянских топонимов. Согласно нашему толкованию, первоначальной формой топонима следует считать форму *Къснятинъ* и толковать ее следует как субстантивированный посессив (притяжательное прилагательное) на \*-jь от личного имени *Къснятинъ*: *Къsnäitiň gorodъ* 'город Константина' > *Къsnäitiň*.

Достоверность реконструкции подтверждают следующие факты: во-первых, засвидетельствованность личного имени – личное имя *Къснятинъ* быть широко распространено в древнерусском языке, ср. напр.: *Къснятинъ* Нѣжати́нъ [ЛН XIII, л. 18 об. 1137]); во-вторых, засвидетельствованность посессива – от личного имени *Къснятинъ* образовывалось притяжательное прилагательное при помощи суф. \*-jь вплоть до середины XIII в.: *Къснятинъ*. *Къснятинъ* отрокъ [Надп XII (20)]; *Къснятиня* грамата [ГрБ 1/2 XIII, № 397]; в-третьих, форма с палатальной основой засвидетельствована в древнейших списках летописей: пожьгоша... *Къснятинъ* [ЛН XIII, л. 18 об. (1216)]; приде... къ *Кснятиню* [ЛЛ 1377, л. 82 об. (1096)]; в-четвертых, словообразовательная

модель “имена с основой на *-нъ* + суф. *\*-jь*” утрачивается уже к середине XIII в., что могло привести, в результате утраты семантической мотивации, к отвердению согласного *н’*.

**2.2.2.** Исследователь должен объяснить формальные изменения, которым подвергались топонимические названия в различных списках древнерусских летописей. Из двух засвидетельствованных форм топонима *Воинь* и *Воинъ* первоначальной следует считать первую и трактовать ее как притяжательное прилагательное (посессив) на *\*-jь* от личного имени *Воинъ*: дошедше *Воиня* [ЛЛ 1377, л. 95 об. (1110)]. В результате депалатализации конечного согласного основы получилась форма с *-н*: *приде... къ Воину* [ЛЛ 1377, л. 68 об. (1079)]. С. Роспонд, наоборот, считает первичной форму *Воинъ* и толкует ее как посессив на *-нъ* от личного имени *Воя*, сокращенного двусосновного имени с первым компонентом *Вой-*. “Чередование *н-н’* оправдано, так как для русской топонимии и особенно гидронимии типичны формы на *-ь*” [Роспонд 1972: 45]. Достоверность нашей словообразовательно-семантической реконструкции подтверждается, во-первых, тем, что личное имя *Воинъ* засвидетельствовано в посессивной и субстантивной форме: а *Воину*у. сѣви. Анѣдрѣю. даю... платиль за мен(.) Данило. и *Воинъ* [Гр до 1270 (новг.)], в то время как гипокористическая форма *Воя* в древнерусском ономастиконе не засвидетельствована; во-вторых, тем, что суф. *-нъ* имел живую словообразовательную функцию и не нуждался в фонетических изменениях, в отличие от производных с суф. *\*-jь*, которые подвергались отвердению. Вспомним хотя бы древнерусский ойконим *Володимѣрь* (*Володимирь*) с прозрачной словообразовательной структурой, но уже в конце древнерусского периода в памятниках намечается тенденция к депалатализации конечного согласного основы, обусловленная утратой посессивного суф. *\*-jь*: даю... столный свой городъ *Володимирь* [ЛЛ ок. 1425, л. 299 (1287)]. Палатальность *ѣ* в говорах сохранялась значительно дольше: “в народной среде сохранялось до недавнего времени название в прежнем виде: Володимерь – с мягким *р*” [Селищев 1968: 72].

А. Стрижак также отдает предпочтение форме *Воинъ*, но трактует иначе словообразующую основу и словообразовательный формант: *Воин* – субстантивизированный посессивно-реляционный адъектив на *\*-j(ь)* от древнерусского апеллатива *воинъ* [Этимологічний словник... 1985: 32–33]. Значение “воинский” пограничных городов-крепостей не подтверждается словообразовательной семантикой: суф. *\*-jь* имел не относительное, а индивидуально-притяжательное значение.

Пример: иде Всеволодъ на Торкы. зимѣ *воиноу* [вариант X. П.: къ *Воиню*] и побѣди Торки [ЛЛ ок. 1425, л. 60 об. (1054)] не подтверждает “вариант топонима *Воино*”, как то ошибочно считает В. Нерознак (см. ниже), а является очевидным случаем, когда переписчик не понял древнерусский текст, в котором был указан топоним, и он переосмыслил его по-своему, как словосочетание *идти войною* (= идти ратью), – вместо топонима употреблено нарицательное существительное *война*<sup>2</sup>. Кроме того, один и тот же топоним не мог возникнуть тремя разными способами, как его толкует упомянутый ономаст: “В основе топонима *Воинъ* лежит др.-русс. *воинъ*... Название др.-русс. города *Воино* образовано с помощью топоформанта *-но* от основы *вои(н)*-... Вариант названия, *Воинъ*, следует рассматривать как притяжательное прилагательное на *-jь*” [Нерознак 1983: 42–43].

**2.2.3.** Интересный материал для рассмотрения степени достоверности того или другого толкования дает древнерусский ойконим *Chorobŕь*. А. Корепанова [Этимологічний словник... 1985: 170–171] вслед за С. Роспондом [Роспонд 1972: 65]

<sup>2</sup> В Хлебниковском и Погодинском списках сохранилась первоначальная форма: къ *Воиню*.

древнерусский топоним приводит в форме \*Хороборъ и толкует его как посессив на \*-j(ь) от двуосновного антропонима-композиата \*Хороборъ. Насколько это толкование достоверно? Его достоверность снижает, во-первых, факт, что личное имя \*Хороборъ, а также антропонимический компонент \*Хор-, не засвидетельствованы в славянских языках. Во-вторых, остается неясным утрата гласного *o* в самой ранней фиксации: Стославъ Олговичъ. скупаея съ Изяславом Дѣдвичемъ. у Хоробря. и утвердися [ЛИ ок. 1425, л. 167 об. (1153)], а также в топониме *Хоробричі*, на который А. Корепанова ссылается.

Мы этот топоним объяснили также как посессивное производное на \*-jь, но от личного имени *Хоробръ* (южнославянское *Храбръ*). На существование этого личного имени в древнерусском языке указывает притяжательное прилагательное на -овъ *Хоробровъ* в грамоте 1389 г. (см. выше – п. 2.1.3), а также фамилия *Хоробров* [Веселовский 1974: 342]. На южнославянской почве помимо *черноризца Храбра* на существование антропонима *Храбръ* указывает древнесербский топоним *Храброво поле* [Маројевић 1987в: 6].

Согласно этому толкованию, другие формы топонима в древнерусских памятниках объясняются просто – 1) вставкой беглого *o* в форме именительно-винительного падежа (в связи с процессом падения редуцированных): и оттуду ѿха... на *Хороборъ* [Моск. лет., 66. К. XV в. (1159)], ср.: Левъ князь думенъ и *хороборъ* и крѣпокъ на рати [ЛИ ок. 1425, л. 307 (1291)]; 2) отвердением конечного *p'* основы: и ѿтудѣ ѿха... на *Хороборъ* [ЛИ ок. 1425, л. 179 об. (1159)], ср. выше: *Володимиръ* → *Володимиръ* (современное *Владимир*).

**2.2.4.** Засвидетельствованный в Ипатьевской летописи топоним: взяти Черниговъ съ зю городъ пустыхъ Моровиескъ. Любескъ. *Оргощъ*. Всеволожь [ЛИ ок. 1425, л. 179 (1159)] С. Роспнд реконструирует как *Ор(о)гощъ*, без каких-либо комментариев [Роспнд 1972: 64]. А. Корепанова топоним приводит в засвидетельствованной форме *Оргощъ* и толкует как посессив на \*-j(ь) от древнерусского личного имени \**Оргостъ*, двуосновного по структуре, состоящего из \**or-*, что в *orati*, и \**gost-* [Этимологічний словник... 1985: 95–96].

Мы топоним реконструируем в форме *Orogosčъ* и толкуем его как субстантивированный посессив на \*-jь от личного имени *Orogostъ*: *Orogosčъ* (< \**Orogostjъ*) *gorodъ* (субстантивацией > *Orogosčъ*) [Маројевић 1985а: 79; Маројевић 1987в: 10–11]. Реконструкция основывается на следующих аргументах. Во-первых, праславянский закон открытых слогов не допускал группу звуков \**org-* в начале слова (\**org-* в древнерусском переходило в зависимости от интонации в *rag-* или *rog-*). Во-вторых, двуосновные имена образовывались с помощью соединительного гласного (интерфикса), восходящего к тематическому гласному основ на \**o*. В-третьих, личное имя *Orogostъ*, словообразующая основа посессива *Orogosčъ*, засвидетельствовано в древнерусском языке: послаша... *Орогостя*. и Ратибора [ЛЛ 1377, л. 92 (1100)].

А. Корепанова, как и некоторые другие ономасты, личные имена данного типа реконструирует с компонентом \*-*gostъ*. Реконструкция неверна, поскольку сложные имена на -*gostъ*, как и существительное *gostъ*, первоначально относились к древним основам на \**i* мужского рода. После смягчения полумягких согласных они примкнули к склонению древних \**i* основ. Засвидетельствованы в летописях именительный падеж: заложи *Воигостъ*. цркъвь стго Федора Тирона [ЛН XIII, л. об. (1175)] и винительный с выраженной категорией одушевленности: убиша... *Доброгостя* [ЛИ ок. 1425, л. 246 об. (1205)]. Формы вин. пад. *Орогостя* (см. выше) и *Доброгостя* указывают, что имена на -*gostъ* перешли в склонение древних основ на \**i* к концу XIV– началу XV века, т.е. к периоду создания соответствующих списков летописей.

2.2.5. Ойконим *Съраѣъ*: и поиде къ граду. на Изяслави<sup>†</sup> и въ *Спаши* угониша и [ЛИ ок. 1425, л. 126 (1147)]; Половци... ѿтуда же идоша на *Спашь*. та на Глуховъ [ЛИ ок. 1425, л. 164 (1152)] С. Роспонд связывает с существительными *пашня*, *паша* 'пастбище' [Роспонд 1972: 74], В. Нерознак – с диалектным словом *спаи* 'потрава, порча скотом' [Нерознак 1983: 161]. Согласно нашему толкованию [Маројевић 1985а: 76], ойконим возник в результате эллипсиса существительного *монастырь* в посессивной синтагме *Съраѣъ monastyрь*; посессив *съраѣъ* образован суффиксом \*-ѣъ от существительного *съраѣъ* 'спаситель' (ср. название праздника *Спашь день* [Фролова 1963: 35]). С образованием поселения вокруг монастыря экклезионизм *Съраѣъ (monastyрь)* превратился в ойконим с новой мотивировкой: *Съраѣъ (gorodъ)*.

2.2.6. Переосмысление топонима происходит и с преобразованием поселения сельского типа в город. Приведем пример из древнерусской топонимии. В результате эллипсиса определяемого существительного *selo* в синтагме *Bogoluboje selo* возник топоним *Боголюбое*, засвидетельствованный в Новгородской и Лаврентьевской летописях: въ *Бѣлюбѣмь* [ЛН XIII, л. 39 (1174)]; полату красну сию създа въ Володимери. и в *Бѣлюбѣмь* [ЛЛ 1377, л. 124 (1175)]; ѿхаша по князя в *Бѣлюбое*. и взяше тѣло его [ЛЛ 1377, д. 125 (1175)]; постриже ся в черныцѣ в монастыри в *Бѣлюбомь* [ЛЛ 1377, л. 149 об. (1214)]. С изменением типа поселения (согласно летописи город основан в 1175 г.) изменился морфологический тип топонима, но это изменение отразилось только в Ипатьевской летописи: князь Аньдрѣи суждальский... создалъ же бѣшетъ собѣ город камень. именовъ. *Бѣлюбыи*. толь далече. якоже Вышегородъ ѿ Кыева. тако же и *Бѣлюбыи* ѿ Володимѣря [ЛИ ок. 1425, л. 205 об. (1175)]; и въ *Боголюбомъ*. и въ Володимѣрѣ городѣ [ЛИ ок. 1425, л. 206 (1175)]. Современный вид топонима *Боголюбов* явно вторичен: он возник в результате словообразовательной адаптации по модели топонимов с суффиксом *-ovъ*.

С. Роспонд топоним приводит в форме *Боголюбов* (1175 г.) [Роспонд: 1972: 68], считая, что название города возникло "по имени основателя князя Андрея Боголюбского". Объяснение явно неверно: прилагательное *боголюбский* (определение к титулу *князь*) мотивируется топонимом *Боголюбое*, *Боголюбый*, а не наоборот. В. Нерознак, приведя форму *Боголюбовъ* в качестве основной, в топониме видит древнерусское прилагательное в значении 'любящий бога' [Нерознак 1983: 23].

Мы топоним толкуем как посессивное образование с суффиксом *-ъ < \*-os*, который в топонимии встречается в членной форме [Бошковић 1978: 380]. Антропоним *Боголюбъ* семантизируется как 'любимый богами'.

2.3. Третий формально-грамматический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические формы, возникшие в результате суффиксации посессива (суффиксальный способ субстантивации притяжательного прилагательного). Так, сербский ойконим *Ивањица*, имеющий прозрачную словообразовательную структуру, образован с помощью суффикса *-ica* от основы посессива *Ivaŋa* (в посессивной синтагме *Ivaŋa vъсь*).

Топоним *Šelomъnica*: тогда же о Костельницѣ воеваша и *Шоломницу* взяша, Мстиславлеѣ княгини [Воскр. лет. VII, 71. К. XVI в. (1159)] И. Железняк толкует как существительное на *-ица* от *шеломънъ*; в качестве словообразовательной основы указывает на нарицательные существительные *шеломъ*, *шеломя* и на антропонимы *Шеломъ* и *Шеломя* [Этимологічний словник... 1985: 175]. Мы ойконим объясняем как суффиксальное производное на *-ica* от основы посессива *Šelomъnъ*, посессив же как образование с суффиксом *-ьнъ* от личного имени *Šelomъ*. Реконструкция основывается на том, что в XVI–XVII вв. засвидетельствованы личные имена *Шеломъ* и *Шеломя* [Тушиков 1903: 495], а также фамилия *Шеломов* [Веселовский 1974: 364], и на существовании посессивного суффикса *-ьнъ* в русской и славянской топонимии (см. п. 3.1.3).

2.4. Четвертый формально-грамматический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические формы, возникшие в результате лексико-синтаксичес-

кого словообразования (сращения формы посессива с формой анафорического местоимения *jь*). Этот тип топонимов представлен двумя древнерусскими экклезионимами, представляющими собой результат побочного семантического развития антропонимической категории имен по мужу: *Пирогощя* (см. подробнее [Мароевич 1993б]) и *Иванъковая* (см. подробнее [Мароевич 1985: 90–93]).

### III. СЕМАНТИКА ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ТОПОНИМОВ

**3.1.** Первый понятийно-семантический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические и аналитические формы, выражающие принадлежность и отвечающие на вопрос, кому принадлежит объект посессивности (город, село, нива и т.д.). Семантическим ядром таких названий является собственно посессивная категория (притяжательное прилагательное, в более позднее время также родительный принадлежностный). Родительный принадлежностный при этом использовался только в посессивных синтагмах в качестве несогласованного определения (п. 2.1.2.; 2.1.5). Посессивы, выражающие значение принадлежности, имели более широкие грамматические возможности: они выступают в синтагмах в качестве согласованного определения (п. 2.1), подвергаются субстантивации – в результате эллипсиса определяемого существительного (п. 2.2), суффиксации (п. 2.3) или сращения с постпозитивным членом как признаком определенности (п. 2.4).

**3.1.1.** Притяжательные прилагательные от личных имен создавались без ограничений в праславянском языке с помощью основообразующего суффикса *-ъ < \*-os* [Бошковић 1978: 379; Мароевич 1989б: 125–126]. В результате эллипсиса существительного женского рода *въсь* 'село', *нива* и т.п. в посессивных синтагмах типа *Miloslava въсь*, возникли топонимы типа *Miloslava* (в сербском языке – *Milosava* – упрощение группы согласных).

В связи с субстантивацией посессивных форм в топонимии возникает вопрос: могли ли топонимы в праславянском языке возникать в результате субстантивации родительного принадлежностного? Интересны в этом отношении толкования Р. Бошковића. В одной статье он в древнейших греческих топонимах славянского происхождения *Zarýta* (Лакония) = *Σάρτοτα*, *Σερβιάνα* (Эпир) = *Syrběna* реконструирует родительный принадлежностный имен собственных *Σάρτοτъ*, *Syrběntъ*, признавая тем самым возможность субстантивации посессивного генитива в топонимии [Бошковић 1978: 373, 377]. В другой статье, о топонимах (в форме женского рода) *Milosava*, *Mirosava*, *Ranisava*, *Martina*, *Dobrašina*, *Radiša* в сербском ономастиконе и *Adama*, *Ciechmana*, *Niesuła*, *Szczepana* в польском, Р. Бошковић говорит, что "никаким анализом нельзя установить, что они на самом деле в конкретных случаях исторически представляют собой: посессивные генитивы единственного числа личных имен мужского рода или древние прилагательные (ныне существительные) женского рода на *-a*" [Бошковић 1978: 380].

В пользу нашего толкования (субстантивация притяжательного прилагательного в форме жен. рода ед. числа) можно привести два аргумента. Во-первых, в языке со строгой грамматической структурой, каковым являлся праславянский, нельзя предположить возможность субстантивации посессивного генитива как формы, не являющейся носителем склонения. Во-вторых, в известную эпоху развития праславянского языка (а эта эпоха закончилась задолго до расселения славян в Греции) стало грамматически невозможным употребление родительного принадлежностного существительного, и в результате – именной родительный принадлежностный был заменен суффиксальными посессивными категориями [Мароевич 1989б: 124]. Таким образом, во время возникновения упомянутых южно- и западно-славянских топонимов в живом языковом употреблении в кругу личных имен посессивного генитива вообще не было (выступали в функции принадлежности только притяжательные прилагательные, среди них и посессивы с суффиксом *-ъ < \*-os*).

3.1.2. В старославянском языке засвидетельствованы притяжательные прилагательные *любодѣи* [Старослав. сл. ... 1994: 316], *прѣлюбодѣи* [Старослав. сл. ... 1994: 545], *томитель*<sup>2</sup> [Старослав. сл. ... 1994: 699] и *цѣсарь*<sup>2</sup> [Старослав. сл. ... 1994: 774–775], которые Р. Бошкович объяснил как "праславянские адъективные образования на -'ь, -'а, -'е < -ъ, -а, -о" [Бошковић 1978: 383]. В древнерусских памятниках засвидетельствованы притяжательные прилагательные *цѣсарь*, *иконоразбитель*, *любодѣи*, а также отпатронимические прилагательные *Творимиричь*, *Лукиничь*, *Глѣбовичь* [Маројевић 1985а: 45–48].

Посессивы на -ь отражены в топонимии. В славянских названиях Константинополя *Цѣсарь градъ*, *Царь градъ* [Фролова 1959: 259–260; 1963: 29] представлена посессивная синтагма с притяжательным прилагательным *сѣсарь* 'цесарев, принадлежащий цесарю'. В результате эллипсиса существительного *городъ* возникли древнерусские топонимы *Вседобричь* (село в Московской области, засвидетельствованное в начале XIV века [Селищев 1968: 82]) и *Деревичь*: Данилъ же возьма плѣнъ много врати ся. и пойма грады ихъ. *Деревичь* [ЛИ ок. 1425, л. 267 (1241)].

Словообразовательная история топонима *Вседобричь* может быть представлена следующим образом: личное имя – *Vьsedobrъ*, посессив на *-\*jь* – *Vьsedobrъь*, патроним – *Vьsedobrīčь* (образованный с помощью суф. *-ičь* от основы посессива), отпатронимическое притяжательное прилагательное – *Vьsedobrīčь* (образованное с помощью суффикса *-ь < \*-'os*); эллипсис существительного *городъ*: *Vьsedobrīčь городъ* → *Vьsedobrīčь*; изменение статуса ойконима: город → село.

Ойконим *Деревичь* В. Нерознак толкует следующим образом: "Название по форме патронимическое образование от др.-русск. *дерево*, *дрѣво*, *древо*" [Нерознак 1983: 66]. Л. Масенко топоним объясняет, с оговоркой "возможно", как существительное на *-ичь* от названия восточнославянского племенного союза *Дерева* [Этимологічний словник... 1985: 49]. Согласно нашему толкованию [Маројевић 1985а: 100–101], ойконим *Derevičь* возник в результате субстантивации (эллипсиса существительного *городъ*) в синтагме *Derevičь городъ* 'город деревлян, деревичей'; отэтнонимический посессив *Derevičь* образован суф. *-ь* от варианта этнонима *Dereviči*, этноним же в свою очередь образован (этнонимическим) суф. *-ičь* от основного варианта топонима (точнее: этнотопонима) *Dereva*: послуша ихъ Игорьъ. иде в *Дерева* в дань [ЛЛ 1377, л. 14 об. (945)]. Исходить из патронимического значения нет никакого основания (тем более от нарицательного существительного *дерево*). Толкование Л. Масенко также неприемлемо: по отдельному представителю племени, транспозицией сингулятивной формы, города не называются; при этом сингулятивом к *Dereviči* скорее всего выступала форма *\*Derevitinъ* (по крайней мере в древнерусском языке).

3.1.3. Посессивный суффикс *-ьль* в старославянских и древнерусских памятниках был лексико-семантически ограничен именами со значением семейно-родственных отношений, тогда как славянская топонимия сохраняет следы его употребления от антропонимических основ [Бошковић 1978: 363–368; Маројевић 1983].

В летописном фрагменте: Ярополкъ... затворися въ градѣ *Родьни* [ЛЛ 1377, л. 24 об. (980)] обычно реконструировали ойконим в форме женского рода *\*Rodьña* (ср. [Тихомиров 1956: 13, 55 и др.; Роспонд 1972: 60]). Согласно этому С. Роспонд топоним включает в производные с суффиксом *-ьña*, считая что этот формант "в апеллятивах встречается прежде всего в *nomina loci*: польск. *studnia*: *studzić* 'место с холодной водой', *stajnia* 'скотный двор', *łaźnia* и т.д." [Роспонд 1972: 30]. Мы из формы местного падежа *въ градѣ Родьни* вычленили исходную форму *Rodьль* по лингвистическим соображениям: топоним в летописном тексте выступает приложением к апеллятиву *градъ*; формы мужского рода характерны для древнерусских названий городов, возникших в результате субстантивации посессивов на *-jь*, *-evъ/ovъ*, *-inъ*

[Маројевић 1985а: 84–85]. И. Железняк нашла этому филологическое подтверждение: бѣжа в *Родень* [Ерм. лет., 12. XV в., сп. XV–XVI вв.]. Она принимает толкование С. Роспонда как самое верное, но возможным считает также мнение Б. Рыбакова, объясняющего топоним как субстантивированный адъектив на *-ьн-* от теонима *Родъ*, древнего верховного языческого бога славян [Этимологічний словник... 1985: 115–116].

Толкование Роспонда отпадает тем самым, т.к. не подтверждено словообразовательное членение топонима (*rod-* + суф. *nomina loci -ьна*). Маловероятным кажется и отождествление словообразующей основы субстантивированного посессива с теонимом *Родъ*: подавляющее количество древнерусских названий городов возникло в результате субстантивации посессива от личного имени владельца или основателя, ни в одном достоверно не прослеживается происхождение от имени божества. Поэтому приходится принять наше толкование, согласно которому ойконим *Родьнѣ* возник субстантивацией посессива на *-ьнѣ* от личного имени *Родъ* в синтагме *Родьнѣ городъ*, а это толкование строится на следующих основаниях. Во-первых, словообразующая основа топонима, личное имя *Родъ*, засвидетельствована в древнерусских памятниках: яша... Иванка Творимича. *Рода* тивуна его. и ины многы [ЛИ ок. 1425, л. 194 об. (1171)]. Во-вторых, суффикс *-ьнѣ* как словообразовательный формант имел посессивное значение, и он засвидетельствован в топонимии антропонимического происхождения<sup>3</sup>. В-третьих, судя по первому упоминанию в Лаврентьевской летописи, где ойконим сопровождается апеллятивом *градъ*, все еще сохранялась функция определения у посессива *Родьнѣ*: въ *градѣ Родьни*.

3.2. Второй понятийно-семантический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические формы, выражающие обладание и отвечающие на вопрос, что имеет субъект посессивности (*gorodъ, selo, vьsь* и т.д.). Семантическим ядром таких названий является квалитативно-посессивная категория (посессивы, выражающие значение обладания). В квалитативно-посессивных формах пересекаются две понятийно-семантические категории – квалитативность и посессивность (о соотношении собственно посессивных и квалитативно-посессивных категорий см. [Мароевич 1989б: 122]). Посессивы, выражающие значение обладания, подвергаются субстантивации в результате эллипсиса определяемого существительного.

3.2.1. Словообразующей основой может быть отвлеченное существительное (*krasa*), словообразовательным формантом – квалитативный суффикс *-ьнѣ*: *Krasьнѣ gorodъ* (при субстантивации > *Krasьнѣ*); адъективная форма *krasьнѣ* характеризуется квалитативно-посессивным значением 'имеющий красу, красивый'. С. Роспонд топоним включает в названия с непосессивным формантом *-ьнѣ* [Роспонд 1972: 71]. В. Нерознак считает неоправданной "конъектуру С. Роспонда *Красьнѣ* вм. *Краснѣ*", так как "все летописные варианты указывают на топооснову *Краснѣ*" [Нерознак 1983: 97–98]. Однако все летописные показания относятся к эпохе после падения редуцированных: на той же сторонѣ у *Красна* Половци побѣдихо<sup>м</sup> [ЛЛ 1377, л. 82 (1096)]; почаша воевати. ꙗ Трьполя. около *Красна* [ЛИ ок. 1425, л. 111 (1136)]; а Романови Вячеславлю. внуку. да Ростиславъ Васильевъ и *Краснѣ* [ЛИ ок. 1425, л. 187 об. (1165)]. Утратой редуцированного в слабой позиции объясняется род. пад. *Красна*, выравниванием основ в пользу косвенных падежей – им./вин. пад. *Краснѣ*.

3.2.2. Словообразующей основой может быть фитоним (*orěchъ*), словообразовательным формантом – квалитативный суффикс *-овѣ*: *Orěchovъ ostrovъ* (при субс-

<sup>3</sup> Посессивность суффиксов *\*-ьнѣ, -евѣ/овѣ, -инѣ* (и их отражение в топонимии) не нуждается в доказательстве.

тантивации > *Orěčovъ*); адъективная форма *orěčovъ* характеризуется квалитативно-посессивным значением 'имеющий орехи, обросший орехами': ходиша Новгородци... и поставиша горо<sup>д</sup> на усть Невы. на *Opѣховомь островѣ* [ЛН 1/2 XIV, л. 163 (1323)]; нарядиль. костры во *Opѣховѣ* [ЛН XIV, л. 168 об. (1352)]. В. Нерознак отождествляет эти два топонима [Нерознак 1983: 130–131]. Предлог *въ* скорее всего указывает на другую номинацию первого топонима: *Orěchovo selo* (или *pol'e*).

**3.2.3.** Словообразующей основой может быть синтагма (*tri pol'a, šestь pol'b*), словообразовательным формантом – посессивный суффикс *-ь* < \*-'os (см. п. 3.1.2.) в квалитативно-посессивном значении: *Трьпол'ь gorodъ* (при субстантивации > *Трьпол'ь*), *Šestьpol'ь gorodъ* (при субстантивации > *Šestьpol'ь*).

Достоверность реконструкции *Шеполь* < *Шестьполь* '(город), имеющий шесть полей', '(город), расположенный на шести полях' увеличивается, во-первых, потому что топоним известен по списку летописи эпохи после утраты редуцированных, когда соответствующие изменения могли совершаться: то *вд<sup>а</sup> ти* которой *ти* городъ *любь*. *любо* Всеволожъ. *любо* Ш<sup>е</sup>поль. *любо* Перемиль [ЛЛ 1377, л. 89 об. (1097)]; во-вторых, тем, что данная словообразовательная модель засвидетельствована в древнерусской ойконимии (*Трьполь*, см. ниже). Данную этимологию С. Роспонд считал возможной: "Понятен второй член *-поль* < *поле*, но неясна этимология первого члена *ше-* (может быть, *шесть*, ср. *Треполь*, *Триполь*)" [Роспонд 1972: 54].

С. Роспонд первичной считает форму *Треполье*, вторичной – *Треполь* [Роспонд 1972: 53]. Однако автор не приводит документального подтверждения для первой формы. В древнерусских памятниках ойконим засвидетельствован в форме *Трьполи*: побѣдиша... на *Трьполи* [ЛН XIII, л. 6 (1093)]; на Възнесење Гне еже у *Трьполя* [ЛЛ 1377, л. 74 (1093)]; и мнози погыбоша [и быша] мертви паче неже у *Трьполя* [тем же]. И в форме *Треполь*: и поиде... къ *Треполю* [ЛЛ 1377, л. 73 (1093)]; минуше *Треполь* [ЛЛ 1377, л. 73 об. (1093)]; близъ *Треполя* [ПКП 1406, л. 138 г (1225–1226)]. Засвидетельствованные варианты объясняются следующим образом: редукция гласного в первом компоненте словообразующей основы (*tri* → *ть*); вокализация редуцированного в сильной позиции (ударяемость первоначально характеризовала и первый компонент топонима): *Треполь*.

**3.3.** Третий понятийно-семантический тип древнеславянских топонимов представляют собой синтетические формы, выражающие реляционное значение. Семантическим ядром таких названий является относительное прилагательное с суффиксом *-ьскъ*, подвергающееся субстантивации в результате эллипсиса определяемого существительного.

**3.3.1.** Словообразующей основой может быть гидроним (название реки, реже – озера). Словообразовательное значение субстантивированного адъектива на *-ьскъ* – '(город), расположенный на реке [...]': "**Витебск**, др.-русс. *Витьбьскъ* – местн[ое] н[азвание], от названия реки *Витьба*, притока Зап[адной] Двины" [Фасмер, I: 321]. После падения редуцированных ойконим получил один вид в им./вин. пад.: поехалъ у *Витьбескъ* [Гр ок. 1300 (2, рижск.)], с ассимиляцией по звонкости: *Полотескъ*. *Видьбескъ* одно есть [Гр 1265 (з.-р.)]. Другой вид – в косвенных падежах: поехалъ изъ *Витебьска* у Смольнескъ [Гр ок. 1300 (2, рижск.)]. В дальнейшем происходит выравнивание основ в пользу косвенных падежей – сначала переносится результат вокализации первого редуцированного и ассимиляция по глухости: посла Дѣдъ... в помочь зятю своему на *Витепескъ* [ЛЛ 1377, л. 140 (1196)], а потом был утрачен беглый гласный на месте второго редуцированного: Ярославъ... Давыда винить. про *Витебьскъ*. аже помогаетъ зятю своему [ЛИ ок. 1425, л. 238 об. (1195)].

Ойконим *Вицьскъ* семантизируется как '(город), расположенный на реке *Вигъ*'. После падения редуцированных он получил разную основу в им./вин. и прочих

падежах: и въсрѣте и... у Бужьиска. и не смѣ Давидъ стати противу Володареви. и затвори ся въ Бужьскѣ и оступи градъ Бужескъ Володарь [ЛИ ок. 1425, л. 91 об. (1097)]. Не учитывая особенностей склонения в эпоху после падения редуцированных, В. Нерознак в данном фрагменте видит "три разных варианта топонима Бужьискъ, Бужьскъ и Бужескъ" [Нерознак 1983: 30].

Топоним *Izborьskъ* семантизируется как '(город), расположенный на озере *Избор'*' (ср. [Роспонд 1979: 29]). Первоначально С. Роспонд название трактовал как притяжательное прилагательное от личного имени *Избор*, считая возможной для суффикса *-ьскъ* собственно посессивную функцию [Роспонд 1972: 21]. Неверную трактовку повторяет В. Нерознак [Нерознак 1983: 78–79]. Суффикс *-ьскъ* не мог иметь индивидуально-посессивного значения [Маројевич 1985а: 95].

**3.3.2.** Словообразующей основой мог служить помет *loci* (в основе которого помет *actionis*): \**кѣрѣчь* 'выкорчеванное пространство' (ср. [Фасмер, II: 340]). Словообразовательное значение ойконима \**Кѣрѣчьскъ* – '(город), расположенный на месте выкорчевания'. После падения редуцированных ойконом склонялся по образцу: им./вин. пад. *Корческ*, род. пад. *Корческа*: и ту пристави к нему сѣа своего. Мьстислава до *Корчесьска*. и тако проводивъ и за *Корческъ* [ЛИ ок. 1425, л. 144 (1150)]. С. Роспонд топоним приводит в двух вариантах: "*Корчесьск*, или *Корческ* (1150 г.)" [Роспонд 1972: 66]. Ошибку повторяет В. Нерознак, который также в летописном тексте увидел два варианта ойконима, *Корческъ* и *Корчесьскъ*: "Исходной формой, по-видимому, следует считать вариант *Корческъ*, в основе которого лежит слово *корч* 'выкорчеванный пень'" [Нерознак 1983: 95]. Следует добавить, что в ойкониме проявляется ранний рефлекс второго полногласия: \**Кѣрѣчьскъ* > *Кѣръчьскъ*.

**3.3.3.** Словообразующей основой могла выступать синтагма (*devetъ gorъ*): *Devetъ-gorьskъ* > *Devătъgorьskъ*. Словообразовательное значение ойконима – '(город), расположенный на девяти горах'. Реляционное значение здесь приближается к качественно-посессивному (ср. п. 3.2.3). Достоверность словообразовательно-семантической реконструкции, которую не исключает и С. Роспонд [Роспонд 1972: 65], увеличивается, во-первых, наличием топонимов схожей словообразовательной структуры (*Трьполъ*, *Še[stъ]polъ* – см. выше), во-вторых, тем, что ойконом засвидетельствован впервые в летописи начала XV века, когда соответствующие изменения (утрата слабого редуцированного, ассимиляция по звонкости, упрощение группы согласных: *tyg* > *tg* > *dg* > *g*) могли совершиться: иде *Девягорьску* [ЛИ ок. 1425, л. 126 (1147)]; приде... *Девягорьску* [там же]. Другие этимологии – "возможно первоначально Деревьягорск" [Роспонд 1972: 65], от топонимической синтагмы *Дѣвьѣ гора* (ср. [Нерознак 1983: 66]), "возможно сопоставление с именем личным *Девгений*" [Роспонд 1972: 65] – связаны с большими фонетическими и семантическими трудностями.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бошкович Р. 1978 – Одобрани чланци и расправе. Титоград, 1978.  
 Веселовский С.Б. 1974 – Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.  
 Маројевич Р. 1985 – Семантическая двуплановость посессивных производных типа *Иванъкова* в древнерусском языке (к толкованию грамматики и семантики форм в русском историческом языкознании) // ФН. 1985. № 3.  
 Маројевич Р. 1988 – Этимология. 1985. М., 1988 – Рец.: Нерознак В.П. Названия древнерусских городов.  
 Маројевич Р. 1989а – Дискусијна експериментална лексикографична праца // Мовознавство. Київ, 1989. № 4.  
 Маројевич Р. 1989б – К реконструкции праславянской системы посессивных категорий и посессивных производных // Этимология. 1986–1987. М., 1989.  
 Маројевич Р. 1993а – Методологические вопросы словообразовательно-семантической реконструкции древнеславянских топонимов // XI medzinárodný zjazd slavistov. Zbornik resumé. Bratislava, 1993.  
 Маројевич Р. 1993б – *Пирогоцая* в "Слове о полку Игореве" и древнерусских летописях // ФН. 1993. № 1.  
 Маројевич Р. 1983 – Посесивни придеви са суфиксом *-ьъ* у историји руског језика // Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1983. Књ. XXVI/I.

- Маројевић Р. 1985а – Посесивне изведенице у староруском језику: Антропонимски систем. Топонимија. "Слово о полку Игореве". Београд, 1985.
- Маројевић Р. 1985б – Прилози творбено-семантичкој реконструкцији староруских топонима // Ономастолошки прилози. Београд, 1985. Књ. VI.
- Маројевић Р. 1987а – О једном тумачењу староруских назива градова // *Onomastica jugoslavica*. Zagreb, 1987. Књ. 12.
- Маројевић Р. 1987б – Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику. Нови Сад. 1987. Књ. XXXI. – Рес.: Железњак И.М., Корепанова А.П., Масенко Л.Т., Стрижак О.С. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. 1987.
- Маројевић Р. 1987в – О етимолошкој обради староруских топонима... // Ономастолошки прилози. Београд, 1987. Књ. VIII.
- Маројевић Р. 1987г – Методолошка питања творбено-семантичке реконструкције средњовековних топонима (на примеру староруских назива градова) // Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције (Доњи Милановац, 9–12 октобар 1985). Београд, 1987.
- Маројевић Р. 1987д – О постанку топонима *црква Димитрија* // Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1987. Књ. XXXI.
- Нерознак В.П. 1983 – Названия древнерусских городов. М., 1983.
- Роспонд С. 1972 – Структура и стратиграфия древнерусских топонимов / Перев. Нерознака В.П. // Восточнославянская ономастика. М., 1972.
- Роспонд С. 1979 – *Miscellanea onomastica Rossica* / Перев. Нерознака // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы. М., 1979.
- Селищев А.М. 1968 – Избранные труды. М., 1968.
- Словарь XI–XIV вв. – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 10-ти томах. М., 1988. Т. I.
- Старослав. сл. ... 1994 – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под. ред. Цейтлин Р.М., Вечерки Р., Благовой Э.М., 1994.
- Тихомиров М.Н. 1956 – Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956.
- Туников Н.М. 1903 – Словарь древне-русских личных собственных имен // Зап. ОРЯС. СПб., 1903. Т. VI.
- Фасмер М. 1996 – Этимологический словарь русского языка: В 4-х томах / Перев. и доп. О.Н. Трубачева. СПб., 1996.
- Фролова С. 1959 – История притяжательно-относительных прилагательных с суффиксом *-j, -ьj* по древнерусским письменным памятникам XI–XVII вв. // Уч. зап. Куйбыш. пед. ин-та. 1959. Т. 27.
- Фролова С.В. 1962 – История образования притяжательных и притяжательно-относительных прилагательных с суффиксами *-j/-ьj* и *-ов/-ев* в русском языке: Автореф. докт. дис. ... филол. наук. Куйбышев, 1962.
- Фролова С.В. 1963 – История образования притяжательно-относительных прилагательных с суффиксом *-ов/-ев* в русском языке // Уч. зап. Куйбыш. пед. ин-та. 1963. Т. 38.
- Етимологічний словник... 1985 – Железњак И.М., Корепанова А.П., Масенко Л.Т., Стрижак О.С. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985.

© 1997 г.

К.А. МАКСИМОВИЧ

### ГЛОССЫ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ЕФРЕМОВСКОЙ КОРМЧЕЙ XII в.

Лингвистическое и историческое изучение славянского перевода византийской Синтагмы XIV титулов без толкований имеет довольно давнюю историю. Древнейший список этой Синтагмы – Ефремовский XII в. (Москва, ГИМ, Син. 227)<sup>1</sup> – был неизвестен родоначальнику российской традиции в изучении кормчих книг барону Розенкампу (ср. [Розенкампф 1839]), однако уже с середины XIX в. начинается его научное изучение (библиографию см. в [СК: 116–117]). И.И. Срезневский достаточно подробно описал данный список с точки зрения его состава и издал большие фрагменты славянского текста [Срезневский 1899: 15–46. Приложения: 67–193]. Данная работа была продолжена В.Н. Бенешевичем, который не только досконально исследовал историю греческого оригинала Синтагмы XIV титулов без толкований [Бенешевич 1905], но и осуществил образцовое в научном отношении издание Ефремовского списка [Бенешевич 1906–1907]. С лингвистической точки зрения кормчую изучали Ф.И. Буслаев [Буслаев 1861: 379–380], С.П. Обнорский [Обнорский 1912], Л.В. Вялкина [Вялкина 1964], Л.В. Милов [Милов 1980]. Наиболее подробное текстологическое и источниковедческое исследование как Ефремовского, так и других списков славянской Синтагмы XIV титулов без толкований принадлежит Я.Н. Шапову [Шапов 1978: 40–116]. С начала XX в. под влиянием авторитетных имен И.И. Срезневского и С.П. Обнорского Ефремовский список прочно вошел в научный обиход под именем Ефремовской кормчей XII в. (далее – ЕК)<sup>2</sup>.

Здесь мы оставляем в стороне сложный вопрос о месте славянского перевода Синтагмы XIV титулов – отметим только, что тезис о древнерусском (восточнославянском) происхождении этого перевода [Пихоя 1973; Милов 1980] нам не кажется убедительным.

Интересную особенность ЕК представляет собой интерполированные в текст глоссы, вычленяемые, как правило, только при сравнении славянского текста с греческим оригиналом. При большом буквализме славянского перевода там, где греческого соответствия тому или иному слову не обнаруживается, с высокой долей вероятности следует предполагать наличие интерполированной глоссы.

Среди глосс ЕК следует различать маргинальные глоссы, интерполированные в текст писцом Ефремом (и, следовательно, восходящие к протографу Ефремовского списка), и глоссы самого Ефрема (с большей долей вероятности их можно идентифи-

<sup>1</sup> Назван так по имени списавшего данный список в Новгороде некоего Ефрема (Офрема), который оставил свои автографы на лл. 101, 145, 246, 251 об рукописи [Щепкина и др. 1965: 145; СК: 116].

<sup>2</sup> Справедливости ради следует отметить, что название это не совсем правильное – Ефремовский список представляет собой фрагмент более обширного целого, абсолютно верно названного В.Н. Бенешевичем Древнеславянской кормчей XIV титулов без толкований. Не вошедшие в Ефремовский список части этой кормчей частично были подготовлены В.Н. Бенешевичем к изданию, однако, по актуальным в 1930 годы причинам, осуществить это издание автор не успел. Оно было завершено лишь в 1987 г. силами небольшого коллектива ученых, составив том II Древнеславянской кормчей [Бенешевич 1987].

цировать по вводящему их слову **рекѣше**)<sup>3</sup>. Обнаруженные глоссы дают интересный материал о понятности того или иного термина в эпоху написания Ефремовского списка и даже ранее (если речь идет о глоссах, имевшихся уже в протографе), позволяют реконструировать представления писцов о некоторых реалиях и понятиях, отразившихся в переводе такого сложного и обширного текста как Синтагма XIV титулов без толкований. Некоторые данные анализ глосс дает и для изучения проблем рецепции византийского права на Руси.

Далее мы приводим фрагменты текста ЕК, заключая обнаруженные в них интерполированные глоссы в квадратные скобки. Цитаты предваряются указанием страницы и строки ЕК по изданию [Бенешевич 1906], отмечается также, из какого церковного правила заимствована та или иная цитата. Каждая цитата сопровождается аналитическим комментарием.

(60.13) **Вѣсто же, како изложеник [вѣры] прѣдълежаштнихъ съворъ не вистъ по чиноу лѣтъъ** – ἔκθεσις τῶν προκειμένων συνόδων. Слово **вѣры** добавлено писцом без опоры на греческий – скорее всего в результате некоего автоматизма восприятия.

(89.27; I Ник. 13) ...**како иже оумираган коньчнааго и ноужьнааго [комъканиа] на поутъа да не лишить сѧ**. В греческом: τοῦ τελευταίου καὶ ἀναγκασιότατου ἑφοδίου. Без всякого сомненья, слово **комъканик** "причастие", не имеющее соответствия в оригинале, поясняет витиеватый оборот **коньчнок и ноужьнок напоутик**.

(120.19–20; Халк. 17) **пърѣти сѧ прѣдъ [областьнымъ] съворъмъ епарх[и]нскимъ** – κινεῖν παρὰ τῆ συνόδῳ τῆς ἐπαρχίας. Наличие у греческого определения τῆς ἐπαρχίας точного славянского соответствия **епархинский** дает основание считать глоссой слово **областьный**. Любопытно, что в ЕК подавляющее большинство употреблений приходится именно на термин **епархия** и производные, тогда как термины **область** и **областьный** используются только на небольшом отрезке текста (со с. 84 по с. 150)<sup>4</sup>. Данное обстоятельство вновь подтверждает уже не раз повторенный нами вслед за И.В. Ягичем тезис о том, что византийскую Синтагму XIV титулов переводили несколько переводчиков – различные терминологические доминанты в разных частях текста не оставляют в этом никаких сомнений (ср. [Jagić 1914: 303–304; Максимович 1994: 19, прим. 41; Максимович 1996]).

(160.22; Трул. 24) **Не подовакть... мьнихоу на оуристаник коньнок въсходити [кже ксть игрище]**. Греческое соответствие для выделенного фрагмента отсутствует, что позволяет считать это сочетание глоссой. Совершенно очевидно, что для славянского писца (возможно, для самого Ефрема) термин **коньнок оуристаник** обозначал чуждую реалию византийской (и даже специально константинопольской) жизни – отсюда понятно его стремление заменить понятие "скачки на ипподроме" более актуальным для практики славян понятием "игрище, языческое празднество". Такая подмена понятий сразу делала данное правило Трулльского собора применимым в условиях Руси. Налицо особый вид рецепции чуждой правовой нормы, адаптированной посредством глоссирования к иной социальной ситуации.

(178.1; Трул. 50) **Ни кдиномоу же отъ всѣхъ или отъ клирикъ или отъ простыць**

<sup>3</sup> Вопрос о количестве писцов, участвовавших в создании ЕК, окончательно не решен: есть мнение о наличии в данном списке нескольких разных почерков [Щепкина и др., 1965: 145]. Мы придерживаемся точки зрения Я.Н. Шапова о единственном писце Ефремовского списка [Шапов 1978: 41, прим. 6].

<sup>4</sup> При написании статьи использовались (пока не изданные) материалы полного двуязычного словоуказателя к ЕК, подготовленного автором в ФРГ в 1992–1994 гг.

сигами [лѣкъмъ] играти отъселѣ – в греч. κυβέειν "играть в кости". В ЕК встречаются оба термина для обозначения игры в кости – как **сига**, так и **лѣкъ** – однако более типичным представляется термин **сига**: ср. **играти сигами** (178.1), **играти чигами** (вариант XV в.: **сигами** – 33.5), **сига** (71.20). Термин **лѣкъ**, помимо разбираемого случая, который мы истолковали как глоссу, встретился в ЕК лишь однажды: **играти лѣкы** (53.4). В старославянской письменности этот термин не отмечен [SJS, 17: 151]. Допустимо, как нам кажется, трактовать его как внесенный в ЕК при переписке восточнославянизм, поскольку его единственный иноязычный (серб.-хорв.) аналог имеет совсем другую семантику [ЭССЯ, 14: 191–192]. Термин **лѣкъ** в значении "игральная кость" получил широкое распространение именно на Руси – ср. многочисленные примеры в [СлРЯ XI–XVII вв., 8: 201]. Термин **сига**, напротив, в русских памятниках не зафиксирован (он отсутствует в Картоотеке древнерусского словаря XI–XVII вв. (ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН), в словаре Срезневского приводится только 2 примера из ЕК – [Срезн., III: 344]), зато встречается в мефодиевском по происхождению переводе Номоканона L титулов Иоанна Схоластика. Здесь термин **сига** употреблен дважды – в Оглавлении и в 42-м апостольском правиле (правда, в слегка испорченном виде – как **сила** и как **шега**) [ММФН, IV: 255, 308]<sup>5</sup>. Искажение данного термина при переписке на Руси уже в XIII в. (датировка древнейшего русского списка Номоканона Мефодия) доказывает его неясность для переписчика и подтверждает нашу мысль о том, что основным в это время термином для обозначения игры в гости был на Руси **лѣкъ**. Примечательно, что выражение **лѣкъмъ играти** "играть в кости" исправлено в одном из списков Синтагмы XIV титулов (II, XIV в.) на **ликомъ играти** (т.е. "водить хороводы"). Тенденция правки та же, что и в предыдущем примере про **коньнок оуристаник** – канонический правовой текст приспособливается к специфически русским реалиям борьбы с языческими пережитками среди клира и паствы.

(528.5; Вас. Вел. О Св. Дух.) ...ноуждьно оубо паже вѣнѣ млтвы стоащемъ испълнати – ἀναγκαίως οὖν τὰς ἐν αὐτῇ προσευχὰς ἐστῶτας ἀποπληροῦν "необходимо возносить положенные в этот час молитвы стоя". В протографе ЕК вместо **вѣнѣ млтвы** находилось, несомненно, в полном соответствии с оригиналом **вѣнки млтвы** (ἐν αὐτῇ προσευχὰς): писец, однако, подправил текст, введя понятие "отлучение от молитвы" и "стояния". Наиболее вероятным объяснением этому нововведению представляется знакомство Ефрема с византийской системой публичного покаяния по 4 ступеням, анализ которой на материале ЕК уже был произведен нами в одной из недавних работ [Максимович 1994: 13–19]. Именно в этой системе покаяния (точнее, в ее ефремовской интерпретации) имеется термин **не причастити са молитвы** (498.10), **вѣнѣ църкви быти** (235.10–11). Учитывая большую любовь Ефрема при переписке соответствующих правил вносить свои (дилетантские, но, бесспорно, отражающие некоторый реальный опыт) дополнения, следует и здесь предположить осознанный характер интерполяции.

(531.14–15; Вас. Вел. о Св. Дух.) [нына и присно и вѣ вѣкы вѣкомъ аминь] – благочестивая концовка правила, не находящая опоры в греческом оригинале.

(532.19–20; Феофил Алекс. 1) прикмлюще (вариант: прикмлюще) малыихъ финникъ [рекѣше овощнаго плода] – μεταλαμβάνουτες ὀλίγων φοινίκων. Слово **финникъ** в

<sup>5</sup> Чуждость для русского узуса термина **сига**, который является основным для ЕК и сближает ее язык с языком Номоканона Мефодия, не позволяет нам присоединиться к теории о древнерусском происхождении перевода ЕК.

значении “плод финиковой пальмы”, очевидно, воспринималось в Новгороде XII в. как экзотизм и требовало специального пояснения. При этом слово **финикъ** в значении “финиковая пальма” было, конечно, хорошо известно – оно нередко зафиксировано уже в старославянских текстах (ССС: 758–759).

(556.22; Афан. Алекс. из 39 посл.) **Понже оубо нѣци начаша начинати [повѣсть дѣяти] себѣ глѣмаа тиннаа**. В греческом: Ἐπειδήπερ τινὲς ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαυτοῖς τὰ λεγόμενα ἀποκρυφα – “Поскольку некоторые начали сочинять для себя так называемые апокрифы...” Изысканное греч. ἀνατάξασθαι “составлять, сочинять”, переведенное не очень удачно как **начинати**, привело к тавтологии (**начаша начинати**) и потребовало вмешательства глоссатора.

(570.1; Дион. Алекс. 1) **Бл̄женаго Дионисиа архиеп̄спа [къ Василидоу] Александрьскааго – Тоу макаρίου Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας**. Синтаксически неоправданная вставка в слав. тексте обличает здесь маргинальный заголовок протографа, интерполированный затем в текст.

(649.7; Епиф. Кипр. О ересьх, 9) **примѣше Пентатехъ Мосѣовъ [рекѣше кѣнигы Ветѣхааго Завѣта]**. Любопытно, что слово **Пентатехъ** “Пятикнижие” глоссируется не совсем верно – книги Ветхого Завета не сводятся к Моисееву Пятикнижию, хотя Пятикнижие, бесспорно, составляет их ядро. Заимствование **Пентатехъ** (в ЕК имеется также орфографический вариант **Пентатѣвѣхъ** – 652.7–8) было, очевидно, не всем понятно в XII в., хотя и зафиксировано в Изборнике 1073 г. и в Богословии Иоанна Экзарха по списку XII–XIII вв. [СлРЯ XI–XVII вв., 14:193].

(701.12; Епиф. Кипр. О ересьх 101) [Сарацины] **прѣвратиша.. сѧ на елинство, поклонше сѧ дньници [рекѣше оутрънки звѣздѣ]** – προσκυνήσαυτες τῷ ἑωσφόρῳ ἄστρῳ. Данная глосса, возможно, восходит непосредственно к переводчику Синтамы XIV титулов, поскольку точно калькирует греческий оригинал. Термин **дньница** “утренняя звезда” с греческим соответствием ἑωσφόρος широко представлен в ст.-сл. книжности [SJS, 10: 542] – однако, переводчик все же решил подробнее объяснить его значение.

(713.16; Тим. Пресв. О способах принятия еретиков) **И се же глеть земли на стихии [рекѣше на съставѣ] носимѣ быти на рамѣ** – καὶ τοῦτο δὲ λέγουσι, τὴν γῆν ὑπὸ Σακλᾶ τινος βαστάζεσθαι ἐπὶ τοῦ ὄρου. В греческом тексте буквально стоит: “И говорят также следующее [манихей]: что землю держит на своих плечах некий Шакла”. Весьма любопытно внесенное при переводе изменение – космогонический персонаж манихейской мифологии Шакла<sup>6</sup> превращается под пером переводчика в философский термин **стихия**, который затем поясняется глоссой **съставѣ**. Подобное глоссирование изобличает в редакторе знатока классических богословских текстов, поскольку термин **съставѣ** (передающий греческие термины φύσις, ὑπόστασις, στοιχεῖον) известен с самого зарождения славянской письменности [SJS, 41: 338]. То же касается, впрочем, и термина **стѣхия** [SJS, 39: 197]. Представляется, что тенденцией правки в этих условиях была замена заимствований исконно славянскими терминологическими эквивалентами. Ср. следующий пример:

<sup>6</sup> Речь идет, вероятно, о воспитателе первой человеческой пары демоне Шаклоне (сир. Ašaklon) (Sundermann 1973: 74, Anm. 12).

(784.29; Собр. 87 глав; Нов. СХХIII.27) ...казнь пати литръ злата сътворити от вельѣпааго комита приватъ [рекъше сановъ] – ποιηὴν πέντε τοῦ χρυσοῦ λιτρῶν εἰσπραχθήσεται παρὰ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου κόμητος τῶν πριβάτων.

Византийский титул управляющего императорским имуществом или, попросту говоря, императорского казначея (κόμης πριβάτων, ср. [PGL: 1131]) переводчик, за отсутствием точного славянского эквивалента, передал заимствованием – редактор же попытался объяснить непонятное заимствование **приватъ** термином **санъ**, имеющим, вероятно, тюркское происхождение [Фасмер, III: 555], однако получившим широкое распространение в древнеславянском книжном языке. Представляется, однако, что смысл получившегося сочетания был ясен только его автору. В виде очень осторожной догадки мы можем предложить лишь следующее объяснение – слово **πριβάτος** уже в византийских текстах часто смешивалось с термином **πριμάς** [PGL: 1131] – в род.п. мн. числа разница между ними составляла лишь 1 букву: **πριβάτων** – **πριμάτων**. Термин **πριμάς** "глава церковной общины" вполне мог быть знаком глоссатору, который по ошибке *qui pro quo* протолковал один термин вместо другого. Только в этом случае термин **санъ** как соответствие греч. **πριμάς** имел бы право фигурировать в качестве глоссы. Из этого, а также того факта, что глосса точно передает род. пад. мн. числа оригинала, следует вывод, что глоссатор имел перед глазами греческий текст Синтагмы XIV титулов. Иными словами, данная глосса восходит не к писцам-редакторам, а непосредственно к переводчику.

(798.12; Собр. 87 глав; Нов. СХХХVII.1) о еѣспѣхъ н о попѣхъ повелѣ трѣзвльнвомъ и цѣломоудрьномъ быти... оучительномъ и непостыжномъ (вариант: непостижномъ) [въ всемъ неприкосновеномъ] нелукавыимъ (в последнем слове не вставлено). В греческом оригинале текст несколько иной: περὶ ἐπισκόπων ἐξέταξε καὶ πρεσβυτέρων, νηφάλους, σώφρονας εἶναι... διδακτικούς, ἀνεπιλήπτους τοῖς ποιηροῖς "(Апостол Павел) заповедал о епископах и пресвитерах, чтобы они были трезвенниками и благоразумными, ... наделенными даром учительства и безупречными в отношении постыдных деяний". Глосса к слову **непостижномъ** (равно как и переосмысление его посредством ложной этимологизации от корня **стыд-**) изобличает его невразумительность для читателя XII в.<sup>7</sup> Однако и сама глосса оказалась непонятой позднейшими переписчиками и уже до Ефрема была интерполирована в текст. Неясность полученного словесного конгломерата побудила Ефрема (или позднейшего редактора) переосмыслить и слово **лукавыимъ** – оно было истолковано как моральное качество епископа и, в соответствии с привнесенным смыслом, получило дополнение в виде приставки **не**<sup>8</sup>.

Итак, предварительное рассмотрение глосс ЕК показало, что писцы (зачастую выступавшие и как редакторы) достаточно свободно относились к тексту переписываемого памятника, адаптируя его посредством глосс и интерполяций к уровню читательского восприятия и к запросам юридической практики своей эпохи. Наличие в ЕК глосс разного уровня – от современных Ефремовскому списку до более древних,

<sup>7</sup> Любопытно, что и современным специалистам такие случаи не всегда понятны – ср. некорректное отнесение приведенной цитаты к слову **непостыжный** в одном из авторитетных исторических словарей русского языка [СлРЯ XI–XVII вв., 11:235].

<sup>8</sup> Греческому термину ἀνεπιλήπτος "безупречный" соответствуют в ЕК следующие славянские лексемы: **безазорьныи** (92.28; 148.1); **непостижимыи** (256.4; 741.4); **непостижныи** (**непостыжныи**) (564.13; 798.11); **непостыдынии** (698.30). Субстантивированному образованию ἀνεπιλήπτου соответствуют термины: **непорочьство** (88.10) и **постижение** (224.6). Очевидно, что попытка переводчика перевести греческое слово буквально (как производное от ἐπιλαβάνω "застигать, уличать") привела на славянской почве к некоторой неясности смысла, заставившей писцов приспособить этот невразумительный термин к своему пониманию – отсюда варианты **непостыжныи**, **непостыдынии**.

восходящих к утраченным звеньям рукописной традиции и даже к самому переводчику (переводчикам) показывает, что Синтагма XIV титулов в славянском переводе многократно переписывалась еще до XII в. Определенная тенденция пояснять византизмы исконно славянскими соответствиями говорит о том, что многие специфические заимствования из греческого языка не были общепонятны в XII в. Глосса **сѣставъ** обличает в безымянном редакторе знакомство с философско-богословской терминологией, восходящей к древнейшим славянским памятникам и очень широко применявшейся, в частности, Иоанном экзархом Болгарским при переводе "Богословия" Иоанна Дамаскина<sup>9</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бенешевич В.Н. 1905 – Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII в. до 883 г. СПб., 1905.
- Бенешевич В.Н. 1906–1907 – Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. I. Вып. 1–3. СПб., 1906–1907. (перезд. в серии *Subsidia Byzantina Lucis Opere Iterata*, IIb, Leipzig, 1974).
- Бенешевич В.Н. 1987 – Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. II. Подготовлен к изданию и снабжен дополнениями Ю.К. Бегуновым, И.С. Чичуровым и Я.Н. Шаповым. София, 1987.
- Буслаев Ф.И. 1861 – Историческая христоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861.
- Вялкина Л.В. 1964 – Сложные слова в древнерусском языке в их отношении к языку греческого оригинала (на материале Ефремовской кормчей) // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
- Максимович К.А. 1994 – Византийская практика публичного покаяния в Древней Руси: Терминология и проблемы рецепции // *Russica Romana*. V. I. 1994.
- Максимович К.А. 1996 – Каноны Трулльского собора в древнейшем славянском переводе Пандектов Никона Черногорца (Проблемы терминологии) // *Византийский временник*. Т. 56. М., 1996.
- Милов Л.В. 1980 – О древнейшей истории кормчих книг на Руси // *История СССР*. 1980. № 5.
- Обнорский С.П. 1912 – О языке Ефремовской кормчей XII в. СПб., 1912. (= Исследования по русскому языку. Т. 3. Вып. 1).
- Лихоя Р.Г. 1973 – К вопросу о времени перевода византийской Синтагмы XIV титулов без толкований в древней Руси // *Античная древность и средние века*. Т. 7. Свердловск, 1973.
- Розенкамф Г.А. 1839 – Обзорение Кормчей книги в историческом виде. СПб., 1839 (2-е изд.).
- СК – Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–23. М., 1975–1997.
- Срезневский И.И. 1899 – Обзорение древних русских списков Кормчей книги // *Сб. ОРЯС*. Т. 65. СПб., 1899.
- Срезн. – *Срезневский И.И.* Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1912.
- ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
- Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.
- Шапов Я.Н. 1978 – Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978.
- Щепкина М.В. и др. 1965 – Описание пергаменных рукописей Государственного исторического музея // *Археографический ежегодник за 1964 г.* М., 1965.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Пра斯拉вянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Т. 1–22. М., 1974–1995–.
- Aitzetmüller R. 1983 – Des hl. Johannes von Damaskus \*Εκθεσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes / Hrsg. von L. Sadnik. Bd. 4: Index und rückläufiges Wörterverzeichnis zusammengestellt von R. Aitzetmüller. Freiburg I.Br., 1983 (= *Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes*. Т. XVII(V. 4)).
- Jagić V. 1914 – *AfslPh*. 1914. Bd. 35. Rec.: С.П. Обнорский. О языке Ефремовской кормчей XII в. СПб., 1912.
- MMFH – *Magnae Moraviae fontes historici*. IV. *Leges. Textus Iuridici. Supplementa*. Brno, 1971.
- PGL – *A patristic Greek lexicon* / Ed. by G.W.H. Lampe. Oxford, 1961.
- SJS – *Slovník jazyka staroslověnského*. Seš. 1–. Praha, 1958–.
- Sundermann W. 1973 – *Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer*. B., 1973 (= *Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients*, 8).

<sup>9</sup> Ср. словоуказатель к этому памятнику, составленный Р. Айтцетмюллером к изданию Л. Садник [Aitzetmüller 1983].

© 1997 г. В. ДИТРИХ

## ОЧЕРК ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОГРЕЧЕСКОГО В СОПОСТАВЛЕНИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ИЗ НАРОДНОЙ ЛАТЫНИ

В данной статье в дополнение к моей книге [Dietrich 1995] отмечается прежде всего, что новогреческий язык в его историческом развитии из классического древнегреческого через эллинистическое койнэ и византийский греческий обнаруживает те же черты, что и возникнувшие из латыни романские языки. Основные грамматические, синтаксические и лексические особенности суть те же, что мы находим в разговорной латыни, вернее в народной латыни<sup>1</sup>, основе романских языков; а это — универсалии неофициального разговорного языка. Ниже будет показано, что историческое рассмотрение новогреческого важно не только для стандартного языка, но и для диалектов от Южной Италии до Малой Азии и Кипра. Здесь наблюдается большое языковое многообразие, заставляющее вспомнить разнообразие романских языков. Новогреческий стандартный язык (δημοτική) мы рассматриваем как один из обработанных вариантов существующих новогреческих диалектов, которые могут представлять со сравнительно-исторической точки зрения такой же интерес, как и стандартный язык<sup>2</sup>. Мы не можем обойти также обширную тему о влиянии разговорного греческого на народную латынь и, следовательно, на формирование романских языков.

### 1. Состояние исследований проблемы.

Едва ли возможно обойтись, хотя бы вкратце, без постановки вопроса. У грецистов подробно разработана история греческого языка, прежде всего ранняя. Такие авторы, как Бласс, Дебруннер, Тумб и Мейе, описывали эллинистический и библейский греческий; Психарис, Хатцидакис и особенно Триандафиллис продолжили исторические исследования новогреческого вплоть до XIX–XX вв., заложив основы неогрецистики. Исследование же греческого византийской эпохи и Нового Времени методами современной лингвистики пока остается желательным. Грецисты прежде всего никогда не рассматривали параллели, которые можно найти с романской точки зрения в развитии греческого и латинско-романского. Лишь немногие романисты сто лет тому назад делали отдельные интересные наблюдения, но всегда частные, т.е. относящиеся к отдельным фонетическим феноменам, не во взаимосвязи и на неудовлетворительном теоретическом и методологическом уровне. Можно назвать К. Дитриха как романиста [K. Dietrich 1904; 1906], Клаусена как грециста [Claussen 1905]. 20 лет спустя романист Г. Рольфс в связи с изучением следов греческого на юге Италии обратил внимание на некоторые общие черты в развитии греческого и романского [Rohlf 1947]. Начиная с шестидесятых годов Эугенио Косериу начал систематически изучать греческое влияние на народную латынь и подчеркивать

<sup>1</sup> Дитрих использует термин “Vulgärlatein”, который мы в соответствии с принятой традицией переводим как “народная латынь”. (Прим. перев.)

<sup>2</sup> В соответствии с современным положением дел в Греции и аналогично самоназванию всех современных языков мы называем “греческим” новогреческий и отделяем от него более древние периоды с помощью терминов “древнегреческий”, “среднегреческий”.

значение греческих элементов в романской языковой истории [Coseriu 1968; 1972]. В кругу этих работ находится также и моя диссертация о глагольном виде перифрастических конструкций в народной латыни и в романских языках [W. Dietrich 1973]. Фундаментальное исследование Михаяеску [Mihaescu 1966] о грецизмах в надписях бассейна Дуная от античности до византийских времен касается только лексики. Наши же интересы лежат скорее в области грамматических и синтаксических структур.

### **2.1. Историческое распространение греческого и латыни.**

Общеизвестно и не ново, что латынь на протяжении своей истории распространилась на более обширные территории, чем греческий, и не претерпевала в позднейшие времена таких ограничений в своем распространении, как греческий. Оба языка во времена Римской республики, в период Западной Римской империи, а также в начале византийской эпохи конкурировали в господстве над пространством вокруг Средиземного моря и в прилегающих областях. В общем, латынь уже в эпоху ранней империи была языком, господствовавшим в западной части государства, тогда как греческий преобладал на территориях к востоку от Греции, захваченных Александром Македонским, – Малой Азии, Сирии, Египте, Месопотамии и т.д. Кроме того, на восточных и североафриканских территориях греческий всегда был ученым языком высших слоев, греческими поселенцев и утвердился как язык общения. Он не распространился, подобно латыни на Западе, в качестве второго языка всех жителей этих областей в низших слоях населения, и не вытеснил их родного языка. Иными словами, “эллинизированные” области не были так основательно грецизированы, как позднее были романизированы романские страны. Какова же причина этого?

В отличие от романского языкового пространства, возникшая в результате походов Александра Великого экспансия греческого на Восток не послужила истоком вычленения различных новогреческих языковых образований, поскольку колонизация происходила иначе, а все завоеванные и подвергшиеся греческому влиянию территории были утеряны еще до возможного образования языков-потомков. К примеру, латынь распространилась в Испании (примерно в 200 г. до н.э.), когда язык еще не имел литературной нормы. Эта норма еще только разрабатывалась. Во время же александровской экспансии в греческом мире возникло койнэ, т.е. внедиалектная, нивелированная, уже разработанная типическая форма языковой колонизации, которая могла быть построена на основе фиксированной классической нормы. Эта традиция, принесенная в Малую Азию, Месопотамию, Персию и Египет, сохранялась в византийский период. Отсутствовала политическая раздробленность и связанная с ней обособленность языков, как в западных областях после падения Рима. Формирование диалектов в древнегреческих колониях в Сицилии, Южной Италии, Фракии, и вокруг черноморского побережья (Крым, Меотиды, Колхида, Понт<sup>3</sup>) не приводило к возникновению отдельных долговечных государств. Боспорское царство в Крыму и царство Понт вскоре попали в подчинение Рима, затем Византии – (Константинополя), образовавшейся со временем на обломках Рима. Уже в государстве Селевкидов, как и в Риме и в Византийской империи, имели место контакты и тесные связи, благодаря администрации и армии. Региональные варианты греческого, а именно понтийский и каппадокийский, в восточной Малой Азии кипрский, критский, эпирский, не имея политического или литературного престижа, не могли превратиться в самостоятельные языки.

Важную причину того, что “грецизация” Востока не достигла уровня романизации Запада, можно видеть в том, что эта грецизация никогда и нигде не имела такой глубины и того неуклонного распространения, интенсивности и длительности, как романизация в латинском языковом мире. Хотя администрация в эллинистических государствах была хорошо организована, и все высшие должности были заняты греками, грецизация в сущности затронула только высшие слои общества. В начале

<sup>3</sup> Меотиды – побережье Азовского моря (Меотийского озера античности), Колхида – Закавказье, Понт – южное побережье Черного моря. (Прим. перев.).

эпохи Рима привлекательность государств диадохов очень ослабла, и заселение греками Малой Азии, Персии и Египта, которое было очень интенсивным в первую фазу существования эллинистических государств, почти прекратилось. В Византийской же империи ни гражданская, ни военная власть не были так строго организованы, как в Риме<sup>4</sup>.

Но и после разделения государств в 395 г. латинский оставался в Восточной Римской империи вплоть до Юстиниана I (527–565) официальным языком администрации. Фактически же латынь всегда была вторым языком после греческого, и говорившие на ней чувствовали свое культурное превосходство. С другой стороны, грекоговорящие ромеи (восточные римляне<sup>5</sup>) не стремились к грецизации негреков путем устройства школ. Кроме того, внутри тех стран, где греки оставались по преимуществу жителями побережья, не было значительных греческих поселений. Отдельные городские центры, будь то Александрия в Египте, Херсонес в Крыму (Херсон)<sup>6</sup>, Антиохия в Сирии (современная турецкая Антакья) или Лаодикея (современная Аль-Ладхкия) на сирийском побережье были, конечно, по преимуществу греческими или сильно грецизированы, но греческие анклавов во внутренней Малой Азии были плотно окружены иноязычным населением. Греки жили в меньшинстве среди других народов. Поэтому греческий в эллинистических колониях был прежде всего языком образования и межэтнического общения, использовавшимся вместе с аборигенными сирийско-арамейским, коптским, армянским, грузинским, латынью, а также фракийским и фригийским языками. Позднефригийский и галатский (кельтский) в Центральной Анатолии засвидетельствованы еще в IV в. н.э. [Koder 1984: 137]. Евреи в Палестине оказывали особенно ожесточенное сопротивление эллинизации. Насколько же греческий был распространен как язык межэтнического общения – остается неясным. Апостол Павел, еврей, принадлежавший к диаспоре Тарса в Киликии, очевидно, говорил по-гречески лучше, чем по-арамейски. Однако Иосиф Флавий, автор “Иудейской войны” (после 70 г. н.э.) пользовался при ее написании помощью одного этнического грека.

Кроме того, не сформировался единый язык церкви, т.к. в Византии (Константинополе) существовали региональные языки (сирийско-арамейский, коптский, армянский и славянский). Это свидетельствует о весьма малой централизующей силе греческого культурного пространства. Греческий язык сыграл огромную роль в качестве культурного адстрата, но он не стал зародышем новых автономных языков и культур.

## 2.2. Историческая редукция греческого языкового пространства.

В отличие от романских стран на западе, область греческого влияния довольно рано редуцировалась: значительная часть региона попала под влияние иных культур. В течение существования Византийской империи арабами в 636 г. была захвачена Сирия, в 639 г. – византийская Месопотамия [Browning 1983: 53], в 641 г. началось арабское вторжение в Египет, который после падения Александрии в 646 г. был совершенно потерян для греческого влияния. Одновременно была захвачена Северная Африка, возникла угроза и для Малой Азии, а также Кипра. Позднейшее же временное возвращение некоторых территорий не смогло возместить языковой и культурной потери. Византийские владения в Италии были утеряны над натиском лангобардов и могли оставаться в Равеннском экзархате только до 752 г. Греческое уступило здесь романскому. То же произошло и с византийскими областями на Юге Италии, которые из-за борьбы с арабами фактически сделались независимыми и частично утратили свой язык [Browning 1983: 54], однако, как показал Рольфс [Rohlf]

<sup>4</sup> Диоклетиановское централизованное управление с начала IV в. было в VII в. заменено на провинциальное управление Гераклеем. Оно привело к ослаблению центральной власти и к усилению феодальных структур в средневизантийскую эпоху.

<sup>5</sup> Ромеи – самоназвание византийцев. (Прим. перев.).

<sup>6</sup> Херсон был основан Екатериной II не в Крыму, а в устье Днепра. Херсонес же находился в окрестностях Севастополя. (Прим. перев.).

1977: 212], эти области в определенной мере сохранили свой язык до наших дней (в Саленто и южной Калабрии); на северном побережье Сицилии это положение сохранялось до XI–XII вв. О греческом языке в Сардинии, прежде всего в окрестностях Ольбии, мы знаем меньше.

В 585 г. византийская провинция Испания, которая уже давно была романизована, была захвачена вестготами. В середине VI в. славянские народы вторглись из бассейна Дуная на Балканский полуостров, опустошили большую часть Греции, но частично остались в ней в качестве постоянных жителей (в низменности вокруг Фессалоник, в средней Греции и в Пелопоннесе, особенно в нижней долине Эвроты). Названия местностей указывают на значительные славянские поселения в качестве суперстрата и адстрата [Weithmann 1978: 150–164]. Греческая часть северных Балкан, а именно античная Мёзия, стала болгарской, Дардания – славянско-македонской, часть южной Иллирии – сербской [Browning 1983: 54]. Как и в языках других территорий, бывших ранее греческими или грецизированными, в сербском, болгарском, особенно в славянско-македонском продолжают жить греческие элементы в качестве субстрата<sup>7</sup>. И наоборот, греческий заимствовал многочисленные славизмы с ранних времен славянского вторжения [Weithmann 1978: 165–170]. Греческие прибрежные города в Тавриде (Крым), а именно Херсонес Таврический вблизи нынешнего Севастополя, Евпатория, Ялита (Ялта), Алустон (Алушта) и Пантикапей (Керчь) процветали во времена Боспорского царства (с 480 г. до н.э.), а с 108 г. до н.э. вошли в состав Понтийского царства Митридата IV Евпатора. В этом качестве они с 17 г. до н.э. по III в. н.э. попали под римское владычество. После нападений гуннов, хазар и половцев они, начиная с V в., могли с большим трудом существовать под номинальным византийским господством в VI–XII вв. Наиболее жизнеспособным оказался Херсонес, сохранивший греческие элементы и после захвата его Киевской Русью, вплоть до разрушения татарами в конце XIV в.

К концу XI в. греческое языковое пространство уменьшилось еще и потому, что большая часть Малой Азии попала под господство сначала турок-сельджуков, потом османов; в 1453 г. пал Константинополь и ядро Греции вместе с Пелопоннесом оказалось под турецким владычеством [Browning 1983: 69]. Конечно, греческий оставался здесь родным языком большинства населения, как и на ионийском побережье Малой Азии, где с древности укоренились большие греческие колонии, а также частично в Стамбуле. Отдельные прибрежные зоны Малой Азии сохранялись под местным господством как изолированные области греческого, к примеру, северное побережье от Синопа к востоку до Трапезунда (Трабзона), т.е. Понт, с несколькими долинами в Грузии. Здесь благодаря изоляции возникли обособленные греческие диалектные зоны [Browning 1983: 69]. Только в результате большого переселения (“возвращения”, Απαλλαγῆ) греков из Понта, Каппадокии, Стамбула и с ионийского побережья после Первой мировой войны (1922–1923) греческий совершенно исчезает с турецкой земли и областей Кавказа, и остается только в очень замкнутом ареале Республики Греция, Кипра, национального меньшинства в северной Албании и калабрийских, а также салентийских языковых островках; уменьшение греческого населения в пространстве между Бердянском и Мариуполем (Украина) на северном берегу Азовского моря свидетельствует о том, что выселенцы в последние годы не только стремятся вернуться в Грецию, но и осуществляют это.

### **3.1. Современные греческие диалекты: западные и восточные диалекты.**

Членение греческих диалектов спорно. Одним из возможных критериев для классификации является сохранение/выпадение конечного *-n* в существительных среднего рода древнего класса *-ο* (τό παιδίον vs. τό παιδί). По этому основанию диалекты разделяются на две большие группы – западную, прогрессивную (с отпадением *-n*) и восточную, консервативную (с сохранением *-n*). Обе восходят к эллинистическому

<sup>7</sup> О морфологических и синтаксических контактных влияниях см. работы по балканскому языковому союзу, например [Sandfeldt 1930; Solta 1980].

койнэ, являясь в основном продолжением древнегреческого аттического диалекта с некоторыми ионийскими и в меньшей степени дорийскими элементами. Линия раздела восточных и западных диалектов проходит недалеко от 24° восточной долготы. Третью группу составляет цаконский диалект, происходящий из древнего лаконского дорийского диалекта Спарты. Возможно, имя “цаконы” происходит от древнего “лаконы”.

Диалектное начало выглядит следующим образом:

А. Западная группа:

а) диалекты, являющиеся основой новогреческого койнэ: пелопоннесский, среднегреческий, кикладо-критский;

б) сильно отошедшие диалекты: гептанезийский (ионийские острова: Корфу [Κέρκυρα], Паксос [Παξοί], Левкада [Λευκάδα], Итака [Ιθάκη], Кефалония [Κεφαλληνία, Κεφαλλονία], Закинф/Занте [Ζάκυνθος], Кифера [Κύθηρα]); эпирский, фессалийский, македонский, фракийский;

в) еще сильнее отличающиеся нижеиталийский (Бова/Калабрия), салентинский (южная Апулия)

Б. Восточная группа:

а) додеканезийский (между Карпатосом и Родосом на юго-восток через Кос, Калимнос и Патмос до Икарии на северо-западе) с включением более северного Хиоса;

б) кипрский (киприотский);

в) малоазийские:

– понтийский (до 1922 г. Около 800 селений в Понте, т.е. на черноморском побережье Турции между Ионополисом/Инеболи (турецк. Инеболу)<sup>8</sup> на севере через Синопу (турецк. Синоп, родной город философа-киника Диогена), Амасис (турецк. Самсун), а также в районе), южнее от него – Амасея (турецк. Амасия, столица Понтийского царства и родной город Страбона), Ойнайя (турецк. Юнье), Керасунта (турецк. Гиресун), Котьора (турецк. Орду) – до Трапезунда/Требизонда (турецк. Трабзон) на востоке. Ниже Трапезунда был имевший большое значение Аргируполис (тур. Гююшхане); понтийские селения были также восточнее, в Ризайо (тур. Ризе) и Батуми (ныне южная, аджарская часть Грузии), также в (ранее армянской) провинции Карс в Турции и в Колхиде (Западная Грузия).

– каппадокийский (до 1922 г. 20 деревень [предположительно – выходцы из Понта – горцы) вокруг старого Назианза (греч. Ναζιανζος), т.е. восточнее Туз Гёлю, между Аксарам (провинция Нииде) и на западе, между Невшехиром на востоке и Хасангорой (греч. Αρυσιος) на юге. Кроме того, в 1922–1923 гг. имелось два небольших грекоязычных анклава вокруг Силле в Ликаонии (греч. Σίλλη, в непосредственной близости к Конья, греч. Иконии, так называемый силиотский) и вокруг Фараса в Анти-Тавре восточнее Нииде. Эти диалекты формировались прежде всего в течение столетий турецкого завоевания и крестового похода благодаря разрыву хозяйственных связей, т.е. в типичной для языковых меньшинств ситуации<sup>9</sup>. В настоящее время понтийский и каппадокийский находятся в материковой Греции и испытывают угрозу со стороны стандартного греческого. Сравнительно хорошо исследованный понтийский [Паπαδόπουλος 1955; 1961; Οικονομίδης 1958; Τομπαιδης 1988] содержит возможные следы древних диалектов, более архаичных, чем койнэ, например, переход  $h > e$  (νύφε “невеста” < νύμφη “нимфа”, πλερώνω вместо πληρώνω “я насчитываю”). Сильная тенденция к синкопе (напр. χοράφ вместо χοράφι “земледелец”, κλέφτ’ς вместо κλέφτης “вор”, θέлт’ς вместо θέλεις “ты хочешь”) может быть приписана субстратному влиянию абorigенных анатолийских языков [Τομπαιδης 1988: 259].

В. Цаконский диалект: 9 деревень восточнее парнонских гор на восточном берегу Пелопоннеса.

<sup>8</sup> Ср. *Istanbul* < греч. στην Πόλις).

<sup>9</sup> Ср. [Τομπαιδης 1986: 41]. Иное мнение высказывает Браунинг.

### 3.2. Северные и южные диалекты.

Другая возможность группировки диалектов состоит в разделении их на северные и южные [Meillet 1938: 317]. Это различие восходит к византийским временам и проявляется в трактовке безударных гласных. В северной группе безударные *i, u* исчезают, тогда как *e, o* переходят в *i* и *u*: *va φυλάξεις* предстает как *va φλάξι*, *κερδέρμενος* – как *κερδιέρμενος*, *χαίρεται* как *χέρτι*. В лесбийском существует высокостильное *ελευθερία* и народное *λευθερία* “свобода” как *liftirjá*, др.-греч. *έλεγε* “он сказал”, диалектное *ήλεγε* как *iliji* [Kretschmer 1905: 65]. Благодаря падению безударных /i/ и /u/ в северных диалектах возникает скопление согласных, невозможное в южном греческом. Ср. лесб. [Pnats,] = др.-греч. *πινάκι* “доска для записей”, [pslos] = др.-греч. *ψιλός* “тонкий, нежный”, [a'pšlos] = др.-греч. *ύψηλός*, др.-греч. *ψηλός* “высокий”; [tslo] = др.-греч. *κυλω* “я кружу, вращаю”, [vno] = др.-греч. *βουνό* “гора”, [ˈdlengu] = диалект *δουλενω* “я работаю”; [dla] = др.-греч. *δουλειά* “работа”, [iˈsi h ˈskon, s] = др.-греч. *έσύ του σηκώνεις* “ты, который поднимаешься” [Kretschmer 1905: 73; 84]. Эти звучания напоминают основанные на ярком контрасте между ударными и безударными скопления согласных в европейском португальском, особенно после выпадения /e/, и в североитальянских диалектах за исключением лигурского и вентского. Ср. в эмилианском *aspter* < *aspectare*, *sbdel* < *hospitale*, *stmena* < *septimana*, *zrisa* < *ceresea*, *vsen* < *vecinu*, *fnoc* ‘finocchio’ [Coco 1970: 36–38].

Изоглосса (по Браунингу) проходит следующим образом: вниз к берегу Эпира и Акарнании, затем вдоль Коринфского залива, поперек Истма, вдоль границы северных гор Аттики, к югу от Эвбеи через середину Андроса, к северу от Икарии и югу от Самоса (но не включая Хиос), и так к побережью Малой Азии, оставляя к западу и югу ионийские острова, весь Пелопоннес, Аттику и большую часть Киклад [Browning 1983: 120–122]. Таким образом, к северной группе принадлежат среднегреческий, гептанезийский, эпирский, фессалийский, македонский, фракийский, понтийский и каппадокийский. Благодаря легко выделяемой изоглоссе, эта группа характеризуется еще и тем, что не прямое дополнение к ней выражено аккузативом (*σέ δίνω* “я даю тебе”), в то время, как южная группа, к которой относится и стандартный греческий, использует генитив/датов, а также перифрастическое выражение *с σ* (*του αδελφού*, также *στου αδελφó* “брату”).

Синтаксис северных диалектов этим отчасти напоминает сельский испанский Пиренейского полуострова, в меньшей степени латиноамериканский, в котором объектное местоимение женского рода (*la*) в форме прямого дополнения обозначает не прямое дополнение вместо ожидаемого местоимения непрямого объекта (*le*), к примеру *la doy el libro*. Но там эта морфологическая особенность служит для различения рода (*la doy el libro* vs. *le doy el libro*), но не для синтаксического различения, т.к. прямой объект легко определяется контекстом.

К южной группе, где безударные гласные сохраняются и не становятся закрытыми, относятся пелопоннесский (и вместе с ним стандартный греческий), кикладокритский, додеканезский (включая Хиос), кипрский и италогреческий. Цаконский в любом случае обособлен.

## 4. Проблема определения народной латыни.

### 4.1. Понятие народной латыни.

Для того чтобы взвешенно оценить развитие греческого языка с романской точки зрения, необходимо решить, можем ли мы наряду с понятием народной латыни как источника всех романских языков постулировать понятие “народного греческого” для греческого византийского или Нового времени, т.е. XIX в., т.к. греческая демолика происходит не из зафиксированного письменного языка классического, эллинистического или византийского периода, – в противном случае обстоятельства истории греческого языка были бы совсем иными. Проблематика понятия “народного греческого” нами осознается именно поэтому; лежащее же в основе “народной латыни” народное здесь находит соответствие в параллельном понятии *δημοτική*.

Для правильного исторического понимания возникновения романских языков обстоятельное исследование так называемой народной латыни вообще и ее отдельных особенностей в частности является по общему признанию чрезвычайно плодотворной. Все заключается в том, чтобы не рассматривать это понятие с точки зрения старых латинистов как позднейшее развитие, как “уже не правильную латынь”, как “испорченную латынь” авторов низшего качества в литературном смысле, но, глядя глазами романиста на живые романские языки, принимать эту латынь как их источник, как типологически иную, новую латынь, как спонтанную латынь, которая отвечала потребностям общения всех граждан Римского государства во всех неформальных речевых ситуациях. В этом случае то, что связано с термином “народная латынь”, выступает не как исторически существовавший язык в определенном месте или области, в определенное время и в устах определенной народности, но как обобщенное понятие, просто противостоящее кодифицированному языку (классической латыни) и обладающее множеством разновидностей способов выражения с помощью диатопических, диастратных, диахронических вариаций внутри самой латыни. Другим подходящим наименованием могла бы быть “спонтанная латынь” (всех разновидностей). Но этот термин был бы ограничен во времени, в течение которого существовало противостояние модели нормированного языка и не было еще никаких признаков формирования романских языков, т.е. в период от 100 до 400 г. н.э. [Coseriu 1954].

В этой концепции романистики народная латынь – живой язык, т.е. изменяемый, подверженный языковой эволюции, в то время как письменный язык следует унаследованной, в принципе неизменяемой норме, и поэтому он мертв. Но в историческом аспекте нельзя утверждать, что сначала возникла классическая латынь, а затем уже сформировался противостоящий ему спонтанный язык, и народная латынь должна быть поздним продуктом времени упадка Римской империи. В любом случае следует принять, что неформальный разговорный язык развивался в самый ранний период Римского государства и всегда характеризовался универсальными признаками любого разговорного языка. Но мы плохо знаем этот разговорный язык, потому что мы пользуемся только письменными источниками, которые подчиняются универсальным законам вновь используемого языка [Lausberg 1969: 30]. В историческом развитии письменный язык лежит как покрывало на живом, но угасающем в речевом акте спонтанном языке, и позволяет ему лишь изредка проявляться в тексте. Вначале они еще развиваются параллельно, но так только письменный язык обретает свой классический облик, и становится неизменной моделью для позднейшего времени, он застывает, тогда как спонтанный язык продолжает неконтролируемо развиваться и изменяться. Когда же расхождение между двумя разновидностями языка становится очень большим, мы можем говорить об отношениях диглоссии подобно тому, как мы сегодня знаем о противостоянии “*bon usage*” классического французского, служащего по сей день образцом, и французским обиходным языком, или же базирующегося на “Трех Коронах” тринадцатого столетия (Данте, Боккаччо, Петрарка) упорядоченного литературного итальянского и разнообразных нынешних “региональных итальянских”. Совершенно особо развивалась диглоссия *кафаревуса* и *демотикі* в Греции XX в. до 1974 г.<sup>10</sup>; и она была таковой, начиная с первых веков н.э. до конца Византийской империи – аттицизма как литературного, официального и административного языка и разговорного обиходного языка.

#### 4.2. Характеристика народной латыни

Спонтанность народной латыни заключается в следующих чертах. Она характери-

<sup>10</sup> Кафаревуса, вышедшая из официального употребления с 1974 г., тем не менее, продолжала еще по крайней мере несколько лет использоваться в торжественных случаях. Автор этих строк сам слышал в сентябре 1979 г. выступление греческого посланника на кафаревусе (по случаю национального праздника Греции, так называемого Дня Охи). (Прим. перев.).

зутся большей простотой плана выражения, семантически – по отношению к грамматическим категориям [исчезновение определенных глагольных форм, как, например, герундива, активного причастия будущего времени, футурального инфинитива и активного перфекта, медиальных отложительных глаголов (*morio* вместо *morior*), а также и пассива наст. времени; падежных окончаний, среднего рода], морфологически – благодаря исчезновению сложных моделей склонения и спряжения; синтаксически – благодаря развитию простой и ясной модели предложения (главные предложения в паратаксисе, в гипотаксисе – относительные, причинные предложения, простые временные предложения с *quando*, условные предложения с *si*, но с исчезновением дополнительных, субъектных, также уступительных и сравнительных предложений). Кроме того, спонтанный язык имеет или создает ясное и, с другой стороны, преувеличенно аффектированное средство выражения. В народной латыни образование составных времен (перфект, плюсквамперфект/*trapassato prossimo*, *passé antérieur*/*trapassato remoto*) служат созданию грамматической ясности, как и новообразование будущего времени и кондиционаля, использование предлогов (изначально составных: *de ab ante*, ср. франц. *devant*, итал. *davanti*) для выражения падежей.

Большой определенности и ясности текста служит также формирование определенного и неопределенного артиклей. С этим связано и образование сравнительной степени с *magis* или *plus*, наречия на *-mente*, замена числительных-наречий (типа *semel*, *bis* и др.) на семантически прозрачные конструкции *una vices/una volta*, *duo vices/duae voltae* и т.д., и использование внешнего, т.е. образованного синтаксическим способом пассива типа “*ess/venire* + перфектное пассивное причастие + *per/de ad* + агенс” в случаях, когда субъект должен быть предметом высказывания о причиненном им действии, что, в свою очередь, не всегда является целью высказывания. Если же первоисточник остается во мраке, используется конструкция с возвратным местоимением (*se dicit* вместо высокостильного *dicitur* “говорят; говорятся”).

Все эти примеры указывают на одно: перед нами аналитический строй, оперирующий внешними, ясными грамматическими средствами, тогда как письменный язык сохраняет унаследованные внутренние, т.е. располагающиеся в самом слове грамматические средства, менее наглядные в качестве связанных морфем, т.е. более абстрактные. Со временем на этой основе развились новые формы литературного языка и различных способов выражения, но на других типологических основаниях по сравнению с традиционной концепцией, когда ошибочно исходным пунктом романских языков считается латынь.

Аффективность и обратное мышление проявляются прежде всего в лексических предпочтениях, противостоящих некоторым высокостильным, но семантически бледным словам классического языка: *testa* вместо *caput*, *manducare* или по крайней мере *comedere* вместо *edere*, *compre(he)ndere* или \**capire* (заменившее *capere*) вместо *intellegere*, *plorare* или *plangere* вместо *flere*, *adripare* или (*vela*) *plicare* вместо *advenire* или *proficisci* (ср. румын. *a pleca* “уходить”), *parabolare* или *fabulare* вместо *loqui*, *auricula* вместо *auris*, *bellus* или *formosus* вместо *pulcher*.

#### 4.3. Понятие народного греческого.

Есть ли аналогичные разговорные явления в греческом, и если да, то, с какого времени? Обосновывают ли они понятие “народного греческого”, который может быть только реконструирован, подобно народной латыни, т.к. у него не может быть письменной формы? На первый вопрос следует однозначно ответить утвердительно<sup>11</sup>. Параллели здесь бросаются в глаза. Начиная с эллинистического времени можно предполагать дифференциацию языка официального, по преимуществу письменного, и спонтанного, письменного, которая усилилась в византийское время и реализовалась в выраженной диглоссии. Народный или, лучше, спонтанный греческий отличается от

<sup>11</sup> К. Дитрих [Dietrich 1906: 81; 1971: 71] также говорит о “vulgär-κοινη”.

народной латыни в отношении хронологии и документации, что переводит вопрос его реконструкции в другую плоскость. Некоторые основополагающие изменения древнегреческой языковой системы возникли уже в эллинистическом койнэ, в частных письмах на египетских папирусах, как и в ранних библейских и апокрифических текстах. Другие фиксируются впервые в поздневизантийское время, но, возможно, имеют более древний возраст. Реконструкция приобретает глубокий смысл и убедительность, если определенное явление встречается не только в стандартном языке, но и в отдельных диалектах, к примеру, в понтийском, каппадокийском или в италогреческих говорах. Если же нет, подобно результативному перифрастическому перфекту с  $\acute{\epsilon}\chi\omega$  + инфинитив аориста (в сокращенной форме, ср.  $\acute{\epsilon}\chi\omega$   $\gamma\rho\acute{\alpha}\psi\epsilon\iota$  “я (к настоящему моменту) написал”), не засвидетельствованному в малоазиатских и южноиталийских диалектах [Rolfes 1977: 196], то форма не является древней, т.е. не может появиться ранее 1000 г. н.э.

Реконструкция народного греческого в теоретическом аспекте менее разработана, чем реконструкция народной латыни, поскольку в случае греческого имело место гораздо более явное непрерывное развитие. Эпоха всеобщей раздробленности и изоляции от нормирующего центра в греческой языковой области была по причине длительности византийского господства гораздо короче, чем на Западе, где романские языки развили отличающие их от латыни особенности с 100 по 450 г. н.э. Единство же греческого распалось только в конце византийского владычества в Южной Италии (IX в.) и прилегающих областях Малой Азии<sup>12</sup>. Такие исследователи, как Рольфс [Rolfes 1977, 218–220], подчеркивают, что названные регионы (Южная Италия и Понт), оказались сравнительно рано независимыми от метрополии и сохранили поэтому множество особенностей довизантийской эпохи, к примеру, полное сохранение в синтаксисе утерянного в других областях инфинитива (см. ниже, 5.3.). Другие грекоязычные регионы – Кипр, Северная Греция и такие острова, как Лесбос и Крит, – никогда не были изолированы в течение длительного времени от официального языка. Их можно назвать периферийными, и поэтому в них развились только отдельные особенности. Развившиеся же черты центральных диалектов, на которых основан стандартный греческий, т.е. южногреческий Пелопоннеса, документированы с византийского времени и хорошо представлены в народной поэзии. Поэтому они не нуждаются в реконструкции.

### **5. Языковые изменения в период от эллинистического койнэ до новогреческого.**

В следующем разделе будут изложены основные звуковые, грамматические, синтаксические и лексические изменения, характеризующие развитие новогреческого по сравнению с классическим древнегреческим. Мы не можем здесь говорить подробно, не выходя за рамки статьи, о каждой отдельной эпохе истории греческого языка – об эллинистическом койнэ, византийском греческом, в котором основополагающие новшества койнэ получили дальнейшее развитие, об особенностях языка во время турецкого владычества и об образовании новогреческого со времени независимости Греции в XIX в. вплоть до отмены кафаревусы и окончательного утверждения народного языка в 1974 г.<sup>13</sup> Следующие факты не новы, но они рассматриваются здесь с новой, романистической точки зрения.

<sup>12</sup> Согласно Браунингу [Brauning 1983: 130], понтийский, возможно еще задолго до вторжения сельджуков в XII в. в Малую Азию, – во время арабского вторжения в VII–VIII вв. или даже в период зависимости от Персии в VI в. уже отделился от византийского греческого.

<sup>13</sup> Об этом см. [W. Dietrich 1995, гл. 5] с дальнейшей литературой. Принципиальные и для нашего обзора вопросы об образовании греческого национального языка, которые являются сопоставимыми с итальянским “questione de la lingua” составляют отдельную, не рассматриваемую здесь тему. Сопоставимо с историей французского и итальянского языка то обстоятельство, что в случае греческого можно наблюдать следующее явление: пелопоннесский является образцовым диалектом, который в противопоставлении всем остальным почти лишен индивидуальных особенностей, подобно тому, как диалект Иль де Франс противопоставлен пикардийскому или лотарингскому, а тосканский – лигурийскому или венецианскому с одной стороны, неаполитанскому и тосканскому – с другой.

## 5.1. Звуковые изменения.

В системе гласных обнаруживается меньше параллелей в народной латыни, чем в системе согласных. Начиная со второго столетия до н.э. в греческом обнаруживается утрата противопоставления гласных по долготе, но это не приводит к развитию нового качества гласных, как в народной латыни (ср. *bucca(m)* “надутая щека” > н.-лат. *bocca* > итал. *bocca*, испан. *boca* “рот”, франц. *bouche*; *site(m)* “жажда” > н.-лат. *sete*, рум., итал. *sete*, испан. *sed*, порт. *sede*, франц. *soif*). Как в сардинском и сицилийском, т.е. в зонах с сильным греческим субстратом и/или адстратом [Lausberg 1969: 149], в самом греческом, как и во всех его диалектах, не происходило дифтонгизации безударных гласных. Как и в латинском, все нисходящие дифтонги здесь монофтонгизировались, так что *ei* > [i], *ai* > [e] довольно рано, в то же время *oi* и *u* [y] совпали и в X в. н.э. превратились в [i] по закону итацизма. Превращение η [e:] > [i] известно также в южноитальянских областях, находившихся под греческим влиянием (большая часть Калабрии, Южная Италия и Сицилия): σήμερον [se:meron] > [simeron] “сегодня” подобно сицилийскому *stilla* по сравнению с лат. *stella* “звезда”. Дифтонги *eu*, *au* развили свой полугласный путем девокализации в соответствующий фрикативный [v], т.е. превратились в монофтонги с консонантным дополнением, и это произношение уже в византийское время воспринял славянский мир, ср. *Маврикий* < Μαυρίκιος, *Кавказ* < Καύκασος, *Евгений* < Εὐγενίος, *Европа* < Εὐρώπη.

Очень значимо для дальнейшего развития языка (в частности, и для морфологии) возникшее в ранневизантийское время падение безударного начального гласного (афреза): ἔρωτῶ > ρωτῶ “я спрашиваю”, εὕρισκω > βρισκω “я нахожу”, ὀλίγος > λίγος “маленький”, ὕψηλός > ψηλός “высокий”, οὐδέν > δεν “не”, ὡσαύτῃ > σαν “как”, αὐτοῦ > του “его (собственный)”, αὐτῆς > της “ее (собственный)”, αὐτόν > τόν “его” (местоимение прямого дополнения). Это чисто греческое явление, не находящее параллелей в романских языках. Оно распространилось в материковом греческом, как и в италогреческом, и захватило также аугмент в прошедших временах (ср. ἔγραφα “я писал” с аугментом под ударением, но γράφαμε “мы писали” – без аугмента, т.к. аугмент здесь был безударен). В остальных периферийных районах (Понт, Крит, Родос) афреза менее выражена, и аугмент сохраняется.

Но сравнимо с народнолатинским передвижением акцента на более сильно звучащий, открытый гласный в зиянии после /i/, которое превращается в образовавшемся дифтонге в /j/. Как *mu'liere* превращается в \*[mu'ljere] (> др.-франц. *moiller*, порт. *mulher*, исп. *mujer*, *fi'liolu* > \*[fi'ljolu] (> франц. *filleul*, итал. *figliuolo*), *lin'teolu* > \*[len'tjolu] (> франц. *linceul*, итал. *lenzuolo*), так же и греч. καρδιά > καρδιά “сердце”, χωρío > χωρίο “деревня”, σχολείο > σχολεῖο “школа”, ὄποιος > ποῖος [pjos] “какой”, πλέον > \*πλο > πλό [rjo] “больше”. Это развитие особенно морфологически релевантно для именной флексии: χέρι “рука”, род.п.ед.ч. χερῖοῦ (χε-ρίου), им./вин.п.мн.ч. χέρια; παιδί “ребёнок”, род.п.ед.ч. παιδιού, соответственно им./вин.п.мн.ч. παιδιά. Зияние, репрезентирующее старое языковое состояние, сохранилось в понтийском, каппадокийском, италогреческом и на Эгине. Кроме того, оно является признаком высокого и технического языка, так что общераспространенное καρδιά противостоит высокому φιλολογία, ἀρμονία, βασίλεια “царство”. В романском ударение на -ia- является типично “греческим” (ср. порт. *academia* [i] в оппозиции к испан. *academia* [-'emja], итал. *farmacia* [i] в оппозиции к испан. *farmacia* [-'aɟja]). Славянский в этом плане консервативен, поскольку он сохраняет греческую двусложность, ср. русск. *академия*, *Мария*.

5.1.2. В области гласных /h/ исчезло, как позднее в латыни. Звонкие /b, d, g/ в период койнэ превратились в щелевые /b, d, g/. В романской области параллель этому находится только в западных языках, но только в интервокальной и на совершенно разных основаниях. В кельтской латыни такое развитие проходило на почве синтагматической фонетики как влияние субстрата. В греческом же это явление наблюдается как в середине, так и в начале слова. Параллели находятся только для

старого /b/ в области греко-латинских контактов в Южной Италии (ср. *bucca* > *vocca* [Lausberg 1964: 6]), для /d/ же только в инлауте (ср. *pede* > *pede* [Rolfes 1966: 295]). В византийское время из комбинации с гомогенными носовыми сонантами появлялись новые звонкие смычные: ⟨μπ⟩ /b/, ⟨ντ⟩ /d/, ⟨γκ⟩ /k/ благодаря деназализации прежних предшествующих носовых. Изначальные аспираты /ph/, /th/, /kh/ в койнэ превратились в глухие фрикативы /f, θ, χ/ и сохраняются в этом качестве в стандартном языке до нынешнего дня. Как в западороманских языках под влиянием кельтского субстрата сократились долгие латинские согласные, превратившись в звонкие, и став фрикативными<sup>14</sup>, так и в греческом долгие согласные сократились (ἄλλος /'allos/ > /álos/). Когда именно это произошло при переходе койнэ к новогреческому, неясно из-за традиционной орфографии. Дальнейшие изменения, например, многочисленные палатализации в стандартном языке (и еще больше в диалектах) скрыты консервативной орфографией. Писцы времен Карла Великого понимали проблему письма как дистанцирование от латинской традиции, вследствие чего каждый язык развил свою письменную традицию, например, для обозначения новой фонемы /l/ < /ll/ перед /i/ в зиянии (ср. итал. ⟨gli⟩ в *figlia*, катал. ⟨ll⟩ в *filla*, оксит. и порт. ⟨lh⟩ в *filha* < н.-лат. *fi-li-a* наряду с классическим *fi-li-am*) и /n/ < /nn/ перед /i/ в зиянии (ср. франц. ⟨igh⟩ – *seigneur*, ⟨gn⟩ – *mon-ta-gne*, итал. ⟨gn⟩ – *signore*, исп. ⟨n⟩ – *senor*, оксит. и порт. ⟨nh⟩ – *sehnor* < н.-лат. *se-njo-re* наряду с классическим *se-ni-o-rem*)<sup>15</sup>. Греческий же сохраняет до наших дней непрерывность языка в орфографии, несмотря на все звуковые изменения.

Типичная для романского палатализация /k/ перед /e/, /i/ в восточнороманское [ç] (ср. итал. *cielo*, румын. *cer*), в западороманское [ç] (ст.-исп. *cielo*, ст.-пол. *cei*, ст.-фр. *ciel*) широко распространена также и в греческом за пределами Пелопоннеса, но мы из-за консервативной орфографии не знаем точно, когда начался этот процесс. В официальном языке он никогда не проявлялся и обнаруживался только в диалектных фонетических системах. Достаточно стара восходящая к койнэ палатализация /k/ > [kj] (к примеру *καί* [kɛj] “и”, *κύριος* [kʲirjɔs] “господин”), известная и в румынском при вновь возникших согласных /k/ и /g/ (к примеру, *chem* [kɛm] < лат. *clamo* “я кричу”, *ghem* “клубок, моток”), а также в турецком (к примеру, *köfte* [kjoɛfte] “котлета”, *gün* [gɲn] “день”, и в русском, при всех мягких согласных. В греческом известно звучание [ç] в критском и кипрском, [ç] распространено на материке севернее Афин (к примеру *κύριος* “господин” – [çirjɔs] и [ðirjɔs]).

Фонема [ç] ⟨ῥς⟩ не происходит из собственно греческой палатализации /k/, только в VI в. она была фонологизирована под славянским влиянием (к примеру, в суффиксе –ιτσα) и появилась затем при турецком и венецианском влиянии для передачи турецкого /ç/ и /dʒ/ (например, *τσοπάνης* “пастухи” < тур. *çoban*, ср. румын. *çioban*, болгар., серб. *чобан*; *τσέπι* “карман” (куртки, штанов) < тур. *сеп*), соотв. венецианское /dz/ (τσόντα “заплата; титр (в кино), порнофильм” < венец. *zonta*, итал. *giunta*). Фонема /dz/ ⟨τζ⟩ ведет свое начало исключительно от тюркского влияния, она была заимствована еще в контактах с хазарами и утвердилась благодаря османотурецкому адстрату. Она традиционно употребляется в тюркизмах (τζαμί “мечеть”, φλιτζάνι “(кофейная, чайная) чашка” < тур. *fincan*), в настоящее время и для передачи английского /dʒ/ (к примеру, τζάτζ “джаз”).

Начиная с византийского времени, засвидетельствовано упрощение скоплений согласных, которое сопоставимо с народнолатинско-романским. Сочетание носового согласного с консонантом приводит к ассимиляции, затем гемината упрощается: *πενθερός* > *πεθερός* > *πεθερός* “тесть”; *νύμφη* > *νύμφη* > *νύφη* “невеста”; *ψέμμα* > *ψέμμα* > *ψέμα* “ложь”; *πράγμα* > *πράγμα* > *πράμα* “вещь”. С этим сопоставимо лат.

<sup>14</sup> Ср. *capillos* > порт. *cabelos*, исп. *cabellos*, ст.-франц. *chevels*, *capilli* > лигур. *caveli* “волосы”.

<sup>15</sup> В румынском не появлялись новые палатализованные согласные, поскольку [lj] > [j] (*folia* > *foaie*), также [nj] > [j] (*vinea* > *vie*).

*mensa* > испан., порт. *mesa*; лат. *septem* > итал. *sette*, испан. *sete* или латинизм *afectacion* в "диалоге о языке" Хуана де Вальдеса (1535) вместо нынешнего *afectacion*.

Падение конечного  $-n/$  в качестве падежа (винительный ед. числа у основ. на  $-o$  и  $-a$ ) и морфемы рода (средний род основ на  $-o$ ) засвидетельствован в народном языке поздневизантийского времени. Он характеризовал, как было отмечено в п. 3.1, стандартный язык и западные диалекты. Как обычно, это явление в новейшее время, т.е. до орфографической реформы 1982 г., не отражалось в официальных текстах. Только с этого времени названия местностей (Νερακλειο) или учреждений типа университета (Πανεπιστήμιο) стало официально писаться без  $-ν$ . О морфологическом значении этого феномена, сопоставимого с утратой  $-m$  в народной латыни см. 5.1.2. Безотносительно к этому присоединение по аналогии  $-n$  в консонантных основах могло возникнуть в фольклорных текстах на койнэ (του πατέρα вместо πατέρα).

## 5.2. Грамматико-морфологические изменения.

В грамматической системе греческого в эллинистическом койнэ известен ряд упрощений, которые позволяют сделать интересные сопоставления с более поздними по времени явлениями в народной латыни. В греческом, благодаря потребности в простом языке колонистов, торговцев и тех, для кого греческий не был родным, сформировались категории, не выглядящие необходимыми. Только после длительного развития, т.е. только в новогреческом, можно видеть, что дело не просто в упрощении, а в типологической перестройке и формировании новых категорий, возникших благодаря инновациям, выглядящим случайными.

### 5.2.1. Преобразование системы имени.

1) В категории числа можно наблюдать очень раннюю утрату двойственного числа в аттическом, после того, как оно было утеряно в других диалектах, т.е. в эолийско-лесбийском и ионийском. Оно исчезло и в койнэ высокого стиля.

2) Развитие именной морфологии в народном греческом отличается от народной латыни сохранением трех унаследованных родов – мужского, женского, среднего. В то время, как в народной латыни средний род утрачен, в греческом он не только сохранился, но и усилился – его частотность возросла. Это произошло за счет значительно большего, чем в народной латыни, распространения уменьшительных существительных, которые не только выражали аффективность, но и способствовали упрощению парадигмы склонения, т.к. неравносложная парадигма путем присоединения суффикса  $-ου$  или  $-αδου/-ιδου$  становилась равносложной и устраняла все "нерегулярности". Изначальные диминутивы выступали в разговорном спонтанном языке как нормальные первичные формы, утратившие, как и в народной латыни, семантику диминутивности. Поскольку же большинство образованных в это время диминутивов было среднего рода, многие существительные изменили род благодаря уменьшительности, и частотность таких форм существенно возросла (ср. также нем. *Blume* "цветок" ж.р. – *Blümchen* ср. р., *Vater* "отец" м.р. – *Väterchen* ср. р.).

3) Падеж не исчез как синтетическая категория (как в народной латыни) и не сформировался заново как аналитическая категория, т.е. с помощью предлогов. Но древнегреческая система четырех падежей оказалась редуцированной. Уже в эллинистический период датив стал заменяться перифразой с предлогом  $εις$  "в (по направлению)" или же, особенно у местоимений, выражаться генитивом ( $ἐμοῦ$  "мне"). С X в. н.э. синтетический датив совершенно исчез в народном языке и стал выражаться либо генитивом, либо, в более нормированном языке, названной предложной конструкцией. Ее нельзя назвать полноценным падежом, так как она находится в ряду аналогичных предложных именных конструкций, управляющих аккузативом ( $για του πατέρα$  "для отца",  $από τη μητέρα$  "от матери"). Другие виды управления с генитивом и дативом являются пережитками кафареvusы ( $μετά 'χαράς$  "с радостью",  $εν μέση οδῶ$  "на середине улицы").

4) В именной флексии уже в койнэ возникли формы по аналогии, в которых избыточны типичные аттические "нерегулярности": вместо  $δόξα$ ,  $δόξης$  появляются

косвенные падежи с тем же гласным, что и в номинативе, т.е. *δόξα, δόξας*; также и *οὐράς, τοῦ οὐρά* вместо прежнего *οὐράς, τοῦ οὐράου* "управляющий"<sup>16</sup>. Как и в народной латыни, формы аккузатива стали основой начальной формы многих слов, особенно в консонантном склонении (\**ratione* < *rationem*); так, начиная с византийского времени, возникают новые формы номинатива на базе аккузатива: им. п. πατήρ, вин. πατέρα > им. πατέρας, род./вин. πατέρα; им. μήτηρ, вин. μητέρα > им./вин. μητέρα, род. μητέρας. В параллель к народной латыни осуществлен принцип равносложности парадигмы, как в склонении на -а и -ο.

5) Как и в народной латыни, либо склонение изменилось по роду (παρθένος ж.р. "девушка" > παρθένα, παρθένη), либо род по склонению (πλατανός ж. > м.р. "платан"), либо склонение изменилось благодаря присоединению нейтрального уменьшительного суффикса (ἄμπελος ж.р. "виноградная лоза" > ἀμπέλι), либо избирается один синоним (ἢ ὁδός "улица" заменен народным ὁ δρόμος).

6) В сравнительной степени прилагательных формы по аналогии заменяют нерегулярные старые формы (ταχύτερος, ταχύτατος вместо θάττων "более быстрый", τάχιστος "самый быстрый"). В настоящее же время в народном языке, как и в романских, степени сравнения образуются по преимуществу аналитическим способом, в общем сходным путем. Сравнительная степень образована постановкой перед прилагательным частицы πλεо (< πλέον "больше", πλεо ὡραίος "более красивый", πλεо καλός "лучше"), превосходная степень – посредством актуализирующей идентификации повышенного качества, т.е. постановки определенного артикля (ἡ πλεо ὡραία γλώσσα "самый красивый язык"). Наряду с народными аналитическими формами имеются и синтетические, которые относятся не только к каферевусе, но и к изысканному стилю, например, ὡραίότερος "более красивый", βαθύτερος "более глубокий". Некоторые формы вполне употребимы в разговорном языке, как сравнительная степень от πολύς "многий" – περισσότερος, ср. οι περισσότεροι "большинство". В отличие от греческого, романские сравнительные степени образуются от немногих прилагательных и почти всегда в переносном смысле (порт. maior "большой", menor "меньший" в конкретном значении, по исп. mayor, итал. maggiore в переносном – "большой" = "более важный" или "более старый"). Конструкция объекта сравнения при сравнительной степени воспроизводит древнегреческий отложительный генитив с από: Πλεо φηλος από τον Γιάννη "выше (больше), чем Иван", подобно итал. Più grande di Giovanni, румын. Mai inalt decit Ion.

Подобно тому, как в романских языках используются элативные формы (ср. итал. bellissimo, испан. elegantissimo и т.д.), в греческом имеются элативные образования с суффиксом -ότατος. Но они в малой степени являются народными, поскольку являются по большей части учеными терминами (ὡραióτατος "очень красивый", βαθύτατος "очень глубокий", особенно κάλλιστος "очень хороший" от καλός или μέγιστος "очень большой" от μέγας "красивый"). Народные элативные формы, напротив, образуются иначе, чем в романском – частично присоединением префикса ката-(катакаварός "чистый до блеска"), чаще же всего используется продуктивное и распространенное в греческом, как в немецком, словосложение типа θεόυυμος "совершенно голый".

### 5.2.2. Перестройка глагольной системы.

1) Из трех глагольных залогов в койнэ слились два – медиальный и пассивный<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Это явление возникло задолго до возникновения эллинистического койнэ. Оно засвидетельствовано уже в "Анабасисе" Ксенофонта (IV в. до н.э.). (Прим. перев.).

<sup>17</sup> В презенсе пассив и медий слились не в период койнэ, а значительно раньше. Уже в гомеровское время их флексии и основы были идентичны; различались они лишь в аористе. С точки зрения исторической грамматики правильнее говорить о том, что пассив – одна из поздних функций медиальной флексии. Как отдельная форма пассив образуется в презенсе лишь немногих индоевропейских языков, например, в древнеиндийском. Особенность новогреческого состоит в том, что формальная оппозиция медия и пассива устранена не в системе презенса, а в системе аориста. (Прим. перев.).

Функционально же медий являлся более древней глагольной категорией, которая с этого времени могла выражаться пассивом. Он перенял медиальные функции: рефлексив (πλύνομαι "я умываюсь"), внутреннее самонаправленное действие (γίγνεσθαι "становиться" или ἐνθυμείσθαι "задумывать, отваживаться") и сохраняет в текстах до наших дней свою функцию как пассив с выраженным агенсом. На основании новогреческих данных, где пассив с агенсом (το σπίτι χτίστηκε από ξένους "дом был построен иностранцами") редок и не распространен в народном языке, можно предположить, что в разговорном койне такое употребление медиа было малоупотребимо. В новогреческих грамматиках обычно либо утверждается существование пассива, либо речь идет о "медиапассиве" [Ruge 1986: 143]. И то, и другое не подтверждается с функциональной точки зрения и базируется на заимствовании либо из древнегреческой традиции, либо из современных иностранных языков.

В противоположность активной диатезе, нацеленной при переходных глаголах на прямой объект, медиальная диатеза характеризуется явной направленностью на субъект и внутренней "рефлексивностью". Она выражает то, что произошло с субъектом, но не деятельность субъекта. Поэтому она проявляется прежде всего в непереходных предложениях: Το σπίτι χτίστηκε το 1993 означает прежде всего не "Дом был построен в 1993 г.", но "возник в 1993 г.", ср. венгер. *epult* 1993 -*ban*, где *ep-ul-ni* в оппозиции к переходному *ep-it-eni* "стоит" выражает медиальное событие (с помощью семы "строить"). В романских языках здесь развилась так называемая безличная рефлексивная диатеза, которое сходным образом маркирует событие, произошедшее с субъектом: исп. *Esta casa se construyó en 1993*. Если агенс отсутствует, нет необходимости заявлять какую-либо иную, например, пассивную функцию медиа. Значение медиального события обнаруживает и эти варианты обозначения: "Дом {возник [1993] благодаря постройке} благодаря греческим рабочим", ср. исп. *Esta casa se construyó en 1993 por obreros griegos*. Предложение типа ἄντρας πλύεται может быть переведено как "человек моется", но в системе греческого предложения оно не является ни рефлексивным, ни пассивным, ни безличным, но именно медиальным: "человек переживает мытье" или, в безличном смысле, "с человеком происходит/случается мытье". Для примера типа σκοτώθηκε στο πόλεμο [Ruge 1986: 143] возможен такой перевод на язык, где известен пассив: "он убит на войне", и он может быть доказательством существования в греческом пассива. Но если наша интерпретация греческой категории медиа как выражения события, свершившегося с субъектом, но не благодаря субъекту, правильна, то здесь возможна соответствующая языковой системе интерпретация "он познал смерть на войне, он погиб на войне", и мы не можем говорить о пассивном значении. Параллели романским языкам здесь прямые, т.к. в романских языках по образцу греческого медиа преобразовалась категория возвратных местоимений, которые стали подчеркивать внутренние процессы в субъекте: *se come una naranja* "он ест (с удовольствием, т.е. с внутренней заинтересованностью) апельсины", а также упоминавшиеся процессы, обозначенные как безличные (франц. *La Marseillaise se chante debout* "Марсельезу поют стоя"; итал. *Si mangia alle nove* "была еда в девять" [W. Dietrich 1987: 252–254]).

2) Из четырех наклонений – индикатив, конъюнктив, опатив, императив, – опатив в эллинистическое время был утерян как форма и как функция и вытеснен конъюнктивом. Конъюнктив же претерпел морфологическую перестройку. В койне обнаруживается явный фонетический синкретизм конъюнктива и индикатива, так что орфографические различные формы λύεις/λύης, λύομεν/λύωμεν произносились одинаково. Та же проблема возникает и для конъюнктива аориста и индикатива фугурума (λύσης – λύσεις, λύσμεν – λύομεν). В новогреческом конъюнктив, выражавший исключительно цель и этим сильно напоминающий румынский, сначала маркировался синтагматически частицей *να*, происходящей из союза *(να γράφεις* "ты пишешь" – *να γράφεις* "чтобы ты писал"). Но картина совершенно меняется, когда

рассматривается аористный конъюнктив, оформленный и морфологически (иα γράφεις "чтобы ты написал (совершенный вид)"). Таким образом, конъюнктив существует частично как морфологическая, частично как синтаксическая категория. Поскольку же греческий конъюнктив образуется, как и румынский, с синтаксической точки зрения, совершенно иначе, чем конъюнктив в остальных романских языках, где он является прежде всего неактуальным модусом [W. Dietrich 1981], я сейчас не углубляюсь в его рассмотрение.

Как подчеркивается в дальнейшем изложении, в результате перестройки системы времен и аспектов возникли два новых наклонения – кондициональ и пресумптив. Они будут рассмотрены ниже (5.2.2.3 е).

3) А. Перестройка системы времени може быть рассмотрена только вместе с системой аспектов. Древнегреческая оппозиция между курсивным аспектом, обозначающим действие в процессе, и поэтому выражающим длительность и повторение, и комплексным аспектом, представляющим действие как целостность, и выражающим в речи значение единичности, а в рассказе – последовательность действия, – сохранилась и даже развилась в новогреческом. В противоположность романской глагольной системе, ориентированной на время, греческая ориентирована на аспект. В то время, как аспектные оппозиции в древнегреческом охватывали только прошедшее время (имперфект, аорист), в византийском народном языке они распространились и на будущее время (иα γράφω – иα γράψω), скорее всего благодаря сочетанию "хотеть" с аористным инфинитивом (θέλω γράψαι), которое было затем заменено на личную конструкцию с конъюнктивом (θέλω να γράψω). Оппозиция "курсивность – комплексность", существовавшая в древнегреческом императиве, функционально сохранилась; морфологически, однако, императив присоединился к презенсу (γράφον > γράψε; γράφατε > γράψετε).

В. Для народного греческого, как и для народной латыни существенна характеристика перестройки глагольной системы как стремления к большей ясности и простоте. Уже в койнэ можно наблюдать формы по аналогии с более простой парадигмой (δεικνυμι и δεικνύω "я показываю"), и совершенно нерегулярные формы (οἶδα, οἶσθα, ...ἴσμεν) "знать" упростилась (οἶδα, οἶδας, οἶδαμεν...). В византийское время обнаруживается, что при большом разнообразии презентных и аористных корней нередко именно аористный корень становится основной глагольной формой, от которой образуется презенс по аналогии с другими, регулярными глаголами. По образцу аориста ἔφθασα "я успел" и презенса φθάνω от аориста ἔδεσα "я связал" образуется новый презенс δένω, вместо δέω, χύνω "я лью" вместо χέω, φέρνω "я приношу" наряду с классическим φέρω, керνω "я угощаю" вместо керάω, вместо κίρηνμι "я смешиваю", πέρινω "я иду вперед" вместо περάω. Ἀφίηνμι "я покидаю" было заменено на ἀφήνω, δίδωμι "я даю" – δίνω по образцу аориста ἔδωσα "я дал". В романских языках можно видеть этому следующую параллель в том, что многие "нерегулярные" глаголы классической латыни заменяются "регулярными", которые образуют из алломорфа страдательного перфектного причастия новое спряжение на -a (ср. *oblivisci – oblitus – \*oblitare* > рум. *a uita*, исп. *olvidar*, франц. *oublier*; *audere – ausus – \*ausare* > франц. *oser*, исп. *osar*, порт. *ousar*, итал. *osare*; *uti – usus – \*usare* > итал. *usare*, исп. *usar*, франц. *user*).

С. К параллелям с романскими языками относится также описанное выше морфологическое преобразование будущего времени. В греческих текстах синтетическое будущее сохранялось довольно долго, но уже в койнэ оно стало утрачивать значение, как показывают многочисленные перифразы (например, с "хотеть"<sup>18</sup>). Эти перифразы в византийский период стали еще чаще, но только в период турецкого владычества частица иα, образованная из сокращенных личных форм глагола θέλειν,

<sup>18</sup> Древнейшие образцы перифрастического футурума появляются уже у Гомера (δέλλω + инфинитив). В эллинистическое и византийское время существовали самые разнообразные перифразы для выражения футурума, из которых в новогреческом сохранилась лишь одна (Прим. перев.).

стала морфемой футурума. В сочетании с конъюнктивом презенса или аориста, сокращенным до частицы *va*, и сформировался новогреческий футурум. Эти формы находят прямые параллели в румынском, единственном романском языке, обладающим не просто перифрастическим футурумом, но конструкцией с глаголом "хотеть" и полной инфинитивной формой типа *voi cînta < vleo cantare*, а также конструкцией с развившейся частицей *o* и подчиненным конъюнктивом: *o să cînt* "я буду петь". В соседних с греческими южноиталийских диалектах образуются формы будущего времени с *habere*, перифрастические и в наше время (к примеру, *aggiu ffare* 'faro' "я сделаю", *amm a ffari* 'faremo' "мы сделаем" [Rofls 1968: 335]).

Д. Подобно тому, как в романских языках вместе с образованием будущего времени возник также кондициональ как новая категория (*\*cantare habebam* > исп. *cantaría*, франц. *je chanterais*), в народном греческом со времени турецкого господства вместе с перестройкой футурума появились новые глагольные формы, которые образованы с помощью имперфекта или аориста спрягаемых глаголов. Они, однако, имеют совсем иную функцию, чем романский кондициональ (за исключением румынского), который функционирует в последовательности времен как имперфект футурума, т.е. как неактуальное будущее ([Coseriu 1976: 148–154], ср. франц. *Il me promet qu'il viendra – il m'a promis qu'il viendrait*). В противоположность этому ни в греческом, ни в румынском, ни в подвергшихся греческому влиянию южноиталийских диалектах (Саленто, южная Калабрия, северная и восточная Сицилия) нет подобной последовательности времен, и кондициональ не обозначает будущего действия в зависимости от прошедшего времени. Греческий и румынский кондициональ появляется в ирреальном гипотетическом периоде, когда условия не выражены. Он появляется единожды, и только в протасисе, тогда как в аподосисе стоит имперфект (*θα ἔρχομαι, ἀν ἀδεία* "я бы пришел, если бы имел время"), или же в качестве выражения следствия из условий, когда протасис отсутствует (*θα χρειάζοται πολὺς κόπος γιὰ πᾶ τέτοια δουλειά* "следовало бы приложить много усилий для такой работы", ср. [Ruge 1986: 115]). Из способа образования с частицей *θα* и из логики времени очевидно, что стоящие в вопросительном предложении формальные категории выражают отношение к будущему. И неудивительно, что ὑποθετικὴ (ἐγκλιση) '(modus) conditionalis' также и без отношения к условиям настоящего времени может в "discours indirect libre" выражать перспективу будущего времени (*τὴν ἑπομένη μέρα θα σηκωνόταν νωρίς* "На следующий день он бы встал рано"). В румынском отношении примерно таковы же, но здесь кондициональ должен стоять не только в протасисе, но и в аподосисе условного высказывания (что не соответствует синтаксису других романских языков), например. *Daca as pleca de dimineață aș ajunge la timp* "если бы я утром вышел, я бы пришел вовремя". В южноиталийских диалектах не образовалось никакой формы кондиционаля, и они используют имперфект, как многие другие романские языковые зоны, где кондициональ не распространен (например, в португальском, сельском испанском, каталанском, окситанском и итальянском).

Е. Когда футуральное *θα* сочетается со спрягаемым глаголом в аористе, то этим выражается не просто совершенный вид. Это бы не имело и логического основания, т.к. обусловленное действие вряд ли может быть интерпретировано как завершенное. Выраженная таким образом завершенность интерпретируется как законченность в последующем времени, и это тогда, когда контекст в общем не содержит ничего, кроме логического вывода из законченного действия. Эта форма считается у некоторых лингвистов особым наклонением, которое может быть названо пресумптивом, или модусом логического вывода: *θα ἔγραψα* "я, конечно, должен написать, я, конечно/возможно, написал"; *θα πέθανε* "он, вероятно, умер". Среди романских языков в румынском есть именуемый по традиции *mod presumptiv*, статус которого спорен. [Gramatica 1966, I: 216]. Он образован конструкцией *a fi* + герундий, по преимуществу в будущем времени или кондиционале: *Oi fi miroșind... Am gustat de dimineață niște anghelica* (Караджале) "Я буду сегодня этим пахнуть!.. Я сегодня утром пробовал

настойку из дудника"; *Ar fi find asta dorința prințesei* (Садовяну) "Действительно ли это желание принцессы?" [Gramatica 1966, I: 223]. В греческом и романских статус этой грамматической формы не является дискуссионным.

Ф. Наряду с первичной оппозицией между "курсивным" (имперфект) и "комплексным" (аорист) аспектом, в древнегреческом имелась оппозиция между прошедшими временами без связи с настоящим (аорист и имперфект) и со связью с настоящим (перфект). Связь с настоящим у перфекта означает продолжение прошедшего действия до настоящего времени, а также состояния, следующего из действия. Эта функция сохранилась в истории греческого, но была морфологически перестроена и семантически уточнена. Уже в койнэ синтетический перфект последовательно исчезал. Он часто морфологически сливался с аористом:  $\pi\epsilon\pi\omicron\iota\eta\kappa\alpha\tau\epsilon$  (перф.)  $\chi\ \epsilon\pi\omicron\iota\eta\sigma\alpha\tau\epsilon$  (аор.) >  $\epsilon\pi\omicron\iota\eta\kappa\alpha\tau\epsilon$  "вы сделали". С точки же зрения семантики перфект теряет свою функцию продолженности в настоящем и превращается во время рассказа. Выражение прошедшего действия в настоящем возникает вместе с перифрастическими формами ( $\gamma\epsilon\upsilon\gamma\alpha\mu\epsilon\acute{\nu}\omicron\nu\ \eta\upsilon$  "было написано", соотв.  $\gamma\epsilon\upsilon\gamma\alpha\mu\epsilon\acute{\nu}\omicron\nu\ \epsilon\sigma\tau\acute{\iota}$  "написано"). Только в первые столетия новой эры появляется новый, ставший в будущем преобладающим перифрастический перфект и плюсквамперфект с  $\epsilon\chi\epsilon\iota\nu$  + инф. аор. ( $\epsilon\acute{\iota}\chi\epsilon\nu$   $\pi\acute{\iota}\alpha\sigma\epsilon\iota\nu$  "он взял"), сокращенный в новогреческом на оба - $\nu$  ( $\epsilon\acute{\iota}\chi\epsilon$   $\pi\acute{\iota}\alpha\sigma\epsilon\iota$ ). Проблема влияния этой перифразы на формирование романской перифразы типа *habere* + перфектное страдательное причастие (франц. *j'ai chanté*) не может здесь быть рассмотрено. В крайних восточных диалектах (понтийском и каппадокийском) данная перифраза неизвестна, она могла исчезнуть благодаря сильному турецкому влиянию. В итало-греческом (в калабрийском) она частично отсутствует или представлена слабо (Саленто, ср. [Rofls 1977: 196–198]). Греческим влиянием можно объяснить отсутствие "passato prossimo" и его замену на синтетическое "passato remoto".

Г. Проспективный взгляд из настоящего, существующий в романских языках в форме франц. *je vais chanter*, исп. *voy a cantar*, в древнегреческом выражен перифразой "идти" + причастие будущего времени ( $\epsilon\gamma\gamma\omicron\chi\omicron\mu\alpha\i$   $\phi\acute{\rho}\alpha\sigma\omega\nu$  "Я собираюсь это рассказать", Геродот), которая могла служить образцом для романской конструкции [W. Dietrich 1973; 1983, гл. 5.4]. В новогреческом благодаря исчезновению футурального причастия эта перифраза существенно перестроилась и состоит теперь из глагола "идти" в презенсе или имперфекте и типичной подчинительной целевой конструкции с конъюнктивом аориста, например,  $\pi\acute{\alpha}\omega$   $\nu\alpha$   $\gamma\acute{\rho}\alpha\psi\omega$  "je vais écrire",  $\pi\acute{\eta}\gamma\alpha\iota\nu\epsilon$   $\nu\alpha$   $\gamma\acute{\rho}\alpha\phi\epsilon\iota$  "il allait écrire". Собственно же глагольные аспектуальные перифразы древнегреческого, которые в латыни стали образцом, к примеру, исп. *estoy escribendo, vengo escribendo, sigo escribendo, tomo y me voy* [W. Dietrich 1973; 1983] в древнегреческом, по крайней мере в стандартном языке не сохранились. Следует отметить, что они неизвестны также в румынском и италогреческом, в обоих языковых областях, которые подвергались прямому греческому влиянию, а не только косвенному, через народную латынь. Это прямое греческое влияние могло иметь место только в раннюю византийскую эпоху, после распада римского единства. Тогда, после ранней эпохи контактов в период Римской империи, и разошлись пути греческого и латинского языкового пространства.

### 5.3. Изменения в синтаксисе.

Из-за ограниченности объема мы вынуждены ограничить описание комплекса синтаксических черт только некоторыми наблюдениями, хотя мы бы могли показать здесь, как и во многих других областях морфологии (местоимения) и словообразования, многочисленные типологические параллели к стратегиям неформальной экспрессивной устной речи [Koch, Oesterraicher 1990]. Греческий отличается от романских, немецкого, других европейских языков конструкциями с качественными морфемами-глаголами (так называемыми модальными глаголами) и дополнительными предложениями (подобно румынскому и маргинальным южноитальянским диалектам) в

двойком аспекте. Это прежде всего конструкции с совпадающими субъектами, которые из-за отсутствия инфинитивов образованы только личными глаголами. Носителю другого языка это бросается в глаза особенно при качественных глаголах:  $\mu\tau\omicron\rho\acute{\omega}$  *va*  $\acute{\epsilon}\rho\theta\omega$   $\acute{\alpha}\upsilon\rho\iota\omicron$ , рум. *pot să vin mîine*, дословно "я могу, что я приду завтра". Южноитальянские диалекты тоже разделяют эту типологическую черту, которая, согласно Рольфсу, не просто совпадает с греческим синхронно-типологически, но и исторически основана на греческом субстрате Великой Греции: ср. южноитал. калабр. *Voliti mu veniti* "вы хотите прийти", румын. *Vreți să veniți*; калабр. *non bolì mu resta* "он не хочет оставаться", румын. *nu vrea să rămîna*; калабр. *avimi mu partimi*, итал. 'dobbiamo partire' "мы должны уйти", румын. *trebuie să plecăm*; салент. *vògghiu a mbèu*, итал. 'voglio bere' "хочу пить", румын. *vreau să beau* [Rolf's 1969: 104–106].

Другое различие между греческим и балканскими языками с одной стороны (с включением крайнего юга Италии), остальными романскими языками – с другой состоит в используемых в них конструкциях. Большинство романских языков устранили различие между вводящим повествовательные предложения союзом *quod/quia* и вводящим целевые предложения *ut* в пользу первого и обобщили единый союз придаточного предложения *que/che*, тогда как румынский и южноитальянские диалекты сохранили это различие: такой союз, как румын. *ca*, южноитал. *ca* вводит, грубо говоря, индикативные повествовательные предложения, союз *sa*, как и южноитал. *tu* (с вариантами) – конъюнктивные целевые предложения. В упомянутых южноитальянских диалектах различается по греческому образцу *che* и *tu* (Калабрия) < лат. *modo; u(nn)* (Кротона) < лат. *unde, a* (Саленто) < лат. *ac*. Дальнейшие детали см. [Rolf's 1969: 104–106].

В греческом различаются повествовательные союзы  $\omicron\tau\iota$  и  $\tau\omicron\omega\varsigma$   $\omicron\tau$  *va*, который может быть охарактеризован как неповествовательный. Он стоит перед предложениями с целевым значением, например, соответствующим упомянутому южноитальянским и румынским:  $\theta\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\tau\epsilon$  *va*  $\acute{\epsilon}\rho\theta\epsilon\tau\epsilon$ , италогреч. (калабр.) *thèlite na èrite* "вы хотите прийти";  $\delta\epsilon$   $\theta\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota$  *va*  $\mu\acute{\epsilon}\iota\upsilon\epsilon\iota$ , калабр. *e thèli na mini*;  $\pi\acute{\rho}\epsilon\pi\epsilon\iota$  *va*  $\acute{\phi}\upsilon\gamma\omicron\theta\mu\epsilon$  дословно "необходимо, чтобы мы пошли", калабр. *èxome na xoristúme* (но также и в других предложениях желания:  $\epsilon\lambda\pi\acute{\iota}\zeta\omega$  *va*  $\rho\theta\acute{\omega}$   $\acute{\alpha}\upsilon\rho\iota\omicron$  "я надеюсь, что я приду утром/прийти утром"; румын. *sper să vin mîine*).

#### 5.4. Изменения в лексике.

В заключение рассмотрим некоторые из многочисленных примеров развития греческого лексического фонда. Оно осуществлялось по тем же принципам, что и в народной латыни. Уже в эпоху койнэ над нерегулярными и семантически нейтральными лексемами стали преобладать слова не только морфологически более простые, но и семантически более ясные, образные и выразительные. Примеры.  $\pi\rho\acute{\beta}\alpha\tau\omicron\nu$ , изначально "мелкий рогатый скот" вместо  $\omicron\iota\varsigma$ ,  $\omicron\iota\acute{\omicron}\varsigma$  "овца", ср. н.-греч.  $\pi\rho\acute{\beta}\alpha\tau\omicron$  "овца". В народной латыни Италии вместо лат. *ovis* "овца" употреблялось *pecora* "мелкий рогатый скот" (итал. *pecora*);  $\pi\omicron\upsilon\tau\iota\kappa\acute{\omicron}\varsigma$  (изначальное название ласки как "мыши из-за моря") вместо  $\mu\acute{\upsilon}\varsigma$ ,  $\mu\acute{\iota}\omicron\varsigma$  "мышь", ср. н.-греч.  $\pi\omicron\upsilon\tau\iota\kappa\acute{\iota}$  "мышь";  $\pi\lambda\omicron\upsilon\theta\omicron\nu$  вместо  $\nu\alpha\acute{\upsilon}\varsigma$ ,  $\nu\eta\acute{\omicron}\varsigma/\nu\epsilon\acute{\omega}\varsigma$  "корабль", ср. н.-греч.  $\pi\lambda\omicron\iota\acute{\omicron}$  "то же";  $\nu\acute{\epsilon}\alpha\rho\acute{\omicron}\nu$ ,  $\nu\eta\rho\acute{\omicron}\nu$  "свежее, ясное" вместо  $\acute{\upsilon}\delta\omega\rho$ ,  $\acute{\upsilon}\delta\alpha\tau\omicron\varsigma$  "вода", ср. н.-греч.  $\nu\epsilon\rho\acute{\omicron}$  "вода";  $\acute{\omega}\tau\iota\omicron\nu$  – аффективный диминутив вместо  $\omicron\upsilon\varsigma$ ,  $\acute{\omega}\tau\acute{\omicron}\varsigma$  "ухо" – н.-греч.  $\alpha\upsilon\tau\acute{\iota}$  "ухо".

Другие заслуживающие внимания примеры – греч.  $\mu\acute{\upsilon}\tau\eta$  "нос" < др.-греч.  $\mu\acute{\upsilon}\tau\iota\varsigma$  "морда" вместо  $\rho\acute{\iota}\varsigma$ ,  $\rho\acute{\iota}\nu\acute{\omicron}\varsigma$  "нос";  $\phi\epsilon\upsilon\upsilon\gamma\acute{\alpha}\rho\iota$  собственно "светящееся" вместо др.-греч.  $\sigma\eta\lambda\acute{\eta}\nu\eta$  "луна", которое в настоящее время используется только в специальном языке;  $(\delta)\psi\acute{\alpha}\rho\iota(\omicron\nu)$  "закуска (к примеру, из рыбы)" > "рыба" вместо древнегреческого  $\acute{\iota}\chi\theta\acute{\upsilon}\varsigma$ , сохранившегося только как имя созвездия, в глагольной области –  $\epsilon\acute{\upsilon}\pi\acute{\omicron}\rho\epsilon\omega$  "изобилывать" X  $\xi\mu\pi\omicron\rho\omicron\varsigma$  "купец, торговец" >  $\mu\tau\omicron\rho\acute{\omega}$  "мочь" вместо др.-греч.  $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\sigma\theta\alpha\iota$ . Подобно тому, как в латинской языковой области нейтральные *capere, tollere, sumere* "брать" заменены на "хватать" (*pilare/piliare* > итал. *pigliare*, также *pre(he)ndere* > франц.,

катал. *prendre*, итал. *prendere*), так и др.-греч. λάμβάνειν "брать что-то в руки", также "получать" приобрело переносный смысл и было заменено выразительным "поднимать" – ἐπαίρω > н.-греч. παίρω "брать, выхватывать", но также и "получать". Существенную романскую параллель представляет румынский с *a lua* "брать" < *levare*, а также Южная Италия, Сардиния и далматинский (вельотский) язык, где производные от *levare* тоже означают "поднимать".

Свойственную спонтанному языку семантическую проясненность можно наблюдать и в предлогах. В противоположность древнегреческому новые составные предлоги суть таковы: από πάνω από (то τραπέζι) "через (стол)", από κάτω από (то τραπέζι), исп. *debajo de (la mesa)* "под столом", από πίσω από (то βουνό), исп. *detrás de (la montaña)* "за горой" и т.д.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделанные в параграфе 5 по необходимости краткие наблюдения доказывают, с нашей точки зрения, то, что мы утверждали во введении: при всех основополагающих различиях греческий характеризовался спонтанным языковым развитием, соответствовавшим тем же универсальным принципам неформальных универсальных языковых форм, что и народнолатинско-романская область. Из этого следует возможность говорить о народном греческом и тогда, как мы показали, когда исторические предпосылки были существенно иными. В обоих случаях наряду с языком высокой культуры (литературный греческий, классическая латынь) из менее системного разговорного языка развивался новый стандартный язык, с большим успехом на Западе, чем на Востоке. Но в лингвистической точки зрения греческое языковое пространство менее дифференцировано, чем латинское. К сожалению, мы здесь смогли это лишь отметить, частично в области фонетики, частично морфологии, частично синтаксиса, но не представить подробно (при этом надо добавить, что многие детали греческих диалектов исследованы до сих пор неудовлетворительно).

Кроме того, многочисленные морфологические и синтаксические соответствия показывают, что в итальянских диалектах Юга, как многообразно доказал еще Рольфс, следует предполагать существенный греческий субстрат<sup>19</sup>. Кроме того, мы можем наблюдать очевидный греческий адстрат в румынском, сформировавшийся, с нашей точки зрения, в ранневизантийский период многие особенности румынского языка благодаря прямым контактам греков и проторумын в бассейне Дуная. Часть этих соответствий отмечается в дискуссиях о балканском языкознании [Sandfeld 1930; Solta 1980]. Но здесь рассмотрены еще не все существенные моменты, связанные со значительным влиянием греческого на румынский.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Browning R. 1969–1983 – Medieval and modern Greek. Cambridge. 1969–1983.  
Claußen Th. 1905 – Griechische Elemente in den romanischen Sprachen // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. 15. 1905.  
Coco F. 1970 – Il dialetto di Bologna. Fonetica storica e analisi strutturale. Bologna. 1970.  
Coseriu E. 1954 – El llamado "latin vulgar" y las primeras diferenciaciones romances. Breve introducción a la lingüística románica. Montevideo, 1954.  
Coseriu E. 1968 – Graeca Romanica // Baehr R.; Wais K. (Hrsg.), Serta Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs zum 75. Geburtstag. Tübingen. 1968.  
Coseriu E. 1972 – Das Problem des griechischen Einflusses auf das Vulgärlatein // Sprache und Geschichte. Festschrift für Harri Meier zum 65. Geburtstag. München. 1972.  
Coseriu E. 1976 – Das romanische Verbalsystem. Tübingen. 1976.  
Dieterich K. 1904–1906 – Neugriechisches und Romanisches // KZ. Bd. 37. 1904; Bd. 39. 1906.

<sup>19</sup> Корректнее было бы говорить о суперстрате: итальянцы пришли в Италию примерно в XII в. до н.э., греки – в VIII–VII. (Прим. перев.)

- Dietrich W.* 1973 – Der periphrastische Verbalaspekt in den romanischen Sprachen. Tübingen. 1973.
- Dietrich W.* 1981 – Actualité et inactualité de l'action. Les fonctions modales dans le système verbal des langues romanes / Logos semantikos. *Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921–1981*/Hrsg. von Chr. Rohrer. Berlin; Madrid. 1981.
- Dietrich W.* 1987 – Grammatische Metaphorik. Über die figurative Verwendung grammatischer Kategorien // *Sprachwissenschaft*. Bd. 12. 1987.
- Dietrich W.* 1995 – Griechisch und Romanisch. Parallelen und Divergenzen in Entwicklung. Variation und Strukturen. Münster. 1995.
- Gramatica 1966 – Gramatica limbii române. București. 1966.
- Koch P., Oesterreicher W.* 1990 – Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch. Tübingen, 1990.
- Koder J.* 1984 – Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriss ihrer mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum. Graz; Wien; Köln. 1984.
- Kretschmer P.* 1905 – Neugriechische Dialektstudien. I. Der heutige lesbische Dialekt verglichen mit den übrigen nordgriechischen Mundarten. Wien. 1905.
- Lausberg H.* 1969 – Romanische Sprachwissenschaft. I. Einleitung und Vokalismus; II: Konsonantismus. Berlin. 1969.
- Meillet A.* 1913 – Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Paris. 1913.
- Mihăescu H.* 1966 – Influența grecească asupra limbii române pînă în secolul al XV-lea. București. 1966.
- Οικογιομίδης Δ.Η.* 1958 – Γραμματική της ελληνικής διαλέκτου του Πόντου. Αθήναι, 1958.
- Παπαδόπουλος Α.Α.* 1955 – Ιστορική γραμματική της ποιτικής διαλέκτου. Αθήναι, 1955.
- Rohlf's G.* 1947 – Griechischer Sprachgeist in Süditalien (Zur Geschichte der inneren Sprachform). München. 1947.
- Rohlf's G.* 1966 – Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. I. Fonetica; II. Morfologia; III. Sintassi e formazione delle parole. Torino. 1966.
- Rohlf's G.* 1977 – Grammatica storica dei dialetti italogreci (Calabria, Salento). München. 1977.
- Ruge H.* 1986 – Grammatik des Neugriechischen. Köln. 1986.
- Sandfeld K.* 1930 – Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris. 1930.
- Solta G.R.* 1980 – Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer. – Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt. 1980.
- Τομπαιδης Δ.Ε.* 1988 – "Διάλεκτος πογτιακή" // *Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού*. Bd. I (Α–Ε) Θεσσαλονίκη, 1988.
- Weithmann M.W.* 1978 – Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. München. 1978.

Перевел с немецкого *К.Г. Красухин*

© 1997 г. Л.Э. КАЛНЫНЬ

## РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ И ИХ ДИНАМИКА

Специфика устройства и функционирования национального языка во всем многообразии его проявлений в каждый период его существования может быть понята при достаточно ясном представлении о стратификации разных форм языка в рамках языковой ситуации. Это предполагает не только каталогизацию форм языка, но и знание об их распределении в обществе, связи с разными коммуникативными ситуациями. Не менее важно и выяснение того, как оцениваются разные формы языка их носителями и обществом в целом – поддерживают, относятся нейтрально, относятся отрицательно. Знание этого существенно и для понимания динамики разных форм языка.

На фоне общего повышения интереса к социолингвистической проблематике особенно заметно, что до сих пор не вполне ясной остается языковая ситуация, характерная для современного русского языка. В каноническое представление, согласно которому русский язык состоит из стандарта и территориальных диалектов, вносят известные коррективы выделение разговорной речи как особой системы, функционирующей в среде носителей литературного языка [Земская 1968], опыт определения статуса городского просторечия и его истоков [Городское просторечие 1984]. Однако с позиций языковой ситуации остается не охарактеризован такой компонент русского языка как территориальные диалекты. Это положение имеет свои истоки и свою историю.

Русские диалекты функционируют в гомогенной среде и контактируют с литературным языком через школу, средства массовой информации, через общение с лицами, репрезентующими литературный язык. Принято считать, что в таких условиях диалектоносители переходят на литературный язык, а диалекты нивелируются. Этот тезис принимается как бы априорно, поскольку он не всегда подтверждался изучением реального процесса влияния литературного языка на русские диалекты. Это еще в 40-х годах отметила Н.М. Гринкова, написав, что указания на воздействие литературного языка на диалекты "в большинстве исследований выглядят скорее как отписки по поводу материала, не подлежащего изучению"..., а "процесс воздействия литературного языка не изучается и как он происходит – неизвестно" [Гринкова 1947: 177, 183]. Позже, уже в 60–70 годы, эта проблема рассматривалась в [Фонетика... 1968; Баранникова 1974; Диал. и лит. разг. речь... 1974].

Постулат о быстром отмирании русских диалектов особенно утверждался в 30-е гг. и основывался он не на анализе реальной языковой практики, а в очень большой степени обуславливался социально-политической концепцией, сформулированной в русской диалектологии того времени. Считалось, что демократизация культуры в обозримо короткий период приведет к устранению диалектов и повсеместному распространению нормированной/литературной формы языка. В перспективе, очень близкой, виделось такое общество, где языковое поведение человека не несет никакой экстралингвистической информации о говорящем (локальной, социальной, образовательной, возрастной, профессиональной). Уровень сохранения диалектных форм языка прямо связывался с уровнем социально-политической продвинутости общества,

что вытекало из вульгарно-социологической концепции, относящей язык к числу надстроечных явлений, зависимых от базиса [Филин 1938; Чистяков 1935]. Объявлялось, что диалектные формы языка свойственны политически отсталым слоям сельского населения, не охваченным процессом коллективизации. Если же диалектные формы сохраняются, то исключительно благодаря нежеланию отсталых крестьян овладеть литературным языком – "в колхозной же деревне со стороны основной массы колхозников этого противопоставления литературному языку не имеется" [Филин 1938: 173]. Весьма распространенным и долго сохраняющимся оказалось наивное представление, что сам по себе факт грамотности сельского населения является достаточным условием для перехода к литературному языку [Филин 1973: 356; Коготкова 1979: 5]. Надо отметить, что в 30-е годы высказывались и более осторожные прогнозы относительно изменений в русской языковой ситуации. Так, Е.Д. Поливанов писал, что в условиях радикальных социальных сдвигов в "революционную эпоху" для преобразования грамматической системы языка требуется достаточно много времени, исчисляемого несколькими поколениями носителей языка [Поливанов 1968: 196].

Ассоцирование диалектов с сельским населением, не имеющим политической перспективы, официально санкционировало ожидание скорого и полного вытеснения русских диалектов литературным языком. Этот тезис включался в вузовскую подготовку педагогических и научных кадров; отражен он и в "Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка" (М.; Л., 1947: 176–178).

Для того, чтобы понять существо процесса, важно определить условия, в которых он протекает. Контакт диалектов с литературным языком может осуществляться в разных условиях и с разной целью. Важно также определить те факторы, которые могут заставить говорящих сознательно перестраивать свой язык (отказываться от материнской речи).

В любом современном обществе наиболее высок социальный престиж литературного языка, как культурного символа нации. Однако на этом фоне степень социальной сниженности территориальных диалектов может быть неодинаковой в разных языках. Колебания достаточно велики: от нежелательности использования диалекта только в строго официальной ситуации до несовместимости диалектной речи с какой-либо претензией на образованность и высокий социальный статус. Если диалект недопустим лишь в официальных ситуациях, то это сопровождается в обществе не только терпимостью к диалектам, но и поддержкой их как форм семейного, неофициального общения. На этом основано известное в немецкоязычной среде литературно-диалектное двуязычие, т.е. переключение кода в зависимости от ситуации [Блумфилд 1968: 66; Жирмунский 1968: 25]. Именно неодинаковый уровень сниженности престижа диалектных форм побудил А. Мартине отразить это в терминологии – абсолютно непрестижные формы названы им "патуа" (patois), а формы, употребляющиеся наряду с литературным языком и подчас имеющие письменную фиксацию – "диалект" [Мартине 1963: 508]. Литературно-диалектное двуязычие предполагает, что в обществе диалектная речь не отождествляется однозначно с отсутствием культуры у ее носителей.

В русской языковой действительности прошлого, когда большая часть населения России была не городской и говорила на диалектах, а социальные барьеры были достаточно жесткими, не было предпосылок для формирования литературно-диалектного двуязычия. Характерным показателем дистанцированности литературного языка от диалекта является то, что русские писатели XIX в. даже при описании крестьянского быта избегали больших диалектных вкраплений, т.е. литературный язык и диалекты представлялись несовместимыми на одной плоскости.

У самих носителей непрестижных форм языка может сформироваться негативное отношение к своему языку, желание его изменить или заменить. Но только в том случае, если индивидум выходит за пределы своего социума, контактирует с носите-

лями престижных с его точки зрения форм языка и испытывает языковое давление новой среды. Вне таких контактов негативное отношение к диалекту в среде его носителей не складывается и диалект остается достаточно стабильным, успешно обслуживая коммуникативные потребности своих носителей. Вообще отрицательная оценка своего языка спонтанно не формируется – сравни часто встречаемое ироническое отношение диалектоносителей к соседним диалектам, но никогда к своему.

В начале XX в., особенно после 1917 г., русские диалекты были включены в новую языковую политику. Центральным моментом этой политики была социально-политическая компрометация русских диалектов и замена их литературным языком. Овладение литературным языком предполагает, что носители диалекта, встав перед альтернативой выбора из диалектного и литературного варианта одного явления (по Р.И. Аванесову – это компоненты одного соответственного явления [Аванесов 1947]), отдают предпочтение литературному варианту. Собственно к формированию этого стереотипа и сводится проблема замены диалектов литературным языком.

Планомерно внедрению литературного языка призвано служить школьное образование. В случае успешного решения задачи должна измениться языковая ситуация в масштабах национального языка, поскольку из него устраняются территориально ограниченные формы. Вариантом решения той же задачи может быть установление такого соотношения между диалектом и литературным языком, которое определяется как "координативное двуязычие" [Резенцвейг 1972: 10]. Однако, как показала практика, оба желаемых результата не всегда оказываются достижимыми.

Переход от диалекта к литературному языку предполагает сознательный отказ от материнского языка/речи. Такой отказ (если только он не связан с переходом на язык, понятный всем участникам коммуникативного акта, от языка, понятного лишь части участников этого акта) принципиально должен сопровождаться негативной оценкой своего языка. Подобная оценка без труда формируется, если диалектоноситель оказывается в среде говорящих на литературном языке и изолирован от представителей своего диалекта. Престиж литературного языка в такой ситуации безусловен, поскольку "престиж связан с перенесением на одну из лингвистических форм социальных ценностей, приписываемых выработавшей их социальной группе" [Лабов 1976: 21]. Ощущение престижности языкового идиома сопровождается стремлением не выделяться на общем фоне говорящих на этом языке, а стать одним из них. Однако и в такой ситуации носители диалекта не всегда полностью освобождаются от диалектных особенностей в своей речи [Коготкова 1979: 7; Розенцвейг: 5]. Особенно это касается грамматической стороны языка – фонетики и морфологии, в меньшей – степени лексики [Баранникова 1974: 55].

По-другому обстоит дело, если обучающийся литературному языку диалектоноситель живет в коллективе говорящих на диалекте, когда социальный контроль имеет другое содержание, чем в ситуации, описанной выше. В этих условиях престиж литературного языка за пределами школы не самоочевиден. Ощущаемое диалектоносителем отличие своего языка от стандарта не означает обязательно негативного отношения к своему языку. Не исключена даже негативная оценка литературных форм в речи диалектоносителей. Так, иногда попытки отдельных лиц внести орфоэпическую коррекцию в свою речь встречают насмешливое отношение со стороны других носителей диалекта и оценивается как жеманство и претенциозность. В этом случае действует универсальный принцип: "Всякая устойчивая социальная группа – помимо всех других условий своего образования – объединяется общностью языка... Тесная и длительная солидарность не может существовать без этого. А с другой стороны – только при противопоставлении или столкновении с другой группировкой обнаруживается сплоченность коллектива. Язык, таким образом, оказывается всегда фактором социальной дифференциации не в меньшей мере, чем социальной интеграции" [Ларин 1977: 191]. Языковая практика среды становится препятствием на пути отказа от диалекта – правильным считается то, что общепринято.

Контакт диалектов с литературным языком происходит и вне школьного образо-

вания. Это происходит при общении диалектоносителей с лицами, говорящими на литературном языке. При таком контакте отсутствует фактор целенаправленного нормативного воздействия на диалектоносителя. Нормативное значение литературное говорение обретает в том случае, если носитель диалекта будет оценивать его как образец языкового выражения и захочет ему подражать. Склонность к подражанию зависит от разнообразных обстоятельств, связанных как с личностью диалектоносителя, так и говорящего на литературном языке. Для того, чтобы в такой ситуации усвоить явление литературного языка, надо его заметить и понять его отличие от диалектного эквивалента. Сложнее всего для лингвистически неискушенного диалектоносителя уловить существо фонетических и морфологических различий. Специфика устного контакта, характеризующаяся практически отсутствием временного интервала между языковым намерением и его речевой реализацией, затрудняет детальную оценку формальных особенностей речи партнера и возможность коррекции собственной речи. По замечанию Л.В. Щербы – "Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю" [Щерба 1974: 25]. Поэтому при общем понимании сниженной престижности своего языка и интуитивном ощущении несходства между диалектной и литературной речью в поле конкретного внимания попадет фонетика и морфология отдельных словоформ, произношение которых с большим или меньшим успехом может приближаться к литературному образцу.

Широко распространено мнение, что во внедрении литературного языка в среду диалектоносителей одну из главных ролей играют средства массовой информации – радио и телевидение. Однако это несколько упрощенное представление. Импульс к подражанию аудитивно воспринимаемой речи предполагает сознательную установку на это у аудитора. Эта установка должна сочетаться с полным пониманием смысла слышимого текста. Для носителей русских диалектов литературная форма языка безусловно вполне понятна. Однако восприятие радио- и телеречи имеет свою специфику. Для слушателя язык средств массовой информации принципиально монологичен, поскольку диалог, в котором не участвует аудитор, воспринимается им как монолог, т.е. как речевая деятельность, протекающая без его участия. Форма же монолога, имеющего к тому же определенные отличия от языка аудитора, не обеспечивает полного понимания передаваемой информации. В этих условиях трудно ожидать, чтобы соответствующий текст мог восприниматься как образец для подражания, особенно в фонетическом и грамматическом отношении. Ср. замечание о том, что малое воздействие на слушателей радио- и телепередач "...является прямым следствием того, что не учитывается специфика языкового опыта реципиента и специфика смыслообразования в рамках этого опыта; для эффективного воздействия на слушателя необходим правильный выбор знаковой системы, не противоречащей языковому опыту реципиента... и диалогичность коммуникативного процесса" [Сорокин 1985: 62].

Средства массовой информации как распространители литературной нормы и источники орфоэпической коррекции могут быть эффективны лишь в среде тех диалектоносителей, язык которых уже подвергся целенаправленному воздействию литературной нормы.

В русской диалектологической литературе часто высказывается мнение, что в результате контактов диалекта с литературным языком у носителей диалекта складывается диалектно-литературное двуязычие, т.е. способность в зависимости от ситуации переключаться с одного кода на другой. При этом не уточняется, о каком типе двуязычия идет речь. А между тем, как правильно замечает Л.И. Баранникова, при рассмотрении этого вопроса необходимо, как минимум, различать активное и пассивное двуязычие [Баранникова 1974: 75]. Второе широко распространено и связано с той общей психолингвистической особенностью, согласно которой "способность декодировать сообщения первична и отчасти даже независимо от способности кодировать их" [Вайнрайх 1972: 31]. Существование же активного русского диа-

лектно-литературного двуязычия кажется проблематичным. Такое двуязычие может возникнуть: 1) если между диалектом и литературным языком имеется большое различие, возможно, даже затрудняющее понимание (сходные системы труднее разграничивать, чем сильно различающиеся [Вайнрайх 1972: 31]) и 2) если диалекты обладают не много меньшим престижем, чем литературный язык, но сферы их употребления разные. Именно этими факторами обусловлено немецкое диалектно-литературное двуязычие [Жирмунский 1968: 25].

В русской языковой действительности оба фактора не актуальны. С одной стороны, очевидна близость между диалектами и литературным языком, а с другой – диалекты не относятся к престижным формам. Активное двуязычие может быть определено как правильное и неправильное в зависимости от соблюдения норм двух языков. При близком сходстве диалекта и литературного языка активное двуязычие можно констатировать только в том случае, если оно правильное – вряд ли можно признать литературной русскую речь, содержащую факты диалектной фонетики и грамматики, если даже диалектная лексика и заменена литературной.

Сторонники идеи существования русского диалектно-литературного двуязычия ни в одном из исследований не приводят примеров реализации правильного двуязычия. Чаще всего как аргумент в пользу двуязычия приводится параллельное употребление диалектных и литературных слов носителями диалекта. В этом случае феномен двуязычия ограничивается одним уровнем языка, так как "переключение кода" в словаре отнюдь не всегда сопровождается тем же в фонетике и грамматике. Не говоря о том, что освоение литературной лексики может иметь тематические ограничения – например, как показывают наблюдения, при переселении сельских жителей в город у них обычно сохраняется словарь, связанный с названием растений, реалий сельского быта и под.

Нередко как аргумент в пользу диалектно-литературного двуязычия приводится тот факт, что носители диалекта при разговоре с городскими людьми стараются приблизить свою речь к литературной норме [Коготкова 1979: 13]. Однако в этой ситуации стоит различать языковое намерение и его реализацию, так как часто они не совпадают. Происходит "расхождение между тем, что фактически говорят, и между тем, что думают, что сказали или должны были сказать" [McDavid 1976: 237].

Из сказанного можно заключить, что разного вида контакты, в которые вступают русские диалекты с литературным языком, не приводят к устранению диалекта ни путем его замены стандартной формой, ни путем его включения в диалектно-литературное двуязычие. Для достижения таких результатов необходима специальная форма обучения, где центральное место занимает постановка произношения и внедрение нормативных грамматических правил. В рамках обычной образовательной практики это не может быть предусмотрено.

Сложившаяся в 30-е годы официальная оценка русских диалектов как социально-политически скомпрометированных идиомов (ср. ставшее традиционным выделение отсталого и передового слоев говора [Каринский 1936: 9]) не могла не отразиться на преподавании русского языка в сельской школе. С тем, чтобы ориентировать учащихся на выбор литературных форм, в сельской практике не только разъяснялось многообразное значение литературного языка, что естественно, но и подчеркивался низкий статус диалекта. Так воспитывалось пренебрежительное отношение к материнскому языку без ясного представления о том, к каким социально-психологическим последствиям это может привести. Между тем, отрицательное отношение к своему языку вызывает социальную и культурную неуверенность, затрудняет контакты с представителями городской культуры, нарушает генерационные связи (что сопровождается моральными издержками) и, наконец, просто обедняет речевую деятельность человека. Диалектологи иногда могут наблюдать, что среди сельских жителей наименее способными к монологу, этому наиболее сложному виду речевой деятельности, оказываются молодые люди, прошедшие школьное образование. На опасные последствия прямолинейного выталкивания диалектных форм языка обращалось внимание в

разное время. Так, В. Даль писал в 1852 г. – "...с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом, без слов нет сознательной мысли, а есть разве только чувство и мычание" [Даль 1935: III]. Столетие спустя сходную мысль высказывает немецкий лингвист Л. Вайсгербер – "...диалект – это языковое открытие родины... независимая ценность диалектов состоит в том, что они дают гармонию внешнего и внутреннего мира, что они действительны и в сравнении с литературным языком. Диалекты уходят, но пустоты заполняются не литературным языком, а жаргоном" [Weisgerber 1976: 107].

Эти идеи были чужды отечественной практике – бережное отношение к диалекту при обучении литературному языку казалось нонсенсом. Между тем овладение литературным языком без обязательного подавления диалекта может стать основой диалектно-литературного двуязычия, способствуя этим психологической уверенности и раскованности речевого поведения носителей диалекта, а также более длительному сохранению диалектов как части национальной культуры.

Уяснив официальное отношение к диалектным формам русского языка, правомерно обратиться к вопросу о том, как сами диалекты реагировали на те социальные процессы, которые имели место в русском обществе в XX в.

В принципе динамика диалекта как языкового идиома может определяться конструктивными (I) и деструктивными (II) факторами.

Факторы (I) проявляются в изменении по внутренним импульсам системы диалекта с учетом внешних стимулов типа контактов с другими языковыми системами, в том числе и с литературным языком; в этом случае диалект изменяется по правилам нормального языкового процесса.

Факторы (II) обуславливают исчезновение диалекта как языкового феномена под влиянием обстоятельств социального и демографического свойства. Это могут быть следующие обстоятельства: 1) иноязычное давление, имеющее целью вытеснить диалект, для успеха чего требуется достаточно жесткая официальная политика (пример этого – исчезновение языка полабских славян, как результат германизации); 2) исчезновение населенных пунктов, к которым привязан диалект и расселение его носителей в другой языковой/диалектной среде; 3) физическое уничтожение носителей диалекта.

Все деструктивные факторы сыграли роль в судьбе русских диалектов. В 30-е годы XX в. широко практиковалось переселение и уничтожение крестьянства в ходе реализации планов индустриализации и коллективизации. Тяжелый удар по сельскому населению России нанесла война. В 70-е годы в связи с кампанией по ликвидации неперспективных деревень также происходило переселение людей из сел, с которыми они исконно были связаны. Все это травмировало традиционно сложившийся диалектный континуум – сокращалась (или разрезалась) территория, заселенная носителями русских диалектов. Так, многие пункты, обследованные по Программе русского диалектного атласа в 40–50-е годы, сейчас не существуют. Исчезли и их говоры. Многие деревни, особенно на русском Севере, находятся на грани исчезновения – настолько сократилось их население.

В то же время в местах, где сельское население было более или менее стабильно, воздействие деструктивных факторов на диалекты проявлялось не так остро. Здесь динамика диалектов ограничивалась рамками собственно языковых/структурных правил. И оказалось, что русские диалекты проявили большую устойчивость и сохраняются как нормально функционирующие системы. Сторонники тезиса о быстром исчезновении русских диалектов отреагировали на этот факт утверждением, что в современном обществе русскому литературному языку противостоит не диалект, а "полудиалект". Этот термин должен фиксировать приближение диалектов к литературному языку в виде образования "структуры, представляющей собою слав сосуществующих языковых элементов диалекта и литературного языка" [Коготкова 1979: 6]. Однако введение нового термина не меняет содержания языковой ситуации, в

которую включены диалектные и литературные формы языка – то, что называется "полудиалектом", в синхронном плане противостоит литературному языку как диалект.

Устойчивость современных русских диалектов в их фонетике и морфологии предстает как бесспорный факт при изучении речевого поведения населения сел, сохранивших нормальную генерационную структуру. Лексика в диалектах более динамична, но не все новации отражают собственно языковую динамику диалекта – усвоение новых слов вместе с новыми понятиями относится к области экстралингвистики.

Стабильность диалекта в грамматическом плане – это нормальное проявление консерватизма, онтологически присущего любому естественному языку. Сравни в этой связи: «Значительно хуже мы понимаем причину того, почему удерживается архаический тип там, где язык уже имеет удобный образец развития. В литературном языке обычно при исследовании подобных явлений прибегаем к социологическим причинам. Считаем, что изменение в кодификации не произошло потому, что старшее состояние поддерживается приверженностью к традиции, иногда действием рационалистических намерений, искусственных влияний... В диалекте подобные внешние причины не подходят – диалектная структура обнаруживает тенденцию к сохранению старшего состояния, иногда структурно менее "удобного"» [Chloupek 1973: 20].

Факторы, стабилизирующие структуру отдельных русских диалектов, заслуживают изучения, как самостоятельная проблема. Покажем это на примере некоторых явлений диалектной фонетики.

В русской диалектологии разработана типология звуковых диалектных особенностей. Они делятся на два основных типа – относящиеся к фонетическому слову как к целому (различие в месте ударения) и относящиеся к отдельной звуковой единице (фонематически значимой и фонематически незначимой) [Вопросы теории... 1962: 49]. Эти различия ориентированы на качество дискретных единиц и не исчерпывают специфику фонетических особенностей русских диалектов. Эта специфика проявляется уже на том уровне, который принято относить к досистемным особенностям языка и тем самым как бы выносить за скобки лингвистического анализа. Имеется в виду артикуляционная база. Она как материальный субстрат звукового строя языка формируется в детстве на стадии овладения языком и "является следствием языковой традиции, следствием передачи языка из поколения в поколение" [Зиндер 1979: 80]. Изменение артикуляционной базы в принципе может быть достигнуто лишь путем специальной постановки произношения, цель которой один автоматизм заменить другим, что представляет большую трудность и не всегда достижимо. При этом надо иметь в виду, что элементы артикуляционной базы не поддаются избирательному изменению. Должна меняться общая звукообразующая установка, общая нюансировка речи. С.С. Высотский установил, что севернорусские диалекты при фонематической тождественности систем вокализма различаются артикуляцией гласных. Различия касаются размещения "артикуляционных рядов гласных в более передней или задней части полости рта", "артикуляционных подъемов в более высокой или в более низкой части полости рта" [Высотский 1967: 9]. Ясно, что орфоэпическая коррекция этих вокальных систем предполагает перестройку артикуляции не одного какого-то гласного, а всех.

Артикуляционная база может препятствовать освоению орфоэпических правил позиционного поведения звуков. Показательна в этом плане устойчивость оканья в одном из говоров Пинежского р-на Архангельской обл. Явление это в принципе более сложно и структурно менее удобно, чем орфоэпическое аканье – различение безударных гласных неверхнего подъема сложнее их неразличения. Тем не менее вопреки социальной престижности аканья, как черты литературного языка, оканье в целом держится устойчиво. Причина в том, что артикуляция гласной неверхнего подъема в говоре уже и напряженнее, чем это предусмотрено орфоэпией. Поэтому литератур-

ный образец типа *dɫá, vɫá* требует освоения в предупредном слоге чуждого говору гласного, и это тормозит распространение аканья.

Возможности коррекции диалектной фонетики сокращаются, если в характеристику диалектной особенности входит позиционная связанность звуков в их линейной последовательности. Такая связанность означает, что фонетическое слово присутствует в сознании говорящих не как набор дискретных единиц, а задается как фонетический процесс. Регулятором этого процесса в большой мере является антиципация (предвидение) еще не произнесенного сегмента при выборе предшествующего ему звука. Иными словами, импульс к позиционному изменению звука задан в сознании говорящих еще до развертывания звуковой цепи. В этом случае связь между рядом стоящими звуками дистактна. Это показывают факты регрессивной ассимиляции, организация типов безударного вокализма, учитывающих качество сегмента в следующем слоге.

Дистактные связи в линейной последовательности звуков действительно охраняют диалектную фонетику. Отказ от фонетической диалектной черты в этом случае означает не просто замену одного звука другим в данной позиции, но перестройку фонетической программы слова, т.е. практически освоение нового слова. Именно поэтому устойчивы такие модели диалектного предупредного вокализма, как диссимилятивное аканье, умеренное яканье. Заслуживает внимания тот факт, что стабилизирующий потенциал дистактных связей может включаться при нарушении такого диалектного явления, которое в своем исходном виде не регламентируется связями такого рода. В русской диалектологии известны факты, когда в говоре при нарушении модели оканья выбор предупредного гласного неверхнего подъема начинает ориентироваться на качество гласного под ударением [Пауфошима 1978; Кириллова, Новикова 1988: 69]. Исходно в модели оканья не предусмотрены дистактные связи в звуковой цепи. Для аканья этот фактор в виде учета места ударения – актуален. При перестройке оканья в сторону орфоэпического аканья в программу слова включается не только место ударения, но и качество гласного под ударением. Известно, что замена *o* гласным *a* в предупредном слоге при отходе от оканья раньше всего происходит перед слогом с ударным *a* и, напротив, *o* дольше всего сохраняется перед слогом с лабиализованными гласными.

Насколько действительно дистактные связи в звуковой цепи охраняют диалектную фонетику, показывает разная устойчивость позиционно свободной и позиционно обусловленной частей одной и той же диалектной особенности. Так, при замене фрикативного *ɣ* взрывным *g*, как правило, сохраняются результаты оглушения *ɣ* в *x*. Внешне устранение *x* в примере типа *sn'ex* и замена его согласным *k* не связаны с овладением неизвестной артикуляцией или новой последовательностью сегментов (ср. *rak, tak, p'esók*). Речь идет об овладении новой фонетической программой слова, при которой звонкий заднеязычный перед паузой должен заменяться глухим взрывным, а не фрикативным согласным. Но овладение новой программой как новым динамическим стереотипом значительно сложнее, чем освоение нового звука.

Устойчивы и практически не поддаются обычной орфоэпической коррекции такие диалектные черты, которые охраняются как артикуляционной базой говора, так и фонетической программой слова. Пример этого дают изменение *v* → *ɥ* перед согласным и на конце слова (*d'éva* → *d'éɥka, drová* → *droɥ*), недопустимость мягких губных на конце слова (*krouɥ, óz'im, sup*). Эти явления фонетики поддерживаются: 1) отсутствием навыка переключения лабио-дентального сближения в согласный и паузу – такое переключение возможно лишь из билабиального сближения; трудностью переключения палатализованных в губном ряду в паузу – такой переход возможен лишь от твердого согласного, чем и объясняется замена мягких губных твердыми на конце слова; 2) произносительной программой, включающей момент антиципации при выборе консонантной лабиальной артикуляции. Если предусмотренная этой антиципацией мена согласных губного ряда не происходит, то для говорящих это авто-

матически сигнализирует иной сегмент после губного согласного – не пауза и не согласный.

Охранять фонетику диалекта может его общий фонетический контекст.

Пример этого дает упомянутый говор Пинежского р-на, где весьма устойчиво мягкое цоканье. Существует мнение, что переход от цоканья к различению зубной и переднеязычной аффрикаты сопряжен с освоением неизвестной носителям диалекта артикуляции – шипящей аффрикаты [Колесов 1975: 14]. Другая сложность состоит в том, чтобы правильно распределить свистящую и шипящую аффрикаты. Для носителей рассматриваемого говора артикуляция шипящей аффрикаты известна. Переднеязычная корональная аффриката *č* произносится: 1) в составе сочетания *šč*, соответствующего литературному *š*:; 2) на месте *t* перед *š* (*očšaxn'ís, mláčšej, samošéčšej*) и после *š* (*ščaný, ščóru, ščúka* = щука и штука). Имеется палатальная аффриката *č'* в виде позиционной замены *t* после *š* (*š'čenók* = тень). Хотя аудитивно аффриката *č'* близка к палатализованной переднеязычной *č'*, тем не менее как эквивалент орфоэпической аффрикаты носителями говора она не воспринимается, возможно, благодаря ее узкой позиционной связанности. Отход от мягкого цоканья к орфоэпическому различению аффрикат должен сопровождаться заменой *č'* на *s*. Эта артикуляция известна в виде позиционной замены *t* перед *s* (*pocsadíť, p'acsót, ocsúnulaš*).

Таким образом, фонетика говора обладает ресурсами для введения различения свистящей и шипящей аффрикаты. Но программа введения *č'* и *s* разная. Для *č'* надо элиминировать позиционную обусловленность шипящей аффрикаты *č* и повысить у нее тон, т.е. заменить корональную форму языка плоской. Для *s* надо также элиминировать позиционную обусловленность твердой зубной аффрикаты и заменить твердой аффрикатой мягкую. По-видимому, замена *č'* на *s* для носителей говора является более трудной, чем введение шипящей аффрикаты, так как *s* перед гласными появляется очень редко.

Устойчивость мягкого цоканья в говоре с точки зрения фонологии алогична. Аффриката *č'* является единственным переднеязычным палатализованным согласным. Как таковой он ассимилирующе воздействует на предшествующий *š* – *koš'éc' → kos'č'á, šec'ás → s'č'as*, т.е. спирант из палатального ряда переходит в зубной. При заполненности палатального ряда взрывными и фрикативными согласными можно было бы ожидать: 1) передвижения согласного *č'* в палатальный ряд, т.е. его изменения в *č*, который известен как позиционная замена *t*; 2) отвердения *č'* в *s*. Однако ни того, ни другого не происходит – нарушение правила мягкого цоканья проявляется в отдельных случаях в произношении *č, č', č'* на месте *č'* при редкой замене *č'* на *s*. В целом же *č'* держится устойчиво. Эта устойчивость обеспечивается общим звуковым контекстом диалектной речи. Присутствие палатальных фрикативных *š, ž, сочетаний šč, ždž, аффрикат č, ž* (из *t, d* после *š, ž*) создает общую шепеляво-шипящую нюансировку речи в этом диалекте. Артикуляционный контраст этой тотальной шепелявости создают фрикативные *s, z* и свистящая аффриката *č'*. Для носителей говора этот артикуляционный контраст привычен и, наоборот, ощущение произносительного дискомфорта может возникнуть при замене *č'* шипящей аффрикатой *č*, для чего в фонетике говора имеются ресурсы. Это пример того, как общий фонетический фон говора охраняет позиционно необусловленное и внешне казалось бы легко поддающееся орфоэпической коррекции диалектное явление фонетики.

Сказанное позволяет сделать следующий вывод. Социально-политические процессы, характерные для русского общества в первой половине XX в. (включая 70-е годы), вызвали изменения в русском диалектном континууме, сократив его насыщенность диалектными идиомами. В то же время диалекты, существовавшие в условиях территориальной и временной преемственности вопреки официальной языковой политике демонстрируют структурную устойчивость (консерватизм), естественно приущую живому языку. Это заставляет с сомнением относиться к тезису, согласно

которому русские диалекты в современной языковой ситуации якобы занимают периферийное место, отведенное языковым реликтам. Территориальные диалекты – это варианты современного русского языка, которые для значительной части его носителей являются нормальным средством коммуникации. Русские диалекты, как любой язык, осуществляя духовную преемственность нации, являются феноменом культурного национального наследия, а сохранение диалектов отнюдь не является проявлением отсталости языка или несостоятельности культурных сил, действующих в обществе.

Понимание того, что в современной языковой ситуации русские диалекты занимают существенное место, оставаясь основным оппонентом литературного языка, предъявляет определенные требования к их изучению. Диалект следует изучать как полноценный языковой идиом, исключив дифференциальный подход в анализе его структуры. Только при этом условии можно получить представление об устройстве и функционировании диалекта, его реакции на контакты с литературным языком и другими диалектами, содержательно прогнозировать и понимать динамику диалекта.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов В.И. 1947 – Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка // ИАН СЛЯ. 1947. № 3.
- Баранникова Л.И. 1974 – Русские народные говоры в советский период. Саратов, 1974.
- Блумфилд Л. 1968 – Язык. М., 1968.
- Вайнрайх У. 1972 – Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1972.
- Вопросы теории... 1962 – Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1962.
- Высотский С.С. 1967 – Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967.
- Городское просторечие... 1984 – Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.
- Гринкова Н.П. 1947 – Воронежские диалекты. М., 1947.
- Даль В. 1935 – Толковый словарь. М., 1935 [Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1880].
- Диал. и лит. разг. речь... 1974 – Диалектная и литературная разговорная речь. Волгоград, 1974.
- Жирмунский В.М. 1968 – Проблемы социальной дифференциации языков // Язык и общество. М., 1968.
- Земская Е.А. 1968 – Русская разговорная речь. Проспект. М., 1968.
- Зиндер Л.Р. 1979 – Общая фонетика. М., 1979.
- Каринский Н.М. 1936 – Очерки языка русских крестьян. М.; Л., 1936.
- Кириллова Н.В., Новикова Л.Н. 1988 – Активные процессы в фонетике современных русских народных говоров. Калинин, 1968.
- Козоткова Т.С. 1979 – Русская диалектная лексикология. М., 1979.
- Колесов В.В. 1975 – Расшировка системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры. Вып. 2. Л., 1975.
- Лабов У. 1976 – Единство социолингвистики // Социально-лингвистические исследования. М., 1976.
- Ларин Б.А. 1977 – История русского языка и общее языкознание. М., 1977.
- Мартине А. 1963 – Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Пауфошима Р.Ф. Перестройка системы предупредительного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978.
- Поливанов Е.Д. 1968 – Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Розенцвейг В.Ю. 1972 – Языковые контакты. Л., 1972.
- Сорокин Ю.А. 1985 – Психолингвистический аспект изучения текста. М., 1985.
- Филин Ф.П. 1938 – Исследования по лексике русских говоров. М.; Л., 1938.
- Филин Ф.П. 1973 – Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии // Славянское языкознание. VII Международной съезд славистов. М., 1973.
- Фонетика... 1968 – Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / Под ред. М.В. Панова. М., 1968.
- Чистяков В.Ф. 1935 – К изучению языка колхозника. Смоленск, 1935.
- Щерба Л.В. 1974 – Языковая система и языковая деятельность. М., 1974.
- Šloupek J. 1973 – Aktuální otázky dialektologie // Jazykovědné Symposium 1971. Brno, 1973.
- Mc David R.J. 1976 – Eine Theorie des Dialekts // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.
- Wiesgerber L. 1976 – Die Leistung der Mundart im Sprachganzen // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.

© 1997 г. М.Ю. ЧЕРТКОВА, В.А. ПЛУНГЯН, А.А. РЯБЧИКОВ, Д.О. КУЗНЕЦОВ

**ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ АСПЕКТОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА**

Идея предложить специалистам разных стран мира краткую аспектологическую анкету возникла в рамках аспектологического семинара, который действует на филологическом факультете МГУ с ноября 1994 г.<sup>1</sup>

Стремясь к более широкому обмену мнениями между аспектологами разных стран и научных школ, мы решили пригласить специалистов изложить свою точку зрения по поводу современного состояния исследований в области общей и славянской аспектологии, а также ряда классических "трудных проблем" аспектологии.

Наша небольшая анкета была разослана в декабре 1995 г. – январе 1996 г. Предлагалось ответить на все или некоторые вопросы анкеты, а также добавить к списку вопросов и другие, если они представляются заслуживающими обсуждения.

Ответы на предложенную анкету были получены от 35 исследователей из 13 стран<sup>2</sup>.

Вначале два общих замечания, касающихся полученных ответов.

1) Разными авторами ответы были даны, естественно, с разной степенью подробности. В данном обзоре, по необходимости являющемся лишь кратким и самым общим резюме полученных ответов, мы ставили задачу отразить прежде всего основное содержание, стараясь не упустить при этом ничего, что нам представлялось существенным.

2) Некоторые из предложенных в анкете вопросов были истолкованы специалистами по-разному, и в обзоре мы стремились это также отметить.

**Первая группа вопросов (общие проблемы аспектологии)**

*1. В чем вы видите основную трудность описания категории вида (аспекта) в славянских языках?*

Ответы на данный вопрос можно разделить на две большие группы, в зависимости

<sup>1</sup> На семинаре обсуждались проблемы общей, славянской и русской аспектологии, преподавания русского языка и др. С начала работы семинара до октября 1996 г. было проведено в общей сложности 42 заседания, на которых с докладами выступали российские и зарубежные лингвисты. Краткую информацию о работе семинара можно найти в [ВМУ 1995; 1996]. Должен выйти из печати I том "Трудов аспектологического семинара МГУ".

<sup>2</sup> Это А. Богуславский (Польша), А.В. Бондарко (Санкт-Петербург), Т.В. Булыгина (Москва), В.Г. Гак (Москва), Р. Гжегорчикова (Польша), М.Я. Гловинская (Москва), В.В. Гуревич (Москва), Р. Гусман Тирадо (Испания), Ж. Дюрэн (Франция), Анна А. Зализняк (Москва), А.А. Караванов (Москва), К. Ласорса-Сьедина (Италия), Ф. Леман (Германия), А.М. Ломов (Воронеж), Л. Лоннгрэн (Норвегия), Ж. Мартиноувский (Франция), Х.Р. Мелиг (Германия), Дж.Э. Миллер (Великобритания), А. Мустайоки (Финляндия), Я. Паневова (Чехия), В.А. Плунгян (Москва), З.Д. Попова (Воронеж), А. Спенсер (Великобритания), Ч. Таунсенд (США), А. Тимберлейк (США), Х. Томмола (Финляндия), Ф. Фичи-Джусти (Италия), В.С. Храковский (Санкт-Петербург), К. Чвани (США), М.Ю. Черткова (Москва), И.Б. Шатуновский (Дубна), Л. Ясаи (Венгрия). Кроме того, было прислано два коллективных ответа, один из которых составлен участниками лингвистического семинара Стокгольмского университета под руководством проф. Б. Нильссон, а второй подготовлен совместно Е.С. Кубряковой и Е.В. Петрухиной (Москва).

от того, как был истолкован вопрос: в более общем смысле "почему не удается дать адекватного научного описания категории вида в славянских языках?" либо в более конкретном смысле "почему нет единого для всех славянских языков описания категории вида?"

В ответах тех, кто придерживался более широкой интерпретации, приводятся различные причины, которые можно условно назвать объективными и субъективными.

К **объективным** можно отнести причины, связанные со сложностью реального устройства категории вида, а именно: сложность содержательного устройства и сложность формального устройства.

На сложность **содержательного** устройства категории вида указано в ответе Стокгольмского семинара. Другие отвечавшие дополнительно называли наиболее вероятные причины такой содержательной сложности, прежде всего взаимодействие разноуровневых факторов, определяющих употребление того или иного вида (А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Т.В. Булыгина, В.В. Гуревич, Р. Гусман Тирадо, Ф. Леман, Х.Р. Мелиг, Я. Паневова, А. Спенсер, А. Тимберлейк, Ф. Фичи-Джусти, И.Б. Шатуновский). В свою очередь, специфику такого взаимодействия в славянских языках А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Анна А. Зализняк, В.А. Плуноян видят в облигаторном характере славянского вида, что ведет к существенному усложнению правил выбора видовых форм и к увеличению их неоднородности. В.А. Плуноян, кроме того, отмечает, что дополнительные трудности создает бинарный характер видовой оппозиции: весь спектр видовой семантики приходится распределять лишь между двумя граммемами.

Среди взаимодействующих разноуровневых факторов, определяющих употребление того или иного вида, в анкетах выделяются в порядке частотности упоминаемые следующие:

а) влияние лексической семантики глагола (включая словообразовательную семантику аффиксов) на видовое значение (А.В. Бондарко, М.Я. Гловинская, В.В. Гуревич, Р. Гусман Тирадо, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ф. Леман, Х.Р. Мелиг, А. Мустайоки, Ф. Фичи-Джусти, И.Б. Шатуновский, Л. Ясаи);

б) влияние (коммуникативного) статуса ситуации, описываемой глаголом, на употребление видов (А.В. Бондарко, В.В. Гуревич, Ф. Леман, А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг, А. Спенсер, А. Тимберлейк, И.Б. Шатуновский);

в) влияние грамматических категорий времени и наклонения на употребление видов (В.В. Гуревич, Ф. Леман, А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг, Я. Паневова, А. Тимберлейк, И.Б. Шатуновский);

г) влияние семантики контекстного окружения глагола (В.В. Гуревич, И.Б. Шатуновский);

д) влияние статуса аргументов предиката (Х.Р. Мелиг);

е) влияние синтаксических факторов на употребление видов (Ф. Фичи-Джусти);

ж) влияние "готовых" и "пережиточных" употреблений в использовании вида (А. Мустайоки).

Сложность **формального** устройства категории вида сводится преимущественно к неединообразию и нерегулярности видового противопоставления глаголов в плане выражения (Е.Г. Борисова, Р. Гусман Тирадо, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, В.А. Плуноян, Х. Томмола, Л. Ясаи), а также к "нежесткости корреляции" между формой и содержанием (В.Г. Гак).

К **субъективным** причинам особой трудности описания категории вида мы сочли возможным отнести то, что вызвано несовершенством существующих теорий. Следует отметить, что в этой части ответы фактически затрагивали и второй вопрос анкеты, касающийся нерешенности аспектологических проблем, неполноты описания вида. Назывались следующие причины:

а) Отсутствие единой теории вида. Речь идет прежде всего, по удачной форму-

лировке Л. Ясаи, об "отсутствии соглашения по принципиальным теоретическим вопросам". Здесь же, в частности, следует назвать такие факторы, как отсутствие единой теории грамматики, естественным следствием чего является и отсутствие единой теории вида (К. Чвани); отсутствие в описании сопоставления с другими, неславянскими языками (К. Ласорса-Сьедина); особая позиция теоретической (и терминологической) русистики (Ж. Дюрен).

б) Разного рода "терминологические" проблемы (см. также ответы на 4 вопроса), в частности, непоследовательное различение значения и формы (А. Мустайоки, Я. Паневова), а также отсутствие упорядоченного общепринятого "метаязыка описания аспектологических систем различных языков" (Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ж. Мартиноувский).

в) "неоправданная приверженность давно уже пережившим себя научным представлениям" (А.М. Ломов).

Вторая группа ответов на первый вопрос объединена несколько более узкой его интерпретацией, а именно, "почему нет единого для всех славянских языков описания категории вида?"

В ответе участников Стокгольмского семинара в качестве причины названа нетождественность категории вида в разных славянских языках.

Та же интерпретация встречается и в несколько более "прагматической" постановке: в чем основная трудность описания вида для иностранцев? Ответ – в "невозможности дать единую картину вида с точки зрения славяноговорящего, с одной стороны, с неславяноговорящего – с другой" (А.А. Караванов). Близка к данному мнению точка зрения участников Стокгольмского семинара, считающих самой большой трудностью описания славянского вида "тот простой факт, что в западных языках ... вид как грамматическая категория чаще всего отсутствует". Существование значительных проблем в преподавании вида иностранцам, с одной стороны, является следствием отсутствия адекватной, непротиворечивой теории вида (М.Ю. Черткова), а с другой стороны, связано с отсутствием совершенно необходимой адаптации и корректировки чисто научных выводов для целей преподавания (А.А. Караванов).

*2. Какие проблемы описания этой категории вам представляются в настоящее время нерешенными (или решенными не полностью)?*

Ответы можно представить в виде списка проблем.

а) "Отсутствие общей теории грамматики, включающей теорию вида как компонент, согласованный с другими компонентами" (К. Чвани).

б) Проблема создания такой "динамической модели", которая способна учесть факты всех языковых уровней, участвующих в формировании видовых значений (А. Тимберлейк). Данную проблему поднимали также в своих ответах А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Т.В. Булыгина, Ж. Дюрен, Ф. Леман, А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг, К. Чвани, М.Ю. Черткова, И.Б. Шатуновский.

В частности, особого внимания требуют следующие межуровневые феномены:

– взаимодействие лексического и видового значений (А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Р. Гусман Тирадо, Ф. Леман, А. Спенсер, Стокгольмский семинар, Ф. Фичи-Джусти, Л. Ясаи);

– роль синтаксического контекста в описании вида (Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ф. Фичи-Джусти, К. Чвани);

– модусные значения, выражаемые видом (А.А. Караванов).

в) Проблема описания глагольного вида "в ономаσιологическом плане, от значения к форме" (В.Г. Гак).

г) Как традиционные, так и нетрадиционные проблемы "аспектологической дескриптики", в частности, следующие:

– наличие и возможная природа инварианта / общего значения (Р. Гусман Тирадо, А. Спенсер, М.Ю. Черткова);

– наличие видовой парности и ее границы (М.Ю. Черткова, Л. Ясаи); данный вопрос тесно связан также с проблемой соотношения вида и способа действия (М.Ю. Черткова);

– необходимость дальнейшего описания частно-видовых значений и необходимость создания аспектологического словаря русских глаголов (Анна А. Зализняк);

– дальнейший анализ глагольной префиксации (Дж. Миллер, В.А. Плуноян);

– анализ видовых значений в причастных конструкциях (Дж. Миллер) и в формах косвенных наклонений (В.А. Плуноян);

– более полный учет данных о видо-временных системах других славянских языков

– прежде всего, болгарского (Дж. Миллер, Ч. Таунсенд).

д) Проблемы, связанные с описанием славянского вида как частной реализации универсальной категории аспекта.

В ответах указывалось на необходимость более глубокого изучения следующих тем:

– возникновение и развитие вида (Х. Томмола, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, М.Ю. Черткова);

– связь вида с универсальным набором способов действия, представленным в частно-видовых значениях (А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, К. Ласорса-Съедина, А. Мустайоки, Я. Паневова); погружение славянской аспектологической проблематики в более широкий типологический контекст (В.А. Плуноян).

е) В ряде ответов обозначены проблемы, по-видимому, преимущественно методологического характера:

– "решение любой проблемы может быть углублено в свете новых достижений семантики" (М.Я. Гловинская);

– необходимо переходить от описания к объяснению (Ж. Мартиновский, М.Ю. Черткова);

– необходимо также решать проблемы терминологии, четко различая в описании значение и форму (Я. Паневова), разрабатывая метаязык, нормируя терминологию, глубже определяя содержание понятия "вид" (Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина).

### *3. Какие работы последнего времени в области общей и славянской аспектологии вам представляются наиболее удачными с теоретической точки зрения?*

Ответы на данный вопрос были разнородными: назывались отдельные работы тех или иных лингвистов, давалась отсылка к творчеству того или иного автора в целом, упоминались отдельные школы или отдельные теоретические положения. Учитывая, что филологический факультет МГУ планирует опубликовать ответы на вопросы полностью (во II томе "Трудов аспектологического семинара МГУ"), приведем только фамилии наиболее часто упоминавшихся (в той или иной связи) ученых: к ним относятся, что совершенно естественно, прежде всего А.В. Бондарко, М.Я. Гловинская, Е.В. Падучева и Ю.С. Маслов, а также Э. Даль, Б. Комри, М. Кошмидер и О.П. Рассудова; эти авторы упоминаются примерно в равной степени как российскими, так и зарубежными аспектологами. Российские аспектологи часто ссылаются также на работы Ю.Д. Апресяна; их зарубежные коллеги дополнительно отмечают вклад П. Дурста-Андерсена, В. Клейна и К. Смит, работы которых в России пока известны, по-видимому, недостаточно.

### *4. Удовлетворены ли вы современным состоянием аспектологической терминологии? Если нет, то какие изменения в этой области Вы считали бы необходимыми?*

Отвечая на этот вопрос авторы анкет, как правило, не давали категоричного ответа: "да" или "нет". При этом предложения и замечания высказывались независимо от того, удовлетворен ли отвечающий в целом состоянием дел в области терминологии или нет. Таким образом, не наличие замечаний как таковых определяло отношение отвечающих к существующей терминологии (они были у всех ответивших

на данный вопрос). Отношение определялось тем, насколько важными и принципиальными считались имеющиеся недостатки.

В целом, современным состоянием аспектологической терминологии удовлетворены М.Я. Гловинская, Р. Гусман Тирадо, К. Ласорса-Сьедина, Ф. Леман, А.М. Ломов, Дж. Миллер, А. Мустайоки, участники Стокгольмского семинара, А.Тимберлейк, Х. Томмола, Ф. Фичи-Джусти, И.Б. Шатуновский, Л. Ясаи.

С другой стороны, не удовлетворены положением дел в данной области А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина, В.В. Гуревич, Ж. Дюрэн, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ж. Мартиновский, Х.Р. Мелиг, Я. Панева, В.А. Плунгян, А. Спенсер, К. Чвани, М.Ю. Черткова.

Доводы первой группы специалистов можно разюмировать следующим образом:

– несомненно, пуганица существует, но это естественно, поскольку, пока нет какой-либо единой теории, данное положение все равно невозможно поправить (Ж. Мартиновский, Стокгольмский семинар, Х. Томмола, И.Б. Шатуновский);

– существующая терминология в принципе позволяет решать существующие проблемы, и кроме того, все специалисты друг друга так или иначе понимают (А.М. Ломов, Л. Ясаи);

– в конечном итоге терминология вторична, особенно в преподавании (К. Ласорса-Сьедина).

Однако давая положительный в целом ответ, эти авторы высказали и ряд замечаний:

– иногда терминология "корява" в переводах и неудачна в этимологическом плане (А.М. Ломов);

– в принципе существует опасность возникновения невзаимопонимания "отдельных парадигм" (Л. Ясаи).

Многие специалисты, отвечавшие на данный вопрос, высказываются в пользу большей унификации терминологии (А.В. Бондарко, М.Я. Гловинская, А.А. Караванов, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ф. Леман).

При этом выделяются следующие области первоочередной унификации:

а) унификация терминологии способов действия (А. Спенсер, Л. Ясаи);

б) последовательное различение формы и значения (А. Мустайоки, Я. Панева, А.Тимберлейк);

в) унификация общеморфологических понятий (таких, как оппозиция, маркированность и др.) (К. Чвани);

г) унификация определения вида (аспекта) (Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Дж. Миллер, Ф. Фичи-Джусти, К. Чвани, М.Ю. Черткова);

д) унификация понятий общей теории аспекта (предельность и т.п.). Следует отметить, что Т.В. Булыгина предлагает ограничить употребление понятия "предельность" или вообще обходиться без него.

Было высказано также мнение о том, что в основе теории вида должны лежать другие термины и понятия, нежели существующие (В.В. Гуревич, Ж. Дюрэн).

Анна А. Зализняк особо отметила недостаточность отражения аспектологической терминологии в существующих лингвистических словарях.

##### *5. Считаете ли вы вид специфически славянским языковым явлением или одной из частных реализаций универсальной категории аспекта?*

В ответах было высказано следующее мнение: опираясь на известный тезис, согласно которому все языки описывают одну и ту же действительность, допустимо считать славянский вид частной реализацией универсальной семантической категории аспекта. Славянский вид специфичен прежде всего по форме – как уникальная комбинация на определенном формальном уровне различных семантических аспектуальных подзначений. Данной точки зрения придерживается большинство авторов анкет: А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, В.В. Гуревич, Р. Гусман Тирадо, Ж. Дюрэн, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, Е.С. Кубрякова и Е.В. Пет-

рухина, К. Ласорса-Съедина, Ф. Леман, А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг, Дж. Миллер, А. Мустайоки, В.А. Плунгян, А. Спенсер, А. Тимберлейк, Х. Томмола, Ф. Фичи-Джусти, К. Чвани, М.Ю. Черткова, И.Б. Шатуновский, Л. Ясаи.

По поводу специфичности вида были высказаны также следующие положения:

а) вид специфичен не только по форме, но и как "идиознтическая" категория (в смысле Э. Сепира и др.) (А.А. Караванов, Я. Паневова);

б) вид специфичен не только по отношению к неславянским языкам, но и внутри разных славянских языков не тождествен (К. Чвани).

Ряд авторов придерживается, однако, противоположной точки зрения – вид представляет собой специфическое славянское явление (Я. Паневова, З.Д. Попова, Стокгольмский семинар). В ответе участников Стокгольмского семинара эта точка зрения мотивируется тем, что языковые категории следует рассматривать прежде всего в плане формы, а не в универсально-семантическом плане.

## **Вторая группа вопросов (частные проблемы русской аспектологии)**

*6. Считаете ли вы более плодотворными описание русского вида прежде всего как "семантической" или прежде всего как "прагматической" категории?*

Как чисто семантическую категорию вид рассматривают Р. Гжегорчикова, М.Я. Гловинская, Р. Гусман Тирадо, Ф. Леман, А.М. Ломов, В.А. Плунгян, Ф. Фичи-Джусти, Стокгольмский семинар.

К семантическим категориям, обогащенным прагматическим компонентом, его относят К. Ласорса-Съедина, Л. Лоннгрен. Как уточняют А.В. Бондарко и Л. Ясаи, данный прагматический компонент особенно важен при рассмотрении императива. Т.В. Булыгина, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина отмечают важность более глубокого изучения вида с точки зрения прагматики.

Семантико-прагматической категорией вид считают А.А. Караванов и И.Б. Шатуновский.

Вид является грамматической категорией, включающей в силу этого, как семантические, так и прагматические компоненты (Ж. Мартиновский, А. Спенсер). Е.Г. Борисова и А. Тимберлейк настаивают на невозможности существования одних компонентов без других.

Я. Паневова и Х. Томмола указывают, что прагматический компонент в целом "не дотягивает" до категориального статуса. Я. Паневова отмечает также неестественность самого противопоставления семантики и прагматики. О несущественности (или вторичности) подобного противопоставления говорится также в ответах А. Мустайоки и В.А. Плунгяна. Сходным образом, Т.В. Булыгина обращает внимание на нечеткость границ между прагматикой и семантикой.

На невозможность (или некорректность) постановки вопроса об (однозначном) отнесении вида к семантическим или прагматическим категориям указали В.В. Гуревич, Ж. Дюрен, Анна А. Зализняк, Дж. Миллер, Я. Паневова, К. Чвани.

*7. Как вы определяете место вида в грамматике языка? Считаете ли Вы целесообразным говорить о русском виде как о преимущественно морфологической, синтаксической, лексико-грамматической, словообразовательной категории?*

Как чисто морфологическую (или преимущественно морфологическую) категорию предлагают рассматривать вид А.В. Бондарко, Е.Г. Борисова, Т.В. Булыгина, Ж. Дюрен, А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг, В.А. Плунгян, А. Спенсер, М.Ю. Черткова, Л. Ясаи.

Лексико-грамматическая трактовка кажется более предпочтительной Р. Гусман Тирадо, Е.С. Кубряковой и Е.В. Петрухиной, Ж. Мартиновскому (который при этом не исключает и других возможностей), Х.Р. Мелигу, участникам Стокгольмского семинара, Х. Томмоле.

В пользу комплексного (а именно, морфо-синтактико-семантического) рассмотрения вида высказываются В.В. Гуревич и К. Чвани, в пользу его грамматической

трактовки (без уточнений) – Анна А. Зализняк и А. Мустайоки. Я. Паневова считает наиболее целесообразным говорить о "лексико-грамматико-морфологической", а Ф. Фичи-Джусты – о "лексико-грамматико-синтаксической" природе вида.

Как считают А.А. Караванов, К. Ласорса-Сьедина и Дж. Миллер, в трактовке вида приемлемы все указанные возможности.

В ответах Р. Гжегорчиковой, Ф. Лемана, Л. Лоннгрена, З.Д. Поповой подчеркивается важность словообразовательных свойств вида; М.Я. Гловинская отмечает промежуточный между словообразованием и словоизменением характер вида.

С другой стороны, на нечеткость предлагаемого разграничения, "ненужность" приписывания феномену вида каких-либо границ указывают А. Тимберлейк и И.Б. Шатуновский.

*8. Какова ваша точка зрения на проблему инвариантов видовых значений? Существуют ли такие инварианты; если да, то в каких терминах они могут быть сформулированы?*

Как известно, это одна из самых сложных проблем славянской аспектологии; неудивительно, что разброс мнений при ответе на данный вопрос особенно велик.

Из числа лингвистов, не отрицающих существование инварианта, многие склоняются к тому, что в первую очередь надо определять инвариант СВ, который в русском языке, согласно этим исследователям, является маркированным членом привативной видовой оппозиции<sup>3</sup>. Ключевым понятием для формулировки инварианта СВ при таком понимании природы видовой оппозиции обычно считается "целостность" (Т.В. Булыгина, А.В. Бондарко, Р. Гжегорчикова, А.А. Караванов, Х. Томмола, Л. Ясаи); кроме того, на "предельность" указывают Р. Гусман Тирадо, А.В. Бондарко, Л. Ясаи (наравне с "целостностью"), Х.Р. Мелиг (в оригинале "Begrenzung"), Дж. Миллер (в оригинале "boundedness"); Дж. Миллер называет и семантику "констатации факта"). В.Г. Гак из-за неясности термина предлагает "предельность" закрепить за лексической семантикой глаголов, а для описания семантики вида предлагает использовать термин "лимитативность". В.В. Гуревич считает наиболее релевантным понятие "результативности". В качестве важных дополнительных понятий упоминаются и "однократность" (А.А. Караванов; Р. Гусман Тирадо).

Ряд аспектологов, оставаясь сторонниками инварианта, настаивают на эквивалентном характере видовой оппозиции и считают в равной степени необходимым формулировать инварианты для обеих видовых граммем.

А. Тимберлейк предлагает в качестве инвариантной характеристики НСВ представление о множестве "эквивалентных фаз действия", тогда как СВ всегда описывает переход от одной фазы к другой, отличной от нее. Близкую точку зрения высказывает И.Б. Шатуновский, квалифицируя НСВ как обозначение "одного и того же положения вещей", а СВ – как обозначение последовательности "сменяющих друг друга различных ситуаций"; сходная формулировка приводится и в ответе Ч. Таунсенда (СВ указывает на "изменение состояния").

М.Ю. Черткова инвариантным признаком НСВ предлагает считать сему "протяженности" (понимаемой широко), а инвариантным признаком СВ – сему "лимитативности"; при этом допускается существование "специфических" инвариантов на разных уровнях описания.

М.Я. Гловинская предлагает смысл "начать" для инварианта СВ, поясняя, что формулировать его лучше на языке семантических толкований. При этом, однако, инварианта для НСВ на данном метаязыке сформулировать не удастся.

А.М. Ломов противопоставляет "лексикографический" и "морфологический" под-

<sup>3</sup> Эксплицитно отмечают в своих ответах немаркированность НСВ по сравнению с СВ А.В. Бондарко, В.В. Гуревич, Р. Гусман Тирадо, А.А. Караванов (последний предлагает говорить о "нулевом" значении НСВ).

ходы к инвариантам, предлагая для характеристики инвариантных значений НСВ и СВ соответственно термины "процессность", "кратность" и "результативность".

Ж. Мартиновский отвечает следующим образом: НСВ "указывает на то, что происходит (происходило, будет происходить)", СВ – "на то, что есть или будет".

А. Спенсер предлагает использовать понятия "интервал", "точка во времени", "граница/предел", которые, по его словам, можно "при желании" считать инвариантами.

К. Чвани считает все общие формулировки инвариантов для обоих видов равно уязвимыми с точки зрения фактического материала, однако предлагает все же искать инварианты для отдельных семантических составляющих каждого вида.

А. Богуславский, Анна А. Зализняк, Ф. Фичи-Джуси представили ответы в виде ссылок на работы: А. Богуславский – на свою, Анна А. Зализняк – на работу Е.В. Падучевой (на эту работу ссылается и Ж. Мартиновский, упоминая проблему общефактического значения НСВ), при этом отмечая, что вопрос о существовании инварианта видов "вечный", Ф. Фичи-Джуси упоминает гипотезу А.В. Исаченко о "разобщенности" и "неразобщенности" действия с актом речи.

Л. Лоннгрэн считает "трудным" вопрос о формулировке инвариантов, особо оговаривая, что "при описании категории вида следует опираться на лексико-семантическую классификацию глаголов, а также различать отдельные значения видов".

Более скептически относятся к идее инварианта Е.Г. Борисова, Ж. Дюрэн, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ф. Леман, Я. Паневова, В.А. Плуноян, З.Д. Попова, участники Стокгольмского семинара. Часть исследователей предлагает для описания видовой полисемии альтернативный теоретический аппарат. Так, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина считают целесообразным описывать "естественную категоризацию его [вида] членов на основе теории прототипов и понятия семейного сходства (по Витгенштейну);" Я. Паневова высказывается в пользу "различения первичных и вторичных функций" (по Куриловичу). Ж. Дюрэн отрицательное отношение к гипотезе инварианта обосновывает "фрактальной" трактовкой языка, «любая единица которого меняет свое значение в зависимости от того, в какой из "сфер познания" она выступает».

Е.Г. Борисова полагает, что "о категории вида нужно сказать, *что* он передает. При таком подходе нет необходимости рассматривать видовые инварианты как общие для всех употреблений одного вида смыслы (как это можно сделать с инвариантом слова)".

На трудность согласования существующих гипотез о видовом инварианте со всей совокупностью имеющихся фактов указано в ответах В.А. Плунояна, Стокгольмского семинара (сходные соображения содержались и в ответе К. Чвани, отнесенном нами к предыдущей группе). Ф. Леман в связи с этим замечает, что если по отношению к глаголам СВ еще можно говорить об исходно "немаркированном" (default) значении (при отсутствии искажающих контекстных влияний), то у НСВ нет даже такого типа значений.

*9. Является ли, с вашей точки зрения, категория вида словоизменяющей (подобно, например, падежу) или словоклассифицирующей (подобно, например, грамматическому роду у существительных)?*

Словоклассифицирующей категорией считают вид А.В. Бондарко, Г. Гжегорчикова, Р. Гусман Тирадо, Анна А. Зализняк, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина, Ф. Леман, В.А. Плуноян, участники Стокгольмского семинара. Ф. Фичи-Джуси отмечает "скорее словоклассифицирующий" характер вида.

Словоизменяющей категорией считают вид А. Богуславский, В.Г. Гак, В.В. Гуревич, А.А. Караванов, Х.Р. Мелиг, Я. Паневова; при этом А.А. Караванов и Я. Паневова специально отмечают несходство между категориями вида и падежа. С другой стороны, на глубокое внутреннее сходство между видом и грамматическим числом

существительных указывают Т.В. Булыгина и К. Чвани (не давая, однако, прямого ответа на вопрос).

Категорией, в целом промежуточной между словообразованием и словоизменением, считают вид Е.Г. Борисова, М.Я. Гловинская, К. Ласорса-Съедина, А.М. Ломов, Л. Лоннгрэн, Ж. Мартиновский, А. Мустайоки, А. Спенсер, И.Б. Шатуновский, Л. Ясаи. М.Ю. Черткова называет вид "уникальным сплавом, своеобразной словоизменительно-словоклассифицирующей категорией", сопоставляя вид, в частности, с явлением супплетивизма в числовых формах существительных.

А. Тимберлейк указывает на неважность отнесения вида к одной из предложенных разновидностей, так как вид "всегда нарушает границы, навязываемые ему". Сходным образом высказывается и Ж. Дюрэн ("вопрос довольно пустой, неинтересный").

Х. Томмола отмечает недостаточность предложенной дихотомии для характеристики вида, а З.Д. Попова отрицает грамматический характер вида, высказываясь в пользу его словообразовательной трактовки.

**10. Как вы оцениваете, в связи с предыдущим вопросом, проблему видовой парности? В частности, считаете ли, вы видовую дефектность системным или маргинальным явлением в славянских языках? Можно ли, на ваш взгляд, считать (чисто) видовыми все или некоторые из следующих пар однокоренных русских глаголов: *видеть–увидеть, гулять–погулять, есть–поесть, идти–пойти, кричать–закричать, петь–пропеть, прыгать–прыгнуть?***

Ответы на этот вопрос целесообразно разделить на две части: мнения по поводу видовой дефектности в целом и оценка конкретных предложенных глаголов с этой точки зрения.

В целом видовую дефектность считают системным (скорее системным, не маргинальным) явлением А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.В. Гуревич, А.А. Караванов, А.М. Ломов, В.А. Плунгян, Стокгольмский семинар, Х. Томмола, Л. Ясаи. В ответе Стокгольмского семинара особо оговаривается, что "чистые" видовые оппозиции относятся лишь к одной сравнительно узкой семантической подгруппе, и именно в этом смысле "дефектные зоны" вида имеют системный характер. В ответах приводятся, естественно, и различные обоснования этого утверждения. Так, В.Г. Гак говорит о "неизбежности" видовой дефектности в силу тесной связанности семантики вида и лексической семантики глагола; сходные утверждения делают также А.А. Караванов и В.А. Плунгян. З.Д. Попова настаивает на естественности видовой дефектности в связи со словообразовательным статусом вида (ср. выше ответы на наши вопросы 7 и 9).

Л. Лоннгрэн считает видовую дефектность "более распространенным явлением, чем считалось раньше".

Т.В. Булыгина считает видовую дефектность в большинстве случаев "семантически мотивированной", связанной с "принципиальной некантифицируемостью соответствующей ситуации" (аналогично числовой дефектности у слов типа *сливки*); в других случаях можно говорить лишь о случайных пробелах, объясняющихся, в частности, морфонологическими причинами (ср. отсутствие коррелята НСВ у глагола *умчать* или *очутиться*).

Сходную позицию занимает Анна А. Зализняк, которая предлагает различать два типа видовой дефектности: дефектность как маргинальное явление, "своего рода морфологический каприз" для глаголов *perfectiva tantum* и системную дефектность для глаголов *imperfectiva tantum*, которая в этом случае "обусловлена природой обозначаемых этими глаголами положений дел (процессов или состояний, но не событий)".

Напротив, в целом маргинальным (или скорее маргинальным) явлением считают видовую дефектность Р. Гусман Тирадо, К. Ласорса-Съедина, Ф. Леман, Я. Панева, М.Ю. Черткова, Ф. Леман дополнительно замечает, что видовая дефектность должна признаваться периферийной, если рассматривать вид как грамматическую категорию,

М.Ю. Черткова – что тенденция развития категории вида состоит во все большем вовлечении глаголов в образование видовых пар и в сокращении, таким образом, числа дефектных глаголов.

Интерпретации предложенных нами пар глаголов оказались на удивление разнородными, что, быть может, наиболее наглядно свидетельствует о степени существующих разногласий среди аспектологов.

Прежде всего, ряд исследователей вообще отказался от предложенной формулировки вопроса, выразив несогласие с самим понятием видовой пары (Ф. Фичи-Джусту) или указав на сложный характер проблемы, решение которой зависит от слишком многих разнородных факторов (Ж. Дюрен, А. Мустайоки, Стокгольмский семинар, Х. Томмола, И.Б. Шатуновский; в некоторой степени также К. Чвани).

Участники Стокгольмского семинара, в частности, обращают внимание на то, что в видовых парах один из глаголов (в особенности, префиксальный дериват) часто полисемантический, тем не менее в словаре Ожегова большинство приводимых в нашем вопросе пар трактуются как видовые.

Р. Гусман Тирадо отмечает, что лишь "некоторые" из предложенных пар можно считать видовыми, без дальнейших уточнений.

Не считают видовой ни одну из предложенных пар А.В. Бондарко, В.Г. Гак, Л. Лоннгрэн, В.А. Плунгян, Л. Ясаи (большинство ответивших при этом особо оговаривают, что такая интерпретация имеет место при предельно "узком" понимании видовой парности; В.А. Плунгян и Л. Ясаи не исключают другой трактовки при более "широком" понимании парности).

Не считают видовыми большинство из предложенных пар А.М. Ломов, Х.Р. Мелиг и Дж. Миллер, Х.Р. Мелиг допускает трактовку пары *прыгать* – *прыгнуть* как видовой только при условии "гетерогенной", а не "гомогенной" интерпретации соответствующей ситуации (*прыгать через забор*). Для остальных пар он (как и Л. Лоннгрэн) использует термин Aktionsart. Сходным образом, А.М. Ломов утверждает, что *видеть* – *увидеть* и *прыгать* – *прыгнуть* могут считаться видовыми парами только при условии, что это "тождественные лексико-семантические варианты" (*он открывает глаза и видит – он открыл глаза и увидел; она подходит к берегу и прыгает – она подошла к берегу и прыгнула*), остальные пары – не чистовидовые. Дж. Миллер "не уверен" по поводу *прыгать* – *прыгнуть*, остальные пары – не видовые (*увидеть* – инхотатив; *закричать* – ингрессив).

С другой стороны, считают (чисто?) видовыми все предложенные пары Ж. Мартиноувский ("любой глагол НСВ в паре с любым глаголом СВ"), а также, фактически, Е.С. Кубрякова и Е.В. Петрухина (кроме *петь* – *пропеть*) и Ф. Леман, отмечающий лишь "нестандартность" пар *петь* – *пропеть* и *кричать* – *закричать*.

Ряд исследователей не дают эксплицитного ответа по поводу всех приводимых глаголов, а приводят лишь отдельные соображения по поводу некоторых пар. Р. Гжегорчикова отмечает "нестандартный" характер пары *гулять* – *погулять*; А. Тимберлейк – пар *видеть* – *увидеть* и *кричать* – *закричать*.

Ответы остальных аспектологов (занимающих в целом более компромиссные позиции) удобнее расположить по парам конкретных глаголов, так как они содержат эксплицитные "да" и "нет" (но в разных случаях разные).

Пару *видеть* – *увидеть* согласны считать видовой Т.В. Булыгина, Е.Г. Борисова, М.Я. Гловинская, В.В. Гуревич, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, К. Ласорса-Съедина, Я. Паневова, З.Д. Попова, М.Ю. Черткова.

Пару *гулять* – *погулять* не считают видовой Т.В. Булыгина, М.Я. Гловинская, В.В. Гуревич, К. Ласорса-Съедина, З.Д. Попова, А. Спенсер. Напротив, видовой считают ее Е.Г. Борисова, Я. Паневова и М.Ю. Черткова. Наконец, Анна А. Зализняк и А.А. Караванов считают возможными – в зависимости от контекстной интерпретации – оба решения.

Пару *есть* – *поесть* не считают видовой М.Я. Гловинская, В.В. Гуревич, А.А. Ка-

раванов, Я. Паневова, З.Д. Попова, А. Спенсер. С другой стороны, Е.Г. Борисова ("скорее всего") и К. Ласорса-Съедина (также не с полной уверенностью) высказываются в пользу признания ее видовой. Т.В. Булыгина и Анна А. Зализняк, как и в предыдущем случае, считают возможными обе интерпретации, в зависимости от контекста. В пользу видового характера этой пары однозначно высказывается М.Ю. Черткова.

Пару *идти – пойти* не считают видовой Е.Г. Борисова, М.Я. Гловинская, К. Ласорса-Съедина, З.Д. Попова; противоположного решения придерживаются Т.В. Булыгина, В.В. Гуревич, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, Я. Паневова.

Пару *кричать – закричать* не считают видовой Е.Г. Борисова, М.Я. Гловинская, К. Ласорса-Съедина, З.Д. Попова; видовой эту пару считают Т.В. Булыгина, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, Я. Паневова (с оговорками).

Пару *петь – пропеть* не считают видовой М.Я. Гловинская, Анна А. Зализняк, А.А. Караванов, Я. Паневова. В пользу ее видового характера однозначно не высказывается никто, но Т.В. Булыгина, В.В. Гуревич, К. Ласорса-Съедина допускают возможность такой интерпретации.

Пару *прыгать – прыгнуть* не считает видовой (помимо упомянутых в самом начале лингвистов) только М.Я. Гловинская. При этом Т.В. Булыгина, Анна А. Зализняк и А.А. Караванов специально отмечают возможность применения для этой пары "критерия Маслова" (с положительным результатом). В.С. Храковский специально посвящает несколько страниц текста обстоятельной аргументации в пользу видового характера именно этой пары.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВМУ 1995; 1996 – Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология – 1995, № 4; 1996, № 5.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

**Американа. Англо-русский лингвострановедческий словарь** / Под ред. и общ. рук. Г.В. Чернова. Смоленск: Полиграмма, 1996. 1185 с.

Лингвострановедческий словарь представляет собой новое явление в отечественной и международной лексикографической практике. Необходимость в такого рода изданиях очевидна. Ведь для успешного овладения другим языком и другой культурой недостаточно усвоить некий набор грамматических правил и лексических единиц. Не менее важен определенный минимум "фоновых знаний" (background knowledge), позволяющий ориентироваться во внеязыковом контексте и правильно интерпретировать не только эксплицитно выраженный, но и имплицитный смысл высказывания. Об этом, в частности, свидетельствует то, что значительная часть переводческих ошибок происходит именно от дефицита фоновых знаний.

Первый лингвострановедческий словарь в нашей стране вышел в свет в 1978 г. Его необычность и преимущество заключались, по мнению авторов, в том, что он представлял собой не простой симбиоз обычного двуязычного словаря и энциклопедического справочника, а оригинальный словарь, разъясняющий особенности употребления, дополнительную смысловую нагрузку, политические или иные коннотации различных слов и словосочетаний, отражающих современную жизнь, историю и традиции Великобритании [ВБ 1978: 3].

Прошло восемнадцать лет, и вот перед нами новый фундаментальный труд — лингвострановедческий словарь "Американа", результат самоотверженного многолетнего труда большого коллектива специалистов во главе с Г.В. Черновым. Впервые в нашей лексикографии появилось издание, охватывающее столь широкий тематический диапазон — историю, политическое устройство США, экономику, социальные вопросы, судостроительство, судопроизводство, право, географию, этнографию, литературу, искусство, кино, средства массовой коммуникации, флору и

фауну, исторические изречения, повседневную жизнь и быт, образование и спорт. Впечатляет и сам объем словаря — в нем более 20 тыс. статей.

Словарь адресован широкой читательской аудитории, начиная со школьников—старшеклассников и студентов, изучающих английский язык, и кончая специалистами — правоведами, экономистами, историками, искусствоведами, социологами и политологами, профессиональная деятельность которых тесно сопрягается с Соединенными Штатами. Особую пользу словарь принесет переводчикам, для которых он явится ценным пособием, восполняющим существенные пробелы в справочной литературе по политическим, социальным, культурным и бытовым реалиям США, а также специалистам по американскому варианту английского языка, его истории и современному статусу.

Как отмечает в "Предисловии" Г.В. Чернов, "словарь называется лингвострановедческим, но в том виде, в каком он предлагается читателю, он значительно перерос сугубо страноведческие рамки. Многие статьи (например, все статьи о 50 штатах США) кроме лингвострановедческой информации содержат сведения энциклопедического характера" (с. XI).

Поскольку нас интересует в первую очередь лингвострановедческое содержание "Американы", мы остановимся, в основном, именно на нем. Так, с нашей точки зрения, широко и достаточно полно представлены в словаре различные американские реалии. Авторам удалось осветить в нем сложную терминологию, связанную с многоступенчатой и разнородной системой народного образования в США, где сосуществуют так называемые *public schools* 'муниципальные школы', *parochial schools* 'приходские школы', *private schools* 'частные школы или

университеты', а также различные виды дошкольных учреждений, начальных, средних и высших учебных заведений. Ср., например, *nursery school* 'детский сад', *day care center* 'центр дневного ухода за детьми', *elementary school (grammar school)* 'начальная школа', *junior high school* 'младшая средняя школа', *high school* 'средняя школа', *preparatory (prep) school* 'частная школа по подготовке абитуриентов в колледж', *junior college* 'колледж низшей ступени', *state university* 'университет штата' и др.

Освещение реалий в словаре отличается высокой степенью детализации. Так, например, авторы не ограничиваются перечнем официальных американских праздников и включают в корпус словаря немало праздников, не имеющих официального статуса, но широко известных и отмечаемых в стране. Так, например, среди них фигурирует *Groundhog Day* 'День сурка', день наступления весны, который приходится на 2 февраля. При этом в словарную статью включается информация о народных поверьях и традициях, связанных с тем или иным праздником. Так, в данной статье сообщается о народной примете, согласно которой, если вылезший из норы лесной американский сурок, испугавшись собственной тени, вновь спрячется в нору, зима продлится еще 6 недель. В статье о *Valentine Day*, 'Дне св. Валентина', дне влюбленных, рассказывается о связанном с этим праздником обычае обмениваться подарками или открытками (*valentines*).

Достаточно мотивировано решение составителей использовать в качестве одного из источников корпуса словаря фирменные названия товаров не столько потому, что они важны для изучения американского быта, сколько потому, что они часто становятся именами нарицательными, а образные на их основе рекламные лозунги нередко используются в качестве аллюзий и скрытых цитаций. Так, например, *Band-Aid* – бактерицидный лейкопластырь фирмы "Джонсон и Джонсон" стал именем нарицательным со значением 'лейкопластырь', а в дальнейшем послужил основой фразеологической единицы *band-aid solution* 'паллиативное решение'. Фирменное название популярного мощного средства *Mr. Clean*, хорошо знакомого миллионам американских телезрителей по рекламному лозунгу мощного средства, получило широкое распространение в разговорной речи в значении 'человек с безупречной репутацией', а *Edsel*, название одной из моделей автомобиля "Форд", не пользовавшейся высоким спросом и принесшей значительные убытки компании, стало употребляться в качестве

имени нарицательного с обобщенным значением 'провал, неудача'.

Исчерпывающее отражение получили в словаре прозвища штатов – *Empire State* 'Имперский штат' (штат Нью-Йорк), *Buckeye State* 'Штат конского каштана' (штат Огайо), *Quaker State* 'Квакерский штат' (Пенсильвания) и др. Там, где это необходимо, авторы сопровождают перевод прозвища объяснением его происхождения. Так, кличка "Квакерский штат" объясняется тем, что колония на месте современного штата была основана квакерами. Столь же широко представлены прозвища городов – *Big Apple* 'Большое яблоко' (Нью-Йорк), *Philly* 'Филли' (Филадельфия), *Windy City* 'Город ветров' (Чикаго) и др. Включены в словарь и популярные прозвища широко известных персоналий [например, *Tricky Dick* 'Хитрый Дик' (прозвище президента Никсона), *Satchmo* < *satchelmouth* 'большеротый' (прозвище Луиса Армстронга), *Babe* 'малыш' (кличка знаменитого бейсболиста Джорджа Германа Рута)]. Не обойдены вниманием и сокращенные разговорные наименования достопримечательностей крупных американских городов типа нью-йоркских *Met (Metropolitan Museum of Art)*, *MoMA (Museum of Modern Art)* и др.

Словарь содержит богатейшую коллекцию исторических реалий США. Здесь мы находим и знаменитое *Boston Tea Party* 'бостонское чаепитие' (выступление против английских властей североамериканских поселенцев, выбросивших в море в Бостонском порту груз чая с английских кораблей), и *carpetbaggers* 'мародеры, мешочники' (прозвище неприемчивых северян, хлынувших на юг после победы северных штатов в Гражданской войне), и *Tin Pan Alley* 'улица дребезжащих жестянок' (район 28-й улицы в Нью-Йорке, где в конце XIX в. были сосредоточены музыкальные издательства и фирмы грамзаписи, жили композиторы и исполнители популярной музыки), и *Ford Model T* 'первый дешевый массовый автомобиль компании Форда', получивший насмешливое прозвище *Tin Lizzy* 'жестянка Лиззи', и *speakeasy* 'подпольное питейное заведение времен "сухого закона"'.  
Правильно поступили авторы, включив в словарь названия популярных клубов, ресторанов и магазинов, часто упоминаемых в художественной литературе и публицистике, например, *Twenty-One Club*, один из самых знаменитых ресторанов и ночных клубов Нью-Йорка, *Ye Olde Union Oyster House*, один из старейших ресторанов Бостона, специализирующийся на продуктах моря, *Tiffany's*,

широко известный ювелирный магазин в Нью-Йорке.

Видное место в тексте занимают реалии политической жизни США. Среди них читатель найдет серию фразеологизмов, связанных с предвыборной борьбой и представляющих собой как бы единую развернутую метафору, основанную на образе скачек. См., например, политический жаргонизм *dark horse* 'темная лошадка' (малоизвестный кандидат), *running mate* 'кандидат в вице-президенты', *running ahead of the ticket* 'бег впереди партийного списка' (ситуация, при которой один из кандидатов набирает больше голосов, чем остальные кандидаты партийного списка). Значительную часть политической лексики составляют жаргонизмы, отражающие те или иные негативные явления политической жизни – например, *slush fund* 'смазочный фонд' (средства, предназначенные для подкупа), *ballot box stuffing* 'подтасовка результатов голосования', *porkbarrel* 'казенная кормушка' и др.

Заслуживает всяческого одобрения решение составителей словаря включить в его корпус крылатые изречения знаменитых американцев, часто цитируемые без ссылки на их источник. Сюда относятся, например, знаменитая фраза *I shall return* 'я еще вернусь', произнесенная генералом Д. Мак-Артуром во время второй мировой войны в ходе эвакуации американских войск с Филиппин, *If nominated I will not run. If elected I will not serve* 'Если я буду выдвинут, то откажусь, если буду избран, то служить не стану', отказ генерала Шермана от выдвижения на пост президента, *If you can't stand the heat, get out of the kitchen* 'Тому, кто не выносит жары, на кухне делать нечего', приписываемый президенту Трумэну совет политикам не реагировать болезненно на критику в прессе. Многие из этих изречений становятся частью лексикона американцев порой в целом, а порой в усеченном виде, как, например, *New Deal* 'Новый курс' из речи президента Рузвельта в 1932 г. при выдвижении его кандидатуры на пост президента ("I pledge you – I pledge myself – to a new deal for the American people") или *silent majority* 'молчаливое большинство' из выступления президента Никсона ("...the great silent majority of Americans – I ask you for your support").

Оценка этого издания будет неполной, если не упомянуть весьма ценное и информативное приложение к словарю (на 54 страницах), включающее краткую статистическую справку о Соединенных Штатах, схемы, характеризующие структуру госу-

дарственной власти, исполнительную власть, законодательную власть (сенат и палату представителей) и судоустройство, хронологический перечень президентов США, карту, на которой показано расселение индейских племен до прихода европейцев, природно-географический очерк "Освоение Нового Света", хронологическую таблицу истории США, перечень штатов в США по порядку вхождения в Союз и с указанием первых европейских поселений, данные, характеризующие население США по штатам на 1994 г., плотность населения по штатам на 1990 г., перечень крупнейших городов США (по количеству населения на 1990 г.), схемы системы образования в США и воинских званий в вооруженных силах, таблицу мер и весов, принятых в США и шкалу температур (Фаренгейт/Цельсий).

Едва ли можно было ожидать, чтобы такой крупномасштабный труд, к тому же выполненный большим авторским коллективом, был бы совершенно свободен от недостатков. Наши замечания касаются, в основном, следующих вопросов:

- 1) Насколько обоснованно включение в словник тех или иных единиц?
- 2) Какие единицы, отсутствующие в словаре, следовало бы включить в него?
- 3) Насколько точен перевод той или иной лексической единицы?
- 4) Насколько адекватно определение данного понятия в словарной статье?

1) Отвечая на первый вопрос, следует прежде всего выяснить, удалось ли авторам положить в основу словника единые и непротиворечивые принципы. На наш взгляд, основным критерием отбора словника должно быть наличие у данной реалии американской специфики. При этом специфически американским может быть либо сам референт данной лексемы или словосочетания, либо особая лексическая единица, обозначающая его в США. Еще в 1963 г. рецензент предложил классификацию американизмов в лексике и фразеологии, согласно которой в первую группу входят единицы, обнаруживающие лишь фонеморфологические различия (типа амер. *putter* и брит. *potter* 'суетиться'), во вторую – единицы, у которых отсутствует британский эквивалент (типа *dude ranch* «ранчо в стиле "дикого запада"») и в третью – единицы, у которых существует британский аналог (типа амер. *flat car* и брит. *truck* 'открытая железнодорожная платформа') [Швейцер 1963: 89–117].

Однако ознакомление со словарем показывает, что далеко не все включенные в него единицы отвечают данным принципам. Так,

например, не совсем понятно, почему в словнике оказался термин *E-mail (electronic mail)*. Ведь он уже давно вошел в интернациональную лексику. Если в качестве критерия выдвигать исторический признак (американское происхождение), то тогда придется еще более расширить и без того значительный объем словаря, включив в него огромное количество технических терминов, начиная с *phonograph*. Неясно также, почему в словаре очутилось слово *pundit* 'мудрец, политический обозреватель', используемое с иронической коннотацией точно в таких же значениях в британском варианте и не сопровождаемое пометой "американизм" в британских словарях. Ср. также *poverty level* 'черта бедности', *product* 'артефакт, товар', *talk show* 'телепередача в форме беседы ведущего с гостями' и др. Думается, принципы отбора словника следовало более четко обосновать в предисловии к словарю.

2) Несмотря на большой объем словаря, в нем не нашлось места для ряда единиц, которым явно присуща американская специфика. Мы не нашли в нем, например, таких американских бытовых реалий, как *clambake* 'пикник на берегу моря', *cookout* 'обед, приготовляемый и подаваемый на свежем воздухе', *Lazy Susan* 'вращающееся блюдо, на котором раскладывается закуска', *sneakers* 'матерчатые спортивные тапочки', *place mat* 'пластиковая подставка для блюд', *vegetable bar* 'овощной шведский стол' и др.

Несмотря на то, что авторы уделяют большое внимание таким темам, как социальное страхование и медицинское обслуживание, и здесь обращают на себя внимание некоторые пробелы. Так, например, в словаре не фигурирует *Health Maintenance Organization (HMO)*, одна из наиболее крупных и популярных медицинских страховых организаций. Нет в нем и такого весьма важного для страхования здоровья понятия, как *preexisting condition* 'заболевание, возникшее до заключения договора медицинского страхования'. Нет в этой тематической группе и таких терминов, как *emergency room* 'отделение неотложной помощи' и его синонима *walk-in clinic*, а также *over-the-counter medicine* 'лекарство, отпускаемое без рецепта'.

Недостаточно полно представлена в словаре лексика и фразеология, возникшая в популярных в США видах спорта, в особенности в бейсболе, и нередко используемая в переносном значении. Ср., например, *off base* 'не успевший коснуться базы (в бейсболе); перен. ошибающийся, дезориентированный'; *have two strikes against one* '(перен.) быть в явно невыгодном положении' (в бейсболе

бэттер имеет право всего на три удара); *out in left field* '(перен.) чудаковатый, не в своем уме, потерявший ориентировку'. Другим важным источником пополнения американской лексики (в особенности в сленге) являются популярные анекдоты. Так, разговорный фразеологизм *mind the store* 'заниматься повседневными делами, замещать кого-либо' возник из анекдота об умирающем лавочнике, который, увидев, что вся его семья собралась у его ложа, спрашивает: *Who is minding the store?*

В словаре наглядно показано влияние средств массовой коммуникации США на язык. Однако думается, что есть возможность отразить это влияние в словаре несколько шире. Так, например, наряду с таким примером, как *goon* 'громилла' (по имени персонажа комиксов Э. Сигара) можно было бы привести другой "синтетический сленгизм", *to put the whammy on someone* 'заколдовывать, лишить сознания', созданный автором серии комиксов "Лил Эбнер" Э. Кэппом [Швейцер 1983: 183]. Не меньшее влияние на речь американцев оказывает и язык телевидения. Так, например, название популярного телесериала *Mission Impossible* 'Задание невыполнимо' превратилось во фразеологизм с генерализованным значением 'нечто нереальное'.

Для лингвострановедческого словаря рецензируемое издание уделяет, на наш взгляд, недостаточное внимание языковой ситуации в США. В словаре отсутствуют статьи о "Законе о двуязычном обучении" (Bilingual Education Act), о билингвизме и диглоссии в США, о Black English, социально-этническом диалекте американских негров, Chicano English, английском языке "чиканос", американцев мексиканского происхождения и др. Отсутствует также информация об основных территориальных диалектах американского варианта английского языка.

Среди популярных изречений, включенных в словарь (см. выше), нет некоторых, широко известных в США и часто цитируемых в американских изданиях. См., например, следующие примеры из выступлений президента Рузвельта:

*The only thing we have to fear is fear itself* (из речи на церемонии вступления в должность 4 марта 1933 г.).

*This generation of Americans has a rendezvous with destiny* (из речи во время повторного выдвижения кандидатуры Рузвельта в президенты 27 июня 1936 г.).

Думается, что в ряде случаев было бы целесообразно включить в словарные статьи некоторые иллюстративные примеры – в

особенности тогда, когда название данной реалии употребляется в переносном смысле. См. следующий пример использования приведенного выше названия сериала *Mission Impossible*:

"Maybe it's Mission Impossible to be Bill Clinton's Secretary of Defense. Just how do you bridge a gap between a White House focused on domestic problems – and headed by a man with no time in uniform – and a military wary, to put it mildly, of the new Commander in Chief?" (Time, Dec. 23, 1993).

3) В целом переводы в рецензируемом словаре заслуживают высокой оценки. В ряде случаев авторы вполне оправданно сопровождают образную единицу дословным переводом, раскрывающим ее внутреннюю форму и экспрессивную коннотацию, и пояснительным переводом, уточняющим ее референциальное значение. См., например: *smart card* // «"умная" карточка» // "Кредитная или платежная карточка с микропроцессором". Случаи неправильных или неточных переводов крайне редки. Приведем некоторые из них. Едва ли имеет смысл наряду с правильным переводом термина *adjutant general* 'помощник командующего войсковым соединением' давать явно вводящее в заблуждение читателя 'адъютант генерала' (ср. также вполне допустимые эквиваленты этого термина в "Англо-русском военном словаре" – "генеральный адъютант, генерал-адъютант" [Судзиловский 1968: 14]).

В качестве первого значения термина *department* (в колледже или университете) дается 'факультет' а в качестве второго – 'кафедра'. В то же время русским эквивалентом амер. *department* является именно второй вариант ("кафедра"), тогда как эквивалентами русского "факультет" являются *school* или *college*. Так, в глоссарии американских терминов системы образования, приложенном к "Руководству" программы Фулбрайт, *department* определяется как "коллектив преподавателей и вспомогательного персонала, обеспечивающий обучение в данной предметной области" [Guide 1992: 98].

4) В подавляющем большинстве случаев даваемые в словарных статьях определения достаточно полны и точны. Лишь изредка они нуждаются в некоторых поправках или дополнениях. Так, (*shopping*) *mall* определяется как "составная часть загородного торгового центра в виде широкой пешеходной аллеи между рядами магазинов". Вместе с тем в настоящее время подобные торговые ряды строятся не только в загородных торговых центрах, но и в центральных районах города. Несколько устарело определение *delicatessen*

(*deli*) "гастрономический магазин, торгующий готовыми продуктами или полуфабрикатами, в том числе салатами и сэндвичами". Современные *delis* – не только магазины, но и кафе. В определении *Rotary Club* «клуб "Ротари"» не совсем понятно объяснение этимологии названия: "Члены клуба проводят еженедельные собрания, участие в которых является одним из обязательных условий членства (отсюда и название клуба: символ клуба – колесо)." На самом деле название связано с историей этих клубов. На раннем этапе их существования собрания проводились по очереди (*in rotation*) в офисах членов клуба.

Рецензент не берет на себя смелость давать профессиональную оценку материалам словаря, выходящим за пределы лингвострановедения и вторгающимся в область экономики, политологии, экономической географии, этнографии, права и других дисциплин. Вместе с тем создается такое впечатление, что речь порой идет не просто о выходе за пределы лингвострановедения, но и о перенасыщении словаря материалами, не имеющими прямого отношения к его исходной лингвострановедческой направленности. Более того, некоторые статьи такого рода почти не содержат лингвострановедческой информации, а по своему объему и степени детализации напоминают скорее статьи не из лингвострановедческого или даже энциклопедического словаря, а из энциклопедии. Таковы, в частности, статьи, посвященные отдельным штатам, в которых подробнейшим образом излагается их история, характеризуются природные условия, население, промышленность, транспорт, политические движения и порой отсутствует какая бы то ни было лингвострановедческая информация. Трудно понять, почему, например, в этом словаре оказались статьи наподобие той, которая посвящена Каирской конференции Англии, США и Китая в 1943 г. Подобная информация может представлять интерес для определенных категорий читателей, но, на наш взгляд, не следует забывать, что книга должна, в первую очередь, отвечать своему назначению как лингвострановедческому словарю. Из сказанного никак не следует, что исторические, культурологические, социально-экономические и другие сведения не должны занять должного места в словаре. Но в рамках подобного словаря их интерес определяется в первую очередь их связью с языковыми фактами.

Во всем этом не было бы большой беды, если бы это не привело не только к непомерному увеличению объема словаря, но и к его весьма значительному удорожанию. В

результате словарь стал недоступным не только для многих читателей, которым он непосредственно адресован, но и для многих университетских библиотек. Выход из этого положения я вижу в подготовке – в кратчайшие сроки – сокращенного издания "Американь", что значительно расширило бы круг читателей этого словаря, с нетерпением ожидавших его появления, но не сумевших его приобрести.

Нельзя не отметить прекрасное оформление словаря, не уступающее по своему качеству лучшим зарубежным изданиям. Единственное, о чем можно пожалеть – это о том, что в нем нет иллюстраций, которые были бы весьма уместны в такого рода издании, посвященном в значительной мере инокультурным реалиям.

Подводя итоги сказанному, нельзя не высказать глубокую признательность всем тем, кто внес свой вклад в это уникальное издание. Сделанные выше критические замечания никак не снижают высокой ценности

этого фундаментального труда, к которому несомненно будут обращаться специалисты разного профиля, изучающие Соединенные Штаты, их язык, историю и культуру, и который сам по себе явился заметным событием в нашей культурной жизни.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ВБ 1978 – Великобритания (Лингвострановедческий словарь) / Под ред. Е.Ф. Рогова. М., 1978.
- Судзиловский Г.А. 1968 – Англо-русский военный словарь, изд. 2-е / Под общ. ред. Г.А. Судзиловского. М., 1968.
- Швейцер А.Д. 1963 – Очерк современного английского языка в США. М., 1963.
- Швейцер А.Д. 1983 – Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.
- Guide 1992 – Guide for visiting Fulbright scholars. Washington, 1992.

А.Д. Швейцер

**М.М. Маковский. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов.** М.: Гуманитарный издательский центр "Владос". 1996. 415 с.

Появления рецензируемой работы давно ждали специалисты в различных областях науки о человеке. Словарь является логическим продолжением другой недавно опубликованной крупной работы автора [Маковский 1995], в нем синтезируются лингвокультурные, семасиологические и аксиологические константы, которые в своей совокупности призваны воссоздать модель индоевропейской "картины мира", основанной на древнейших мифопоэтических представлениях (с. 5). Работа М.М. Маковского не имеет параллелей в специальной литературе. Словарь этот (автор работал над ним около тридцати лет) – плод огромного труда, поразительного терпения, редкой акрибии и филигранности анализа; в то же время М.М. Маковский демонстрирует свободное владение огромным языковым материалом, самостоятельное оригинальное мышление и способность самозабвенно и с увлечением находить связи и строить зависимости в казалось бы безбрежном море разнородного и внешне не связанного между собой языкового материала. Он не боится отказаться от традиционных этимологических штампов и старается заново и оригинально осмыслить ту или иную лингвокультурологическую проблему. Словарь построен по принципу **п а м т е з а у р у с а**: заглавными словами

являются понятия, расположенные в порядке русского алфавита. В каждой статье рассматриваются синонимы со значением заглавного слова как внутри какого-либо индоевропейского языка, так и различных индоевропейских языках (древних и современных).

В своем исследовании автор опирается практически на все индоевропейские языки – как на древние, так и на новые. По жанру этот словарь нельзя определить как чисто этимологический: скорее здесь выявляются **с е м а с и о л о г и ч е с к и е у н и в е р с а л и**, предопределяющие как историю, так и бытование человеческих понятий, отраженных в языке и речи. Вполне можно согласиться со следующим положением автора: «Рассмотрение различных "картин мира", типичных для носителей ранних человеческих цивилизаций, открывает неисчерпаемые возможности для обнаружения древнейших когнитивных процессов, что в свою очередь позволяет установить семасиологические универсалии – законы соотношения, порядка следования и эволюции значений в индоевропейских языках. Рассмотрение же семасиологических универсалий дает возможность выявить сложную сеть метафорических связей и переходов, неодинаково преломляющихся в различных языках индоевропейской семьи» (с. 7). В качестве

примера укажем на мифологему воды. Вода – одна из фундаментальных стихий Мироздания. В самых различных мифологиях Вода – первоначало, исходное состояние всего, Сущего, эквивалент первобытного Хаоса: в этой связи интересен миф о поднятии мира (земли) со дна первичного океана. Вода – это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. Но зачатие предполагает как женское, так и мужское начало; отсюда два аспекта мифологемы Воды. В ролю женского начала Вода выступает как аналог материнского лона и чрева, а также оплодотворенного Мирового Яйца (ср. и.-е. \**ap-* “вода”, но хет. *ep-* “coire”; др.-англ. *wip* – “женщина”, но тох. *A wip* “влажный, мокрый”; ирл. *dobur* “вода”, но исл. *dubba* “женщина”; лат. *aqua* “вода”, но др.-арм. *eg* “женщина; самка”). Вместе с тем, Вода может отождествляться с Землей как с другим воплощением женского начала. Однако одновременно Вода – оплодотворяющее мужское семя, заставляющее Землю “рожать” (ср. тох. *A war* “вода”, но лат. *vir* “мужчина, человек”; дат. *vand* “вода”, но др.-русс. *удъ* “penis”). Соединение в мифологеме Воды мотивов рождения и плодородия с мотивами смерти (ср. др.-инд. *jala-* “вода”, но прусск. *gallan* “смерть”) находит отражение в различении живой и мертвой Воды, животворящей небесной Воды и нижней, земной соленой Воды. Ритуальное омовение Водой – как бы второе рождение, новый выход из материнской утробы (ср. с. 76–78).

Основной текст состоит из одной главы – “Образ мира и миры образов” – и собственно Словаря. В первой главе основное понятие – мифопоэтическое мышление – определяется как «особый вид мироощущения, специфическое, образное, осязательное представление о явлениях природы и общественной жизни, самая древняя форма общественного сознания. Оно представляет собой творение в воображении или с помощью воображения иной действительности – субъективной и иллюзорной, служащей не столько для объяснения, сколько для оправдания определенных (“священных”) установлений, для санкционирования определенного сознания и поведения» (с. 15). Мифологический образ – производное мифотворческого мышления – является отражением пространственно-чувственных восприятий, которые выливаются в форму некой конкретной предметности (с. 17). [Jensen 1951; Kirk 1970; Knights, Cottle 1960; Lang 1976]. Автор подробно рассматривает основные характеристики так называемого “магического мышления” – предметное восприятие времени и пространства, антикаузальность (причинность

“по смежности”), бинарность мышления (верх–низ, жизнь–смерть, свет–мрак, начало–конец и т.д.), анимизм, тотемизм, табу, культ огня и воды, фаллический культ, обряд кровопускания. Отмечается, в частности, что в кровопускании таится двойная инверсия, “выворачивание вывернутого”: возврат крови ее океанического состояния, а организму – внутреннего бытия, бытия вовнутрь, точнее внутри океана. Внешнее течение крови омывает и очищает человека, о чем свидетельствуют широко практиковавшиеся очистительные обряды и мистерии. Расцарапывание тела – это своеобразное жертвоприношение, утверждение еще жизни перед лицом уже смерти. В откровении-кровопускании есть чувство радости, облегчения и экстаза, чувство покоя и тишины, созвучной шуму морской раковины, чувство обретения единого архаического тела, синхронизации ритмов Космоса, океанических волн, кровотока, телодвижения и дыхания (с. 29–30). В этом плане уместно внести некоторые дополнения в истолкование понятия “свобода”, приводимого в Словаре на с. 290–291. Следует иметь в виду, что понятие “свобода” первоначально связывалось с понятиями “раскрытый, разорванный” (о теле). Ср. в связи с этим: русск. *свобода*, но др.-в.-нем. *sweb* “gorges”; англ. *free* “свободный”, но греч. *σπήλαιον* “бездна, дыра”; хет. *vellu* “свободный”, но англ. *well* “дыра, колодец”; лат. *liber* “свободный”, но англ. диал. *to lib* “разрезать, разрывать”; в связи с этим этимологически спорное английское слово *open* “открытый” можно соотносить с литовск. *opa* “рваная рана”, арм. *op* “дыра”, хет. *api* “яма”<sup>1</sup>.

Автор указывает, что в ритуале сквозным элементом является же с т как особенное, нетипичное положение человеческого тела. Этот жест – архетипичен, поскольку представляет своего рода “космогоническую точку”, т.е. первое явление определенности в неопределенности. Ритуальное действие начинается с принятия определенной ритуальной позы, которая выводит участников в иное пространственно-временное измерение. Сама по себе поза является в высшей степени значимой, создает семантическое напряжение. Далее происходит динамизация первожеста, осуществляющаяся через ритмическое повторение одного и того же движения.

<sup>1</sup> Английское слово *open*, *ore*, очевидно, соотносится с русск. *свобода* (с-mobile). Ср. анализ англ. *open* в новой книге М.М. Маковского [Маковский 1996].

Ритмическое повторение как бы открывает “канал”, через который вливается в мир священная энергия, наполняя все своим одновременно многоголосьем и единым звучанием и движением. Ритуальный текст как бы “накладывается” на эту основную ритуальную схему, повторяя ее. Поэтому основным и наиболее очевидным его элементом является повторение, организованное как ритмико-числовое, т.е. как правильное и делимитированное. Знаковость в своей наиболее элементарной форме может быть определена как нарушение естественного (привычного) порядка вещей: природа сама по себе есть нечто безразличное. Ритуал нарушает это первоначальное безразличие, становясь семантической “точкой”, которая, генерируя из себя новые значения, наполняет бытие смыслом. С того момента, как человек начал совершать ритуал, моделируя “естественные явления”, он перестал быть “естественным существом”, потерял свою “невинность”, начал свое существование в историческом “инобытии”. В конечном счете именно ритуалу суждено было стать почвой, на которой зародились и/или совершались такие процессы, как онтологизация, персонализация, субъективизация, семиотизация, историзация. Можно предположить и особую роль ритуала в процессе вербализации, в особенности если понимать миф как вербализованный ритуал: слово как новое содержание, новый смысл, как психея, родилось в ритуале как некая довлеющая самой себе сущность. Прорыв в знаковое пространство предполагает движение от природы к культуре, от “естественного” к “искусственному”. Но ведь и сознание, по сути дела, означает искусственный разрыв в безразлично-правильной циркуляции природы [Евзлин 1993: 115–116; ср. с. 18–19].

Наиболее важным эвристическим подспорьем для исследователя является этимология, а именно, принимается на вооружение понятие множественной этимологии: “язычник соотносил одни и те же предметы (“вещи”) с самыми различными предметами, а одно и то же действие вызывало в его сознании ассоциацию с огромным кругом действий и связанных с ними предметов”, а потому приходится допускать “одновременное существование нескольких (иногда – многих) семасиологических связей в истории того или иного значения” (с. 6).

Как и в прежних своих работах, автор исходит из следующего ранее установленного им чрезвычайно важного факта: первоначальными в индоевропейском были “резать, ломать” > “гнуть” > “соединять”. Это вполне соответствует языческим представлениям,

согласно которым Вселенная была создана Божеством, разорвавшим Хаос и внесшим Порядок (“соединение”) в Мироздание. Весьма интересной находкой автора является положение о том, что индоевропейские инициалы слова \*n-, \*s-, \*v- в ряде случаев были скрытыми отрицаниями, употребленными из соображений табу. Речь идет об индоевропейских отрицаниях \*ne-, \*se-, \*ve-. Это в корне меняет представление о происхождении большого количества индоевропейских слов, т.к. указанные инициалы выступают как неэтимологические элементы, и исследователю приходится считаться с совершенно другими корнями, которые остаются после отбрасывания указанных инициалей.

Автор указывает, что у первобытного человека преобладают зрительные впечатления: “Он видит наружные, внешние предметы. Воспринимая их, он воспроизводит их заново, непроизвольно перекомбинируя их отдельные элементы, изменяя одну черту за счет другой, смещая масштабы, связывая их новыми узками, давая им новое содержание” (с. 18), причем организуя их в рамках мифотворческого мышления. Утверждается, что первобытное мышление характеризовалось двумя законами: отсутствием причинно-следственного ряда и симбиозом прошедшего с настоящим (с. 18).

Слово является знаком, символом некоего мифопоэтического образа: “Совершая какие-либо операции над словом или именем, мы, по мнению древних, воздействуем и на соответствующий предмет, подчиняя его своей воле” (с. 20).

Собственно словарь содержит 87 статей. Среди трактуемых понятий мы встречаем абстрактные и этические понятия (“Бездна”, “Бог”, “Большой”, “Бытие”, “Вера”, “Восприятие”, “Время”, “Грех”, “Душа”, “Жизнь”, “Истина”, “Левый”–“Правый”, “Любовь”, “Обычай”, “Причина”, “Пространство”, “Свобода”, “Сила”, “Стихия”, “Судьба”, “Табу”, “Форма”, “Хороший”–“Плохой”, “Целостность”, “Число”), именованная человека и его частей тела (“Борода”, “Голова”, “Женщина”, “Кожа”, “Кость”, “Кровь”, “Отец”–“Мать”, “Палец”, “Рука”, “Слуга”, “Человек”); именованная растительного мира (“Ветвь”, “Гриб”, “Дерево”, “Зерно”, “Мед”, “Растительность”, “Цветок”, “Ягода”), животного мира [“Голубь”, “Змея”, “Медведь”, “Мышь (Крыса)”, “Обезьяна”, “Рог”, “Рыба”, “Скот”], элементов бытия человека и его культуры (“Буква”, “Война”, “Игра”, “Имущество”, “Клятва”, “Металл”, “Меч”, “Музыка”, “Одежда”, “Омовение”, “Охота”, “Смех”,

“Сон”, “Стекло”, “Столб”, “Танец”, “Узел”, “Фаллические действия”) и др.

В целом работа выполнена на высочайшем научном уровне, с прекрасным знанием предмета, в высшей степени интересно, а написана просто великолепно. Мое главное критическое замечание относится к составу словарных статей: неясны критерии отбора и группировки материала. Скажем, почему есть статьи, посвященные именованию одних частей тела, но не других [есть статьи, отражающие одни явления жизни и культуры, но нет статей, описывающих другие явления (нет статьи для понятия “Мир”) и т.п.]. Конечно, указанные лакуны и содержательно далеко не всегда случайны: просто материал языков не дает оснований говорить об общности понятий в некоторых случаях. Но хотелось бы эксплицитного объяснения этого в авторском тексте, поскольку даже отсутствие обобщения явно связано с какими-то закономерностями мифотворческого мышления, с тем, что для такого мышления существенно, а что – не существенно, а также с причинами такой неоднородности. Отметим, что символика целого ряда понятий в Словаре специально не выделяется и рассматривается в н у т р и той или иной крупной статье. Так, символика лошади, кошки, птицы, быка, собаки включена в статью “Вселенная” (с. 105–116) и рассматривается в рамках зооморфной модели Вселенной. При рассмотрении антропоморфной модели Вселенной (с. 116–121) автор подробно останавливается на символике головы, глаза, зубов, легких, тела, ноги, языка, хотя, за исключением статьи “Голова”, остальные из перечисленных понятий не анализируются в отдельных статьях. Внутри статьи “Табу” (с. 314–326) рассматривается символика носа. Целый ряд понятий, не вынесенных в Словаре в специальную рубрику, рассматривается внутри статьи “Узел”. Следует указать также, что в ряде случаев автор не дает перекрестных ссылок. Сами статьи далеко не всегда равноценны по отведенному им объему. Так, наряду с очень крупными статьями [первенство здесь принадлежит статье “Узел” (с. 334–376), несколько

ко меньше по объему статья “Вселенная” (с. 99–122)] и статьями среднего объема (такими, как “Бездна”, “Буква”, “Время”, “Дерево”, “Звук”, “Пространство”, “Табу”, “Число”), мы встречаем здесь статьи сверхкраткие – менее чем на одну страницу (“Вера”, “Восприятие”, “Голубь”, “Игра”, “Кость”, “Путь”, “Свет”, “Форма”, “Цветок”, “Целостность”, “Ягода”). С сожалением приходится отметить и отсутствие алфавитного индекса лексем для конкретных языков, упоминаемых в рамках статей словаря, что усложняет работу со словарем. Хотелось бы пожелать, чтобы в последующих изданиях этого интереснейшего исследования такой индекс был. Отметим также, что в Словаре имеются опечатки, что неудивительно, если учесть большие трудности набора текста подобного рода. В некоторых случаях наблюдаются досадные разрывы текста (например, при переходе со с. 128 на с. 129), отступления от алфавитного порядка подачи заглавных слов.

Несмотря на сделанные замечания, мое мнение об этой работе однозначно положительное: появление этой книги, несомненно, огромное событие в нашей науке. Рецензируемая работа, богатая интереснейшим материалом и наблюдениями над ним, несомненно станет настольной книгой культуролога, этнографа, историка языка, да и просто образованного человека.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Евзлин М.* 1993 – Космогония и ритуал. М., 1993.  
*Маковский М.М.* 1995 – У истоков человеческого языка. М., 1995.  
*Маковский М.М.* 1996 – Язык–Миф–Культура. М., 1996.  
*Jensen A.* 1951 – *Mythus und Kult bei Naturvölkern.* Wiesbaden; New York, 1951.  
*Kirk G.S.* 1970 – *Myth: Its meaning and functions in ancient and other cultures.* London, 1970.  
*Knights L., Cottle B.* 1960 – *Metaphor symbol.* London, 1960.  
*Lang A.* 1976 – *Custom and myth.* Wakefield, 1976.

*В.З. Демьянков*

*T. Givón. Functionalism and grammar.* Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995. 486 p.

Две центральных главы новой книги Т. Гивона – о системе составляющих и о грамматических отношениях – объединены под общим заголовком “Всерьез о структуре”. Такое внимание к синтаксическому анализу в монографии о теории и методологии функ-

ционализма – не уступка “конкурирующему” формалистическому подходу к языку, а один из способов продемонстрировать преимущества умеренного “взвешенного” функционализма перед радикальным “наивным” функционализмом. Радикальный функционализм

абсолютизирует существование взаимно-однозначного соответствия между языковой формой и языковой функцией, тогда как взвешенный функциональный подход выдвигает более слабое требование – отображение множества функций на множество форм. Проще говоря, взвешенный функционализм настаивает на очевидной вещи – на том, что одно и то же формальное средство может использоваться языком более, чем в одной функции, но не наоборот: одна функция не может кодироваться двумя разными формальными средствами. Убедительный аргумент – широкое распространение в естественных языках полисемии и омонимии при практически полном отсутствии абсолютной синонимии.

К заблуждениям радикального функционализма Т. Гивон относит также: "наивный" иконизм – веру в абсолютную иконичность и мотивированность языкового знака; "наивный" социологизм – веру в то, что когнитивные аспекты грамматики могут быть сведены к коммуникативным; отрицание грамматических категорий на основании того, что никакой конечный набор параметров не обеспечивает их единообразного выделения в языках разных типов, и т.д. И, наконец, самая серьезная претензия – отстаивая принцип "одна форма – одна функция", радикальный функционализм, вместе с тем, отказывает как форме, так и функции в праве на автономное существование. Противоречие очевидно: если задача исследования – установить соответствие между двумя объектами, то следует, по меньшей мере, признать существование этих объектов.

Те из лингвистов, кто не склонен к радикализму – и в функциональном, и в формалистическом лагере – признают возможность функционального объяснения языковых форм. Степень "формалистичности" (или, если угодно, степень "функционалистичности") исследования зависит, во-первых, от того, в какой мере удается автономизировать, развести анализ формальных языковых средств и анализ языковых функций (когнитивных и коммуникативных), и, во-вторых, от того, какая последовательность действий признается методологически правильной – т.е. должен ли формальный анализ предшествовать функциональному или наоборот. (Ср. в этой связи высказывание Ф.Дж. Ньюмейера, которого можно отнести к "умеренным" формалистам: "Проблема заключается... в том, какой объем формального анализа нужен как предпосылка для проведения анализа функционального. Мой ответ сводится к тому, что необходим намного больший объем формального анализа, чем

согласны признать иные функционалисты" [Ньюмейер 1996: 46]). К сожалению, дискуссия о возможности и возможностях автономного анализа формы и функции чаще всего напоминает разговор слепого с глухим. За очень редким исключением (каким является, например, блестящая работа Куно Сусуму и Таками Кэнъити [Kuno, Takami 1993]), функционалисты недостаточно владеют метаязыком формального анализа для того, чтобы осуществлять аргументированную критику изнутри, а формалисты не могут преодолеть некоторой снисходительности к теоретической расплывчатости и эмпирической перенасыщенности функционализма. И все же продолжают попытки если не сблизить эти подходы, то, по крайней мере, мотивировать свои приоритеты, доказывая преимущество собственной позиции по сравнению с альтернативной.

"Функционализм и грамматика" – сочинение, расположенное, безусловно, по функциональную сторону баррикад. Однако, как уже было сказано, основной пафос работы состоит в том, чтобы защитить функционализм не от нападок "справа" (из лагеря формалистов), а от вреда, наносимого "слева" – чересчур ретивыми функционалистами-догматиками. Функционализм Т. Гивона базируется на следующих основных принципах.

1. Модель языковой деятельности имеет обязательный когнитивный компонент, содержащий сведения о том, как в сознании человека организуется картина мира. Фрагменты этого системно упорядоченного представления являются "выходом" при порождении текста и "выходом" при его анализе. Ценность лингвистических выводов о когнитивном компоненте тем выше, чем лучше эти выводы согласуются с результатами, полученными в смежных дисциплинах, таких, как психология и нейрология.

2. Анализ и синтез текста осуществляется в двух режимах – условно говоря, в режиме автопилота и вручную. Сначала в автоматическом режиме с помощью стандартных операций быстро и грубо осуществляется первичная обработка, а на следующем этапе осуществляются более тонкие, контекстно-обусловленные нестандартные операции. Режим автопилота обеспечивает высокую реальную скорость речевого общения.

Автоматический режим становится возможным благодаря тому, что в составе когнитивных категорий (элементов когнитивного представления) выделяется прототип – эталонный представитель категории. Всякое отклонение от эталона требует дополнительного времени, ментальных и перцептивных усилий. Время и усилия для нестандартных

операций высвобождаются именно благодаря тому, что стандартные операции с прототипами осуществляются в автоматическом режиме.

Доказанное в психологии и нейрологии существование двух режимов речевой деятельности может считаться функциональным аргументом в пользу такого формального (в том числе морфологического и синтаксического) анализа, в результате которого для каждого класса языковых единиц будет выделен прототип, характеризующийся набором стандартных признаков (каждый из которых в отдельности не является ни необходимым, ни достаточным), и множество непрототипических представителей класса, характеристики которых так или иначе отличаются от стандарта. Прототипический элемент является структурно немаркированным – он формально проще и более частотен.

3. К числу важнейших функциональных тенденций относятся иконичность и мотивированность языковой формы. Принципы иконичности и мотивированности хорошо согласуются с важнейшим выводом нейрологии о том, что те отделы головного мозга, которые в процессе эволюции человека стали отвечать за языковую деятельность, первоначально специализировались на обработке визуальной информации.

Существенно, однако, что принципы иконичности и мотивированности не абсолютны. Языковая форма (морфема, слово, грамматическая конструкция и проч.) возникает мотивированно (т.е. функционально оправданно) и при своем возникновении, как правило, является иконичной, т.е. материально и визуально пропорциональной тому концепту, который этой формой кодируется. Однако в процессе употребления мотивированность и иконичность формы может разрушаться под воздействием внешних факторов. В частности, некоторые часто встречающиеся лексические единицы под давлением принципа экономии или даже в силу чисто фонетических причин могут фонетически и семантически редуцироваться, что приводит к их грамматикализации (превращению в грамматический показатель).

Общие принципы лингвистического исследования обосновываются, уточняются и демонстрируются Т. Гивоном на обширном языковом материале: автор оперирует данными таких языков, как испанский, иврит, многочисленные языки американских индейцев, языки банту, пиджины, креольские языки и многие другие.

Наиболее подробно рассматриваются следующие четыре группы грамматических явлений: (1) общее значение и способы выражения

сослагательного наклонения; (2) сериализация; (3) способы обеспечения связности текста в естественных языках; (4) инверсия и другие явления, связанные с изменением грамматической конструкции предложения.

Пример сослагательного наклонения выбран Т. Гивоном для того, чтобы показать, что как бы ни была сложна функциональная область и какими бы типологически разнородными не казались средства ее кодирования, при правильном выделении набора прототипических признаков (функциональных и формальных) удастся выделить в составе функциональной области системно связанные когнитивные и коммуникативные компоненты и упорядочить прототипические средства выражения этих компонентов. В данном случае такой категорией повышенной сложности является модальность и в ее составе – противопоставление "реалис / ирреалис", прототипическим же средством выражения ирреалиса является сослагательное наклонение.

Модальные значения Т. Гивон традиционно подразделяет на эпистемические (связанные с оценкой истинности пропозиции) и деонтические (связанные с такими оценочными установками говорящего, как желание, предпочтение, обязательство и т.п.). Гораздо менее традиционно то, как Т. Гивон определяет эпистемические модальности: вместо привычных определений в логических терминах "истинности / ложности" он предлагает опираться на когнитивный признак – степень уверенности говорящего в истинности сообщаемого и на коммуникативный признак – степень подключенности слушающего к оценке истинности сообщаемого. На основании этих признаков выделяются четыре эпистемических модальности: **п р е з у м п ц и я** (сказанное считается истинным по определению, по соглашению или на основании разделяемого собеседниками здравого смысла; подтверждение слушающего при этом не требуется), **р е а л ь н о е у т в е р ж д е н и е** (говорящий имеет серьезное основание считать сказанное истинным, подтверждение слушающего уместно, но не требуется), **и р р е а л ь н о е у т в е р ж д е н и е** (говорящий сомневается в истинности сказанного, мнение слушающего предполагается или запрашивается), **о т р и ц а т е л ь н о е у т в е р ж д е н и е** (говорящий аттестует сказанное как ложное, солидарность слушающего предполагается).

Нетрадиционно в работе и то, что, по мнению автора, нет непроходимой границы между эпистемической и деонтической модальностью. В частности, эпистемически заданному нереальному утверждению соот-

ветствуют такие деонтические модальности, как слабое манипулятивное намерение (*предлагаю, чтобы...*) [здесь и ниже русские примеры мои. – В.П.], предпочтение (*хорошо бы, чтобы...*), тревога (*боюсь, как бы не...*), неуверенность (*сомневаюсь, чтобы...*). Именно это сочетание – нереального утверждения со слабым манипулятивным намерением (*и/или с неуверенностью, тревогой, предпочтением*) плюс временная ориентация на будущее (еще не осуществленные) события – и составляет прототипическую особенность ирреалиса как функциональной области. Прототипическим средством кодирования ирреалиса в естественных языках является сослагательное наклонение. Так, например, с помощью сослагательного наклонения оформляются глаголы, зависящие от соответствующих предикатов пропозициональной установки, ср. русск. *просить, предлагать, хотеть, ждать, надеяться* и т.п. Кроме того, сослагательное наклонение широко употребляется (в том числе, и в русском языке) в речевых актах, направленных на манипуляцию говорящим: *Сходил бы ты в магазин!, Чтоб ты провалился!* И, наконец, в самых разных языках сослагательное наклонение используется в условных конструкциях.

Несколько увлекательных сюжетов книги так или иначе касаются сериализации. Во-первых, на материале сериальных конструкций уточняются протипические свойства подлежащего; во-вторых, демонстрируется несостоятельность формального синтаксического анализа, постулирующего единственность так называемого глагольного узла (VP-node), в-третьих, обсуждаются пути грамматикализации из компонентов полипредикативной конструкции.

Феномен сериализации (широко распространённый в языках западной Африки, юго-восточной Азии, Новой Гвинеи) традиционно представляет трудность для любого синтаксического подхода, который опирается на жесткое противопоставление сочинения и подчинения. Каждый из глаголов – членов сериальной цепочки – выступает в форме, способной, в принципе, выступать в качестве единственного сказуемого независимого простого предложения. Сериальная цепочка имеет, как правило, один общий актанта; при этом каждый из глаголов может иметь и по одному собственному актанта. Собственный актанта при сериальном глаголе имеет статус прямого дополнения, что, по наблюдениям Т. Гивона, подтверждается тестами на релятивизацию, прономинализацию и ограничениями на возможное изменение порядка слов. Глаголы в сериальной цепочке не всегда

имеют одинаковое грамматическое оформление: показатели времени–вида–наклонения могут или присоединяться к каждому глаголу, или только к одному – крайнему члену цепочки. В книге описываются и промежуточные случаи, когда крайний глагол имеет полный набор показателей, а прочие – сокращённый. Однако поскольку в языках с сериализацией грамматические категории характеризуются гораздо меньшей степенью обязательности, чем это принято в "индоевропейском стандарте", каждый из компонентов сериальной конструкции сохраняет способность самостоятельно формировать предложение. В этом – одно из принципиальных отличий сериальных конструкций от конструкций с инфинитивными формами глаголов, отмеченное многими исследователями сериализации [Bisang 1995].

Особую проблему представляет определение статуса общего актанта в сериальной конструкции. Т. Гивон сравнивает два класса конструкций: те, в которых семантические субъекты глаголов совпадают, и те, в которых семантические субъекты различны. Конструкции первого класса строятся по схеме: *Они нож взяли [они] мясо разрезали* 'Они разрезали мясо ножом'; конструкции второго класса строятся по схеме: *Они били его [он] умер* 'Они его забили до смерти' (слова, заключённые в квадратные скобки, соответствуют актантам, которые в тексте не выражены). Основной вывод автора сводится к следующему: 1) в конструкциях второго класса семантически – прямой объект первого глагола является субъектом второго, а синтаксически – прямой объект первого глагола со вторым глаголом не связан; 2) и в конструкциях первого, и в конструкциях второго класса субъект первого глагола является общим топиком обоих предикаций, составляющих сериальную конструкцию.

Часто компоненты сериальной конструкции неравнозначны с точки зрения их вклада в общее значение конструкции. Один из глаголов может являться собственно обозначением ситуации, тогда как второй используется для введения дополнительных семантических актанта. Так, глагол со значением 'давать' используется для введения Бенефицианта ('продать дом дать мужчина > продать дом мужчине'), глагол со значением 'брать' – для введения Инструмента ('брать палка бить собака > бить собаку палкой') и т.д. Однако даже в этих случаях финитный статус компонентов сериальной конструкции и наличие у каждого из них собственного прямого дополнения (что не только структурно, но и чисто механически "разводит" глаголы в линейном тексте) препятствуют грамматика-

лизации одного из компонентов. В этом важное отличие сериальных конструкций от конструкций с инфинитными формами, которые, напротив, очень подвержены грамматикализации особенно в тех случаях, когда грамматическая асимметричность глагольных форм усугубляется семантической асимметричностью. Грамматически финитный, но семантически вспомогательный глагол постепенно грамматикализуется, превращаясь сначала в элемент аналитической конструкции, а затем и в связанную морфему. Таков, например, известный путь грамматикализации модальных глаголов в видовременные показатели. Все это, как заключает автор, убедительно показывает, что путь исторического развития языка определяется не только "благородными" функциональными намерениями, но и конкретными структурными условиями.

Если при описании сериализации Т. Гивона интересовало, прежде всего, влияние диахронии на степень "гармоничности" отношений между функцией и формой, то вопросы связности текста рассматриваются, главным образом, с точки зрения того, как языковые механизмы связности коррелируют с когнитивными механизмами, обеспечивающими связность картины мира в сознании человека. Согласно данным психологии и нейрологии, к которым апеллирует автор, выделяются три уровня хранения информации, извлеченной в процессе речевого общения. Эти уровни соответствуют трем типам механизмов памяти: 1. буферные механизмы действующей памяти; 2. механизмы хранения эпизода; 3. долговременная семантическая память.

В буфере может храниться одновременно не более 2–5 предложений, что соответствует приблизительно 8–20 секундам речевого потока. Эта информация подвергается грамматической обработке и передается на следующий уровень, "уровень эпизода", где встраивается в концептуальную сеть. Узел сети приблизительно соответствует представлению пропозиции. Узлы сети иерархизованы, т.е. можно установить, частью какого более крупного эпизода является данный эпизод. Кроме того, у узлов имеются и "горизонтальные" связи, т.е. данный эпизод связывается с предшествующим и последующим. При переводе на долговременное хранение информация об эпизоде встраивается в многомерную систему, регулируемую человеческим опытом и знанием о мире.

Лексические и грамматические средства связности коррелируют, прежде всего, с когнитивными механизмами уровня эпизода. Автор рассматривает приемы, обеспечивающие в тексте "преемственность" референтов,

а также последовательное развертывание в тексте временных, аспектуальных и модальных отношений между пропозициями. Наиболее подробно описываются средства референциальной связности, которые подразделяются на анафорические – осуществляющие отсылку к ранее упомянутому референту, и катафорические – "активизирующие" референт, с тем, чтобы обеспечить его повторное упоминание в последующем дискурсе. В качестве эвристического приема, позволяющего оценить степень референциальной связности текста, Т. Гивон вводит две количественные характеристики: 1) референциальное расстояние – количество предикаций, отделяющих данную именную группу от ближайшей именной группы в предшествующем дискурсе, имеющей тот же референт, и 2) референциальная устойчивость – число повторных упоминаний данного референта на протяжении десяти последующих предикаций.

Эти две количественные характеристики используются автором, в частности, для оценки степени топикализованности (тематической важности) референта: вероятность того, что данная именная группа вводит тематически важный референт, тем выше, чем меньше референциальное расстояние и чем больше референциальная устойчивость. Иначе говоря, тематически важный референт недавно упоминался и будет часто упоминаться в дальнейшем.

Понятие тематической важности используется Т. Гивоном при анализе залоговых конструкций. Четыре залага – актив, инверсив, пассив и антипассив – рассматриваются как четыре функционально обусловленных варианта "упаковки" исходной ситуации. В качестве исходной рассматривается прототипически транзитивная ситуация по [Norreg, Thompson 1980], т.е. точечное, реальное событие, осуществленное активным, контролирующим, целенаправленно действующим Агенсом, и в результате которого пассивный Пациенс претерпевает изменения. В активной конструкции тематическая важность Агенса – несколько выше, чем тематическая важность Пациенса, а в инверсивной конструкции – наоборот, однако превосходство Агенса или Пациенса не очень значительно. Различие между Агенсом и Пациенсом (по тематической важности) гораздо заметнее в пассиве и антипассиве: в пассиве тематическая важность Пациенса существенно выше, чем тематическая важность Агенса, а в антипассиве – наоборот.

Определяя место инверсива среди других залоговых конструкций, автор пользуется и другими количественными характеристиками:

сравнительной частотой залоговых конструкций, частотой опущения Агенса и Пациенса. (Т. Гивон широко цитирует подсчеты, сделанные для языка чаморро в [Соогетан 1982; 1987].) Как и при описании других синтаксических явлений, Т. Гивон стремится показать, что выбор формального механизма (например, залога) может определяться одновременно несколькими функциональными причинами. Так, в числе функций инверсива – кодирование сравнительного положения Агенса и Пациенса в иерархии, задаваемой совокупностью прагматических и семантических критериев (говорящий выше слушающего, который, в свою очередь, выше третьего лица; одушевленный объект выше неодушевленного; близкий выше далекого; свой выше чужого и т.п.). Именно потому, что в функцию инверсива входит сравнение Агенса и Пациенса, в инверсиве не происходит опущения Агенса, как это часто случается в пассиве. На этом основании, а также на том основании, что статус Агенса в эргативных языках также чувствителен к упомянутой выше иерархии, Т. Гивон считает, что исторической базой эргативных конструкций является именно инверсив, а не пассив, как полагают многие.

Функциональные мотивировки, предложенные Т. Гивоном для инверсивов, по-видимому, могут быть перенесены и на такие конструкции, где в составе глагольной словоформы выражаются иерархические отношения не между Агеном и Пациентом, а между двумя лицами, одно из которых является Агеном, а другое – любым другим участником ситуации, не обязательно Пациентом. Сюда могут быть отнесены, например, формы адыгского языка, отражающие иерархию Агенса и Адресата (см. [Тестелец 1989: 141]).

Иерархию двух участников ситуации – лиц, отражают и японские бенефактивные конструкции со вспомогательными глаголами со значением ‘давать / получать’. Если в ситуации, описываемой исходным глаголом, помимо Агенса есть еще один участник – лицо, то с помощью одного из семи возможных вспомогательных глаголов со значением ‘давать / получать’ кодируется иерархия этих двух участников исходной ситуации. Так, если исходный глагол – ‘дарить’, то бенефактивная конструкция описывает иерархическое отношение между Агеном и Адресатом по схеме ‘дарить + давать–вверх–по-иерархии’ или ‘дарить + давать–вниз–по-иерархии’, т.е., соответственно, ‘дарить тому, кто выше’ или ‘дарить тому, кто ниже’. Если в ситуации, описываемой исходным глаголом, среди участников нет других лиц, кроме Агенса, то бенефактивная конструкция имеет на один

актант больше, чем исходный глагол. Этот актант семантически интерпретируется как Бенефициант и иерархическое отношение устанавливается между Агеном и Бенефициантом. Так, если исходный глагол ‘чинить’, то конструкция ‘чинить + давать–вверх–по-иерархии’ или ‘чинить + давать–вниз – по-иерархии’, интерпретируется, соответственно, как ‘чинить для того, кто выше’ или ‘чинить для того, кто ниже’ (см. [Холодович 1979: 82–91; Kuno Susumu 1973: 133–135; Shibatani Masayoshi 1994; Подлеская 1993: 26–35]). Пример японских бенефактивных конструкций еще раз подтверждает максимум “взвешенного” функционализма: сложные семантические и прагматические системы – такие, как иерархия объектов в картине мира или коммуникативная иерархия участников речевого общения – не кодируются в естественном языке изолировано, а образуют сложные формальные и функциональные конфигурации.

Описание конкретного языкового материала распределено между главами книги неравномерно. Книга состоит из девяти крупных разделов, названия которых имеет смысл привести полностью, для того, чтобы дать представление о композиции работы, а также – о полемическом задоре автора и раскрепощенности стиля: 1. Введение (несколько желчно); 2. Маркированность как метаиконичность: дистрибутивные и когнитивные корреляты синтаксической структуры; 3. Функциональные основы грамматической типологии; 4. Модальные прототипы истинности и действия; 5. Всерьез о структуре, I: структура составляющих и VP-узел; 6. Всерьез о структуре, II: грамматические отношения; 7. Наблюдения над грамматикой в тексте: что – следствие, а что – причина? 8. В ладу с познанием: связность текста и связность мышления; 9. Совместная эволюция языка, мышления и мозга.

Те, кто внимательно следит за творчеством Т. Гивона, узнают в большинстве разделов уже известные работы автора. Ряд публиковавшихся ранее статей воспроизводится в книге не только с текстуальной точностью, но и в том же графическом исполнении (см., например [Givón 1994]). Сама по себе практика объединения под одной обложкой серии ранее публиковавшихся работ вполне оправдана, однако в данном случае все же ощущается некоторая нехватка редакторских усилий по организации тома. Хотелось бы видеть сводный список сокращений, используемых в грамматической строке; очень бы помог указатель упоминаемых языков. Кроме того, в текст просочились некоторые досадные реликты ранних публикаций, типа “в

заключительной части статьи..." (следовало бы "в заключительной части этого раздела...", см. с. 363). Все это, впрочем, в большей степени претензии к издателям, чем автору.

В заключение, еще об одной проблеме, поднятой в книге – проблеме этики научного сообщества. Открытое обсуждение этого вопроса в книге, посвященной теории и методологии научного направления – явление столь же уместное, сколь и неожиданное. Неприятие всего "чужого" при некритическом следовании догматам, объявленным "своими" – вот упрек, брошенный автором большинству тех, кто собирается под те или иные лингвистические знамена. Этот упрек может быть адресован и функционалистам, хотя, в целом, считает Т. Гивон, этому направлению не свойственна авторитарность иных "школ". Может быть, пишет он, подобно тому, как иные племена используют для самоназвания слово "люди", нам просто следует называть себя "лингвистами". Мне невольно вспоминается, как покойный В.А. Звегинцев, приветствуя нас, абитуриентов Отделения структурной лингвистики 1970 г., сказал: "Некоторые из вас, наверное, думают, что структурная лингвистика это какая-то особая лингвистика. Неверно! Структурная лингвистика это просто хорошая лингвистика!". Многие ли из нас научились с тех пор разбираться, где – принципиальность научной позиции, а где – простительное стремление к комфорту научного существования "среди своих"?

- Ньюмейер Ф.Дж.* 1996 – Спор о формализме и функционализме в лингвистике и его разрешение // ВЯ. 1996. № 2.
- Подлеская В.И.* 1993 – Сложное предложение в современном японском языке: материалы к типологии полипредикативности. М. 1993.
- Тестелец Я.Г.* 1989 – Категория инверсива: определение и опыт типологии // Проблемы семантической и синтаксической типологии / Под ред. В.И. Подлеской, Л.И. Куликовой. М., 1989.
- Холодович А.А.* 1979 – Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
- Bisang W.* 1995 – Verb serialization and converbs – differences and similarities // *Converbs in cross-linguistic perspective* / Ed. by Haspelmath M., König E. Berlin; New York. 1995.
- Cooreman A.* 1982 – Topicality, ergativity and transitivity in narrative discourse: evidence from Chamorro // *Studies in language*. 1982. V. 6. № 3.
- Cooreman A.* 1987 – "Transitivity and discourse continuity in Chamorro narratives". Berlin, 1987.
- Givón T.* 1994 – Irrealis and the subjunctive // *Studies in language*, 1994. V. 18. № 2.
- Hopper T., Thompson S.A.* 1980 – Transitivity in grammar and discourse // *Language*. V. 56. № 2.
- Kuno Susumu* 1973 – The structure of the Japanese language. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1973.
- Kuno Susumu, Takami Kenichi* 1993 – Grammar and discourse principles: functional syntax and GB theory. Chicago, London, 1993.
- Shibatani Masayoshi* 1994 – Benefactive constructions. A Japanese – Korean comparative perspective // *Japanese/Korean linguistics, CSLI*. V. 4. Stanford University, 1994.

*В.И. Подлеская*

**Русская ономастика и ономастика России: словарь** / Под ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. М.: Школа-Пресс, 1994. 288 с. ("Русская энциклопедия").

После многочисленных и обстоятельных публикаций по проблемам ономастики 70–80-х годов наступил, казалось, непреодолимый провал 90-х, когда ономастические исследования стали ненужными, невостребованными новым российским обществом. Нестабильность в исследовательских учреждениях, резкая переориентация в книгоиздательском деле, проблемы выживания Высшей школы не способствовали изучению имен собственных и изданию книг о них. Издательство "Школа-Пресс", известное своими научно-теоретическими и методическими журналами (в том числе "Русская словесность"), книгами серии "Круг чтения: школьная программа", некоторыми популярными изданиями и словарями (например [Никонов

1993; Тихонов и др. 1995]), решается на публикацию первой книги из серии специальных словарей в рамках академического проекта "Русская энциклопедия".

В чем-то рецензируемый словарь наследует традиции предшествующего периода развития русской ономастики. Разработка академического проекта началась несколько лет назад, тогда же были подготовлены первые материалы к нему. Главный редактор словаря акад. О.Н. Трубачев в своем предисловии отмечает, что перед авторами "Русской энциклопедии" стоит задача полной инвентаризации русского ономастического богатства, составление именованного, адекватного русской картине мира (с. 5). Во вступительной статье Е.С. Отина (он же автор многих статей

словаря, в том числе оригинальных разработок "Иван", "Иванов") определяются принципы отбора ономастического материала для "Русской энциклопедии", способы подачи топонимической лексики, характер сведений о топонимах, содержание словарных статей об антропонимах, включая агрионимы, теонимах, космонимах, этнонимах и пр.

Всего в книге 122 словарных статьи (некоторые из них отсылочные). Они написаны крупнейшими российскими ономатологами Э.М. Мурзаевым, Е.М. Поспеловым, Л.М. Щетининым, разработчиками новых направлений в ономастической науке С.И. Зининым, Ю.А. Карпенко, Г.Ф. Ковалевым, М.Э. Рут, Н.Г. Рядченко, известными специалистами И.А. Воробьевой, З.С. Дерягиной, Н.И. Zubовым, Н.Д. Русиновым, Н.К. Фроловым и др. При чтении словаря постоянно ощущается, что статьи писались с любовью к материалу, малой родине, отечественной истории. И напрасно редактор вводит "оправдательное" примечание к статье "Пензенщина" (с. 156–158). Именно благодаря восторженному (в далевском смысле этого слова – см. [Даль, I: 251]) отношению к мельчайшим подробностям истории края, чувству боли за него работа Ю.Б. Самсонова не только не уступает другим материалам, но и превосходит некоторых из них.

Каждая словарная статья содержит заглавное слово, его денотативное определение, историческое и (для топонимов) физико-географическое описание, лингвистический раздел, включающий историю и (не во всех статьях) этимологию слова. Возникает вопрос о месте и роли списка литературы в словаре энциклопедического типа. По-моему, он не только необходим, но и должен составлять неотъемлемую часть статьи. Образцом в этом плане является Лингвистический энциклопедический словарь [Ярцева (ред.) 1990]. После знакомства с указанной в нем литературой можно быть уверенным, что ни одна из важных публикаций по вынесенной в заглавное слово проблеме не будет упущена. В рецензируемом словаре имеются статьи подобного рода ("Названия городов Московской области", "Ферапонтов монастырь" и др.), однако в большинстве случаев либо сноски вообще отсутствуют, либо возникает чувство неполноты списка литературы, его незавершенности, избирательности (не говоря уже об авторекламном включении в списки депонированных рукописей, тезисов докладов, газетных заметок).

Можно принять справедливые сетования редактора о невозможности систематической алфавитной публикации всей "Русской энциклопедии" и поддерживать горячее желание не

откладывать дела в долгий ящик (с. 5–6), однако трудно согласиться с тем, что название словаря и его содержание соответствуют друг другу. Прежде всего неясно, в чем суть различий между первой и второй частью заглавия. Большая часть статей может быть отнесена как к русской ономастике, так и к ономастике России. Статьи общего характера ("Астронимика", "Зоонимика", "Теонимика" и др.) не могут быть квалифицированы ни по первому, ни по второму ключевому словосочетанию, но это вовсе не означает, что они не должны включаться в словарь подобного типа. Некоторые материалы (прежде всего единственная персоналия – с. 145–147) скорее можно определить как "ономастика в России".

Рецензируемый словарь представляет собой "выбранные места" из русской ономастики с явным топонимическим креном (74% словарных статей посвящены анализу топонимов). Если учесть, что в некоторых статьях проанализировано несколько названий географических объектов ("Названия городов Московской области" – 19, "Топонимия Радонежской земли" – 17, "Ферапонтов монастырь" – около 200!), можно определить топонимическую составляющую словаря как наиболее весомую. Подбор авторов статей отразился в том, что в словаре достаточно хорошо представлена сибирская топонимия, в меньшей степени поволжская. Остальные важные для русской истории названия городов, рек, гор и пр., упомянутые Е.С. Отиным во вступительной статье (с. 8–10), еще ожидают детального описания.

Благодаря словарным статьям общего характера ("Русские отчества", "Женские имена", "Фамилии донских казаков" и пр.) в рецензируемой книге рассмотрено значительное число антропонимов, вместе с тем за ее пределами остались такие важные проблемы русской антропонимики, как образование гипокористических и уменьшительно-ласкательных форм, функционирование прозвищ, псевдонимов и т.п. Одной из причин этих лакун является отсутствие среди авторов известного русского ономатолога В.Д. Бондалетова.

Из периферийных разрядов ономастики в словаре представлены астронимия, мифонимия, зоонимия, названия ветров (анемонимия) и др. Отсутствуют не только среди словарных статей, но и в обоих вступительных упоминания о важных для отечественной истории, для определения "русской ономастической картины мира" (с. 8) эргонимах ("Бубновый валет", "Зеленая лампа" и др.), артинимах ("Горе от ума", "Война и мир", "Тихий Дон" и др.) и некоторых других ономастических разрядах.

Пробное издание вовсе не обязательно должно иметь строгое единообразие в оформлении словарных статей. Отсутствие однородности, рутинности является одной из сильных сторон рецензируемой книги. Вместе с тем некоторые материалы явно написаны для какого-нибудь сборника научных трудов, а не для лексикографического издания. Статья "Женские имена", например, завершается безадресным пожеланием рассмотрения форм именования женщин в дальнейшем (с. 73). Очерк "Топонимическая комиссия Московского филиала..." (с. 229–234) очень похож на отчет о проделанной работе перед вышестоящим органом.

В большей части статей авторы стремятся объективно излагать материал, однако наблюдается и односторонний подход. Так, многие гидронимы Сибири и Севера возводятся к этимологической модели "вода, река". Безусловно, подобное исходное значение названий рек, ручьев, озер является самым распространенным в гидронимии. Эта модель характерна для всех языков, является если не универсальной, то фреквентальной. Однако вызывает сомнение стремление видеть "водное" значение в каждом кусочке слова, дублирование этимологии в гидронимах: *Пышма* 'река, протока' + речной суффикс (с. 167), *Сосьва* 'ручей, рукав' + 'вода' (с. 205), *Тобол* 'приток реки' + 'ручей, река' (с. 229) и др.

При всей строгости отбора материала и ощущаемой редакторской правке некоторые статьи грешат избыточностью информации или рассуждений. Дважды одна и та же цитата ("А на Угличе Поле...") дана на с. 249 и 252. Не стоило, рассказывая о с. *Азовы* Тюменской обл., название которого восходит к хантыйскому языку, приводить сведения о никак не связанном с ним топониме г. *Азов* Ростовской обл. (с. 13).

С другой стороны, многие статьи дают сведения об объекте в весьма редуцированном виде. Прежде всего огорчает объединение в одной словарной статье названий городов и рек (с. 12, 49, 214 и др.): информация о гидронимах и ойконимах столь различается, что это должно найти отражение в строении статьи. В некоторых материалах отсутствует этимологическая часть (с. 53), статистические данные (с. 39, 41, 49 и мн. др.) и т.п.

Требование доступности книги всем слоям населения, его краеведческой ценности заставляет избегать непонятных слов (ренсковые погребя – с. 31), устаревшей лексики (морская язва, польско-литовские воры – с. 34–35), но при этом не упрощать описание для полунаучного изложения (оканье, характерное для русских – с. 20). Это же касается и терминов: то в словаре разъясняются доста-

точно известные (гидроним – с. 12, пейоративный – с. 273), то употребляются малоизвестные даже специалистам (палеоформант – с. 215). В статье "Клички лошадей" не приведен уже получивший достаточно широкое распространение термин "иппоним" (с. 107). В упомянутой статье *Азовы* дан не вполне удачный термин "полисоним" (с. 13), образованный незаконмерно от основы *полн-/полн-* (ср. [Вейсман 1991: 1022; Грешем 1994: 115]). Вместо него рекомендован термин "астионим" [Подольская 1978: 39]. Не очень ясно, что вкладывает автор в понятие "стилизованный форма цитации" (с. 54).

Возникают сомнения по поводу некоторых этимологических построений. Хотелось бы увидеть хотя бы одну фиксацию антропонимов *Кунава* (с. 103), *Серпих* (с. 134), *Сорм/Сорма* (с. 205), ставших основой для топонимов. Можно было бы указать, что имена *Радило* (с. 50), *Станило* (с. 209) являются суффиксальными образованиями от кратких форм, возникших из композитов: *Станило* < *Станислав*, *Станимир*; *Радило* < < *Радость*, *Радомысл*, *Радонег* (ср.: Радонег), *Радослав* [Селищев 1968: 120]. Семантически маловероятно, чтобы *Вишвая горушка* получила название от переносного значения слова *вишвый* 'незначительный' (с. 276). Скорее, это какое-то переосмысление старого названия (ср. *Вишвая горка* в Москве) или перенесенный топоним. Сомнительно, чтобы в названии *Поклонная гора* отражались особенности рельефа (с. 277). Здесь тоже можно вспомнить московскую Поклонную гору, у которой въезжающие "отдавали поклон" городу [Пегов (ред.) 1975: 330] или предположить первичную религиозную семантику. Пример *рожовичи* ничего не доказывает о связи топонима *Ржев* и др.-русс. *ръжь* (с. 167), скорее, наоборот: только форма с беглым гласным является фонетически допустимой. Форма *Артюша* может быть образована также от имени *Артем*, а *Паня* – от *Павел* (с. 266). Весьма сомнительны рассуждения об исходном значении теонима *Мара* (с. 224); предположения этимологов об апеллативе *мара* менее запутаны (см. [Фасмер, II: 571; Brückner 1970: 322]). Анемоним *меженный ветер* (с. 185) проще связать с широко распространенным, вошедшим в литературный язык словом *межень* 'период низкого уровня воды в реке, озере' [Ожегов 1990: 347]. Непонятно, как автор увидел презрительное отношение в славянской этимологии этнонима *немцы* и почему он объединил это слово с несовместимым по этимологии наименованием *чудь* (с. 285); неславянские этимологии этнонима *немцы* фонетически, словообразовательно и экстралингвистически

малодостоверны (см. [Фасмер, III: 62; Brückner, 1970: 360; Черных 1994: 568]).

В целом, однако, следует отметить, что первое издание в рамках академического проекта явно удалось. С нетерпением будем ждать выхода в свет следующих книг.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вейсман А.Д. 1991 – Греческо-русский словарь (репринт V-го издания 1899 г.). М., 1991.  
Грешем М.Дж. 1994 – Учебник греческого языка Нового Завета. М., 1994.  
Даль В.И. – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955.  
Никонов В.А. 1993 – Словарь русских фамилий. М., 1993.

Ожегов С.И. 1990 – Словарь русского языка. М., 1990.

Пегов А.М. (ред.) 1975 – Имена московских улиц. М., 1975.

Подольская Н.В. 1978 – Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.

Селищев А.М. 1968 – Избранные труды. М., 1968.

Тихонов А.М. 1995 – Словарь русских личных имен. М., 1995.

Фасмер М. – Этимологический словарь русского языка. Т. II, 1986; Т. III, 1987. М.

Черных П.Я. 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I. М., 1994.

Ярцева В.Н. (ред.) 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Brückner A. 1970 – Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970.

В.И. Супрун

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

4–11 августа 1996 г. в Абердине (Шотландия) состоялся XIX Международный конгресс ономастических наук, на который собралось 300 делегатов от 40 стран. Было проведено четыре пленарных заседания с докладами: Дж. Барроу (Шотландия) “Топонимы и история Шотландии”; М. Геллинг (Англия) “Топонимы и ландшафты”; А. Дорион (Канада) “Свободны ли топонимы от политики?”; Г. Кос (Германия) “Имя в процессе обучения”. Секционные заседания были посвящены многочисленным вопросам, касающимся объема, перспектив и методов ономастических исследований. Конгресс проводился Абердинским университетом и Международным советом по ономастическим наукам во главе с проф. Абердинского университета В.Ф.Х. Николасом.

Во время Конгресса было проведено несколько заседаний Международного совета по ономастическим наукам (ICOS), пришедшего на смену Международному комитету ономастических наук. На одном из заседаний ставился вопрос о целях и задачах преобразованного органа ICOS – журнала “Onoma”. До преобразования ICOS основным направлением журнала “Onoma” было библиографическое. В настоящее время во многих странах имеются свои специальные ономастические журналы, кроме того, до 200 журналов во всем мире печатают статьи по ономастике. Во Французской Канаде ономастические публикации ведутся уже сто лет, а активная ономастическая работа началась с середины XIX в. Ономастическая комиссия существует с 1912 г. В Германии имена собственные считают важной составной частью лексики, а работы, игнорирующие собственные имена, считают неполными. Дж. Барроу подчеркнул, что топонимы – это лексические единицы, указывающие на этническую и культурную последовательность расселения людей. Поэтому их значение для изучения ранней истории человечества трудно переоценить.

Важное теоретическое значение имеет

доклад Т. Веннеманна (Германия) “Доиндоевропейские топонимы в Центральной и Западной Европе”. Он условно разделил эти топонимы на басконские и атлантические. Он считает, что индоевропейцы пришли в Европу с юго-востока. Басконские народы занимали территорию севернее Альп, атлантические – на западе Европы и Африки. Подтверждение своей гипотезе он находит в гидронимах на *is-leis-: Isar, Isère, Eisenbach* и, возможно, *Thames*, ср. сохранившееся в баскском языке *iz-* “вода”. К той же группе относятся названия на *ur-*, *auer-*: *Auerbach, Urfe*, баск. *ur-*, *hur-* “вода”. Многочисленные названия с компонентом *Bischof* “епископ” он считает преобразованием баск. *bizkar* “спина” как обозначение горного хребта. В названиях на *bid-/bed-* отражено баск. *bide* “дорога”. Атлантические топонимы связывают Европу с Западной Африкой. К ним относятся гидронимы типа *Tajo/Tejo*, ср. хауса *tagus* “река” и шотл. *Tay*; связь Иберии и Шотландии подтверждается многочисленными топонимами с начальным *pit-* – рефлексом евро-афразийского слова со значением “земля, территория”.

М. Геллинг в докладе “Топонимы и ландшафты” отметила, что в древнеанглийском языке был богатый набор слов, обозначающих различные детали ландшафта, а современный английский беден ими. Полевая работа по сбору топонимов с последующей расшифровкой их древних написаний позволяет с достаточной точностью этимологизировать древние названия. Топографические обозначения свидетельствуют о статусе и экономическом положении древнего поселения, служат ориентиром, отражают физико-географические особенности объекта. Такое отношение к объектам при их номинации было типично для древнегерманских племен, пришедших в Британию, и обнаруживается на всей территории, что позволяет хронологизировать названия и заселение острова и его отдельных частей. Например, др.-англ. *dūn* “холм, гора” в топонимии обозначает неболь-

шую возвышенность со сглаженной вершиной, удобную для постройки населенных мест, совр. down: *Billington* < *Billendon* “холм Билла”; *hōh* в топографии – “холм, полого поднимающийся с одной стороны и резко обрывающийся с другой”: *Ivinghoe* < *Evingehou* “холм людей Ифа”; *denu* “протяженная долина, обычно изогнутая, по которой проходит дорога”: *Assendon* < *Assundene* “долина ассов”.

П. Халларокер (Норвегия) в докладе “Имена и этническая принадлежность” говорил об отношении выходцев из Норвегии, поселившихся в Америке, к своим фамилиям и географическим названиям. Наиболее старые диалектные формы норвежских имен связаны с устной традицией и старой норвежской культурой. Прибывавшие позднее образованные люди связаны с литературной традицией, датско-норвежским языком (с датской орфографией) и новонорвежской культурой. Английский язык сблизил норвежских переселенцев с американской культурой. Таким образом, истоки их имен имеют троякий характер. При регистрации американского гражданства и покупке земель имеет место адаптация имен к английскому языку посредством буквального перевода: *Bjørkehaugen* – *Birchhill* “березовый холм”; *Knappen* – *Button* “пуговица”; посредством изменения орфографии: *Strøm* – *Strom*, *Gaarder* – *Gorder*.

Несколько докладов было посвящено проблеме “свое-чужое” в антропониимии и топонимии. Так, Э. Брюлла (Швеция) отметила, что в Швеции регистрируются фамилии, непременно согласующиеся с нормами шведского языка и орфографии. В частности, фамилии эмигрантов из Либерии и других приморских стран просто заменяются на *Strandman*. Э.М. Кристоф (Германия) говорил об интеграции в современную немецкую среду этнических немцев, около двухсот лет проживших в России. Чтобы чувствовать себя полноправными членами общества, они

сующиеся с нормами немецкого языка. Если Иван однозначно меняется на *Johannes*, то Любовь меняется на *Karina*, Владимир – на *Waldemar*, Вячеслав – на *Victor*. Немецкая фамилия, имеющая в русских документах форму *Гибнер*, возводится к своей исторической немецкой форме *Hübner*.

В связи с разработкой нефтяных и газовых месторождений в Северном море перед норвежцами стоит вопрос о наименовании невидимых объектов. Лучшим источником для них признана скандинавская мифология и саги, о чем говорилось в докладе Э.-Й. Эллингве (Норвегия).

От России в Конгрессе приняли участие А.В. Суперанская с докладом “Протяженность имени во времени и пространстве”, Р.А. Агеева “Принципы составления Этнонимических словарей”, З.В. Рубцова “Русский ономастикон. Методы составления”, М.Л. Алехшина (Санкт-Петербург) “Грамматика собственных имен в современном норвежском языке”.

В ряде стран создаются ономастические словари, атласы, осуществляются различные классификации имен. У западных славян ономастический материал более или менее собран, у южных и восточных – нет. Нужны атласы гидронимов и микротопонимов, работы по хремотонимам, названиям коллективов и учреждений, названиям домов, улиц, гостиниц.

Обращает на себя внимание активное отношение жителей многих стран к своим именам, желание их осмыслить и большая научная и практическая работа по ономастике, унификации орфографии исторически одних и тех же имен, адаптация иноязычных названий, замена названий, вызывающих неприятные ассоциации на территориях с разноязычным населением, – все это на фоне серьезного изучения топонимов и антропонимов с момента их первой фиксации.

А.В. Суперанская (Москва)

30 октября 1996 года состоялись очередные Кононовские чтения, ежегодно проводимые кафедрой тюркской филологии вост. фак-та Санкт-Петербургского гос. ун-та. На этот раз чтения были посвящены 90-летию со дня рождения акад. Андрея Николаевича Кононова и 10-летию со дня его кончины.

В работе заседания приняли участие ученики, коллеги, друзья ученого из Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН и Института востоковедения должны получить имена и фамилии, согла-

РАН, Института лингвистических исследований РАН и Института языкознания РАН, вновь организованной кафедры Центральной Азии вост. фак-та СПбГУ и Башкирского гос. ун-та.

В своем вступительном слове В.Г. Гузев (Санкт-Петербург) осветил творческий путь А.Н. Кононова в контексте развития отечественной тюркологии. А.Н. Кононов явился продолжателем научной тюркологии, которая в основном складывалась на протяжении XIX в. Были названы труды И. Гиганова, А.К. Казембека, О.Н. Бетлингга, И.Н. Бере-

зина, знаменитая “Грамматика алтайского языка” (Казань, 1869) трех авторов – В.И. Вербицкого, Н.И. Ильминского, М.А. Невского; плодотворная деятельность В.В. Радлова, начавшаяся в 1859 г. в Барнауле и завершившаяся с его кончиной в 1918 г. в Петербурге; талантливые труды П.М. Мелиоранского, В.Д. Смирнова. В первой половине XX в. отечественная тюркология не только продолжала традиции XIX в. (труды Н.Ф. Катанова, В.В. Радлова), но и получила иные количественные и качественные измерения в трудах В.А. Гордлевского, С.Е. Малова, А.Н. Самойловича. Одной из ее важнейших задач было языковое строительство в послереволюционный период, в котором своими трудами приняли активное участие Н.К. Дмитриев, А.П. Поцелуевский, А.Н. Самойлович, А.К. Боровков, И.А. Батманов, В.М. Насилов, Н.А. Баскаков, Н.П. Дыренкова, В.В. Решетов, А.Н. Кононов.

За 55 лет научной, научно-организационной и педагогической деятельности А.Н. Кононовым было опубликовано более 250 трудов, среди которых важнейшее место занимают: “Грамматика современного турецкого литературного языка” (М.-Л., 1956), “Грамматика современного узбекского литературного языка” (М.-Л., 1960), “Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв.” (Л., 1980), “История изучения тюркских языков в России. Дюктябрьский период” (2-е изд., Л., 1982). В.Г. Гузев перечислил также многочисленные теоретические курсы, которые читал А.Н. Кононов в течение 48 лет работы на кафедре тюркской филологии восточного факультета Ленинградского государственного университета.

Некоторые из направлений языковедческих и общелингвистических разысканий А.Н. Кононова нашли отражение и развитие в докладах, прочитанных на юбилейном заседании.

А.М. Щербак (Санкт-Петербург), этимологизируя слово *arslan*, критически изложил сводку существующих мнений по этому вопросу, поддержал и развил то толкование, которое было предложено Л. Патрубани в конце XIX века.

С.Н. Иванов (Санкт-Петербург) в докладе “Филологическая наука и поэтический перевод” (доклад был прочитан ассистентом кафедры тюркской филологии А.И. Пылевым) подчеркнул, что поэтический перевод (если только это действительно перевод оригинального текста, а не рифмованный подстрочник) может быть художественным истолкованием исходного поэтического текста. Так называемый филологический перевод,

т.е. воспроизведение одного лишь содержания, представляет поэтический текст в “рассыпанном” виде и лежит вне каких-либо художественных задач. И это своего рода парадокс. Наука, призванная отражать истину, в данном случае далека от истины. Художественное истолкование текста предполагает воссоздание содержания оригинала в единстве с его выразительно-эстетическими структурами, т.е. с поэтикой оригинала. Перевод одного лишь содержания не может быть признан адекватным, равно как и рифмирование подстрочника поэтического произведения.

А.Н. Кононов в своих изданиях “Родословной туркмен” Абу-л-Гази и “Возлюбленного сердца” Навои продолжил традиции эдиционной текстологии, подлинно научного историко-филологического комментирования издаваемого текста с описанием его языка, т.е. те традиции, которые были заложены эдиционно-текстологической школой П.М. Мелиоранского – А.Н. Самойловича. Начатое А.Н. Кононовым сопоставление – в аспекте языка и стиля – таких памятников тюркского средневековья, различных по времени и условиям их создания, по их составу и размерам, как “Родословная туркмен” и “Записки Бабура” (“Бабур-наме”), продолжила Г.Ф. Б л а г о в а (Москва). Объектом изучения явились многочисленные языковые ситуации (цепочки коммуникативных характеристик, социально-культурных по своей природе: адресант–коммуникативная установка–адресат–текст), как они представлены в том и другом памятнике.

Т.И. Султанов (Санкт-Петербург) в своем сообщении рассказал о новом переводе на английский язык одного из крупнейших произведений средневековой тюркской литературы Центральной Азии – мемуаров султана Захир эд-Дина Бабура (“Бабур-наме”). Перевод, выполненный американским арабистом и тюркологом Wheeler M. Thackston, стал заметным вкладом в дело ознакомления западных читателей с этим памятником.

В докладе С.Г. Кляшторного (Санкт-Петербург) “Кто были половцы?” рассмотрены генетические связи половцев племем Юго-Восточной Европы с тюркскими племенными объединениями Центральной Азии и Дальнего Востока.

Изучение памятников древнетюркской письменности и прежде всего – рунической всегда оставалось в центре внимания А.Н. Кононова; проблемам, связанным с руникой, он посвятил годы своей жизни. Неслучайно поэтому, что соответствующая проблематика заняла свое место в программе.

И.В. Кормушин (Москва) обратился

к чтению одного трудного места в памятнике E28 (оз. Алтын Кель, Хакасия). На сегодняшний день лучший, по мнению докладчика, перевод дан А.Н. Кононовым (см. его “Граматику языка тюркских рунических памятников VII–IX вв.”), трактовавшим форму на *-sar* как причастие: *(a)ts(a)r (a)lp (ä)rt(i)η(i)zin uts(a)r k̄ič (ä)rt(i)η(i)zin* ‘Вы были героем, который должен был метко стрелять; Вы были силой, которая умела побеждать’. Предложенная докладчиком коррекция 11-го знака (*-n*, а не *-t*, как идентифицировали до сих пор) обнаруживает полный синтактико-морфологический параллелизм обеих частей фразы, косвенно подтверждая причастный статус обеих форм на *-sar*; при этом, однако, возникает новый вопрос о статусе *-in* в форме *ärtiηizin*.

Д.Д. Васильев (Москва) в своем докладе представил обзор истории изучения тюркской эпиграфики Алтая – от первого сосуда с надписью из знаменитой сибирской коллекции Петра I до последних открытий, сделанных археологами В.Д. и Г.В. Кубаревыми в 1996 г. Охарактеризованы особенности алтайской наскальной эпиграфики, затронут вопрос о соотношении надписей орхоно-енисейского типа и так называемых “руноподобных”, толкование которых имеет у разных исследователей противоречивые версии.

В.Г. Гузев в сообщении “О графических приемах древнетюркского рунического письма” предложил фрагмент классификации приемов графической передачи языковых единиц средствами древнетюркского рунического письма (ДТРП). При этом он исходит из концепции автохтонного возникновения этого письма, предполагающей, что

первоначально оно было словесно-слоговой системой. Отправной точкой служат приемы “реализации эталона”: а) передача отдельных слов знаком-пиктограммой с опорой на его изобразительные свойства (*äb* ‘дом’, *ok* ‘стрела’, *aj* ‘месяц’, *at* ‘лошадь’ и, возможно, другие); б) фонетизованное использование таких логограмм, при котором знак репрезентирует лишь звуковое означающее лексемы, полностью оторванное от исконного предметного образа и потому способное быть в составе любых омонимичных (или лишенных значения) звуковых сегментов: *äbirü* ‘обойдя’, *jok* ‘нет’, *ad* ‘имя’. Остальные графические приемы: 1) “переворачивание слога при поддержке вокалического знака, представляющего исконный гласный” (*ok* > *ko-*, *ük* > *kü-*, *yk* > *ky-*, *at* > *ta-*, *ak* > *ka-*); 2) “преодоление исконного гласного силлабограммы путем привлечения вокалического знака” (*az* > *u + az* > *uz-*, *al* > *o + al* > *ol*); 3) “отклонение от эталона путем фонемографизации лого- или силлабограмм (*äb + äp* > *b + äp* > *bän* ‘я’, *at + aš* > *t + aš* > *taš* ‘камень’) – истолковываются как проявление грамматологического принципа экономии, “согласно которому письмо стремится достигнуть максимальной эффективности минимально возможным числом знаков” (по И. Гельбу), и как проявление эволюции ДТРП по пути алфавитизации.

А.Г. Шайхулов (Уфа) и Л.А. Покровская (Санкт-Петербург) выступили с воспоминаниями об А.Н. Кононове.

Воспоминаниями об отце поделилась дочь ученого М.А. Кононова. В заключение прозвучало любимое Андреем Николаевичем стихотворение В. Брюсова о Константинополе.

Г.Ф. Благова (Москва),  
В.Г. Гузев (Санкт-Петербург)

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ  
В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"**

- БЕ – Български език  
ВДИ – Вестник древней истории  
ВИ – Вопросы истории  
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания  
ВФ – Вопросы философии  
ВЯ – Вопросы языкознания  
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения  
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание  
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук  
(Росс. АН), АН СССР  
ИЯШ – Иностранные языки в школе  
РЯНШ – Русский язык в нац. школе  
РЯШ – Русский язык в школе  
СБНУ – Сборник за народни умотворения  
СТ – Советская тюркология  
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки  
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen,  
Literatur und Kunst  
AfsIph – Archiv für slavische Philologie  
AGL – Archivio glottologico Italiano  
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
AL – Acta linguistica  
AmA – American anthropologist  
ANF – Arkiv för nordisk filologi  
AO – Archív orientální  
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague  
BPTJ – Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies  
BzNf – Beiträge zur Namenforschung  
CAJ – Central Asiatic Journal  
CFS – Cahiers F. de Saussure  
CJ – The classical journal  
FPhon – Folia phoniatica  
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen  
GL – General linguistics  
HR – Hispanic review  
IF – Indogermanische Forschungen  
IJ – Indo-Iranian journal  
IJAL – International journal of American linguistics  
JA – Journal asiatique  
JASA – Journal of the Acoustical society of America  
JEGPh – Journal of English and Germanic philology  
JL – Journal of linguistics  
JP – Język polski  
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society

JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne  
 ЖФ – Јужнословенски филолог  
 KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen  
 LaPh – Linguistics and Philosophy  
 Lg – Language  
 LIn – Linguistic Inquiry  
 LM – Les langues modernes  
 MM – Maal og minne  
 MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne  
 MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
 MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
 NSS – Nysvenska studier  
 NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
 PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
 PMLA – Publications of the Modern Language Association of America  
 RES – The Review of English studies  
 RÉG – Revue des études grecques  
 RÉSI – Revue des études slaves  
 RF – Romanische Forschungen  
 RKJL – Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego  
 RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego  
 RLing – Russian linguistics  
 RLR – Revue de linguistique romane  
 RO – Rocznik orientalistyczny  
 RS – Rocznik slawistyczny  
 SaS – Slovo a slovesnost  
 SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
 SL – Studia linguistica  
 SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu  
 SPAW – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
 StO – Studia orientalia  
 SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
 TA – Traduction automatique  
 TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
 TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague  
 TIL – Travaux de l'Institut de linguistique  
 TPhS – Transactions of the Philological society  
 UAJb – Ungarische Jahrbücher  
 VR – Vox Romanica  
 WW – Wirkendes Wort  
 ZAS – Zentralasiatische Studien  
 ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie  
 ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum  
 ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
 ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie  
 ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung  
 ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen  
 ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
 ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie  
 ZSL – Zeitschrift für Slavistik  
 ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

## CONTENTS

V.M. Živov (Moscow), A. Timberlake (Berkeley). Adieu to structuralism (some proposals for discussion); A. Mustajoki (Helsinki). Is grammar based on semantics possible?; M.V. Šul'ga (Moscow). The Slavonic grammatical gender: privative opposition; T.V. Bul'gina, A.D. Šmелеv (Moscow). Reference and meaning of the expressions *miasopust* (*miasopustnaja nedel'a*) and *syropust* (*syropustnaja nedel'a*); K.B. Baburina (Moscow). Ethnolinguistic aspect in historical lexicography; I.G. Dobrodomov (Moscow). Once more on *Kuriane svedomi kmeti* in the "Igor Tale"; A.M. Moldavan (Moscow). Lexical aspects in the history of Church Slavonic; R. Maroevič (Belgrade). Methodological problems in the reconstruction of Old Slavonic toponyms (derivational-semantic and derivational-phonetic aspects); K.A. Maksimovič (Moscow). Glosses and interpolations in the Ephraim kormchaya (XII century); W. Dietrich (Münster). The historical development of New Greek in comparison with the formation of the Romance languages from Vulgar Latin; E.L. Kalnyn' (Moscow). The Russian dialects in contemporary language situation and their dynamics; M.Yu. Čertkova, V.A. Plungian, A.A. Riabčikov, D.O. Kuznecov (Moscow). Answers to a questionnaire of the aspectological seminar at the philological department of the Moscow University; **Reviews:** A.D. Spveicer (Moscow). Americana. An English-Russian encyclopaedic dictionary; V.Z. Demiankov (Moscow). *M.M. Makovskij*. Comparative dictionary of mythological symbols in Indo-European languages. The image of the world and worlds of images; V.I. Podlesskaja (Moscow). *T. Givón*. Functionalism and grammar; V.I. Suprun (Volgograd). Russian onomastics and onomastics of Russia: a dictionary.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

---

Сдано в набор 24.02.97.	Подписано к печати 02.04.97.	Формат бумаги 70 × 100 1/16		
Офсетная печать	Усл.печ.л. 13,3	Усл.кр.-отт. 24,1 тыс.	Уч.изд.л. 16,0	Бум.л. 5,0
Тираж 1783 экз.		Зак. 1509		

---

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-74-42